



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

Г'2011

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Редколлегия:

Евгения КРАСНОЯРОВА зав. отделом поэзии
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ зав. отделом прозы и драматургии
Алексей ТОРХОВ зав. отделом критики
Алёна ЯВОРСКАЯ зав. отделом литературоведения и краеведения

Людмила ШАРГА отдел поэзии
Александр ЛЕОНТЬЕВ отдел прозы и драматургии

Общественный совет:

Валерий Басыров (Симферополь), Евгения Бильченко (Киев),
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск), Кирилл Ковальджи (Москва),
Александр Корж (Киев), Татьяна Липтуга (Одесса),
Виктор Петров (Ростов-на-Дону), Александр Петрушкин (Кыштым),
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стреминская (Одесса),
Евгений Черноиваненко (Одесса).

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru

ОДЕССУ ВСЕГДА ОВЕВАЕТ С МОРЯ И СУШИ ВЕТЕР УДАЧИ. МОЛОДОЙ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГОРОД ДОСТОИН МОЛОДОГО ТАЛАНТЛИВОГО ОЧАРОВАТЕЛЬНОГО ЖУРНАЛА. НИ ПУХА, НИ ПЕРА И СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!

Кирилл Ковальджи,
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ "Пролог" (МОСКВА)

"МЕЦЕНАТ И МИР" ПРИВЕТСТВУЕТ РОЖДЕНИЕ "ЮЖНОГО СИЯНИЯ", ЕЩЕ ОДНОГО "ПОЛЮСА" НА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРТЕ. СИЯНИЕ ДОЛЖНО ЗАЖЕЧЬСЯ НА ЮГЕ, В ОДЕССЕ. НАШ "МЕЦЕНАТ..." - ИЗДАНИЕ, "ОРИЕНТИРОВАННОЕ" НА МНОГИЕ СТРАНЫ, - НА ЕГО СТРАНИЦАХ НАХОДЯТ ОТРАЖЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, ПОЭЗИИ ПольшИ, СЛОВАКИИ, ЧЕХИИ, БОЛГАРИИ, НЕ ГОВОРИМ УЖЕ О ЯВЛЕНИЯХ "БОЛЬШИХ" ЛИТЕРАТУР - ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ, АВСТРИИ, КИТАЯ... С 2003 ГОДА МЫ ИЗДАЕМ "ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ" ПОД НАЗВАНИЕМ "ОДЕССКИЕ СТРАНИЦЫ", ГДЕ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ПУБЛИКУЕМ ТЕХ АВТОРОВ, ЧЬИ СОЧИНЕНИЯ МОЖНО БУДЕТ ПРОЧЕСТЬ И В "ЮЖНОМ СИЯНИИ"... ТАК ЧТО МНОГИЕ ВАШИ АВТОРЫ ЭТО И НАШИ МНОГОЛЕТНИЕ АВТОРЫ. СЧИТАЕМ РОЖДЕНИЕ НОВОГО ЖУРНАЛА СУЩЕСТВЕННЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВСЕОБЩЕГО КУЛЬТУРНОГО ГОРИЗОНТА, С ЧЕМ ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕДАКЦИЮ.

Левон Осепян,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА "МЕЦЕНАТ И МИР" (МОСКВА)

РОМАНТИЧЕСКИЕ, МНОГОСМЫСЛЕННЫЕ СИМВОЛЫ - СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ, ЮЖНЫЙ КРЕСТ... В НАЗВАНИИ НОВОГО ЖУРНАЛА ОНИ ПРИЧУДЛИВО СОЕДИНИЛИСЬ, ОБРАЗОВАВ НЕОЖИДАННОЕ ИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ИНТРИГУЮЩЕЕ И ТРЕВОЖАЩЕЕ. СОПРИКОСНОВЕНИЕ СЕВЕРА И ЮГА - МОСТ МЕЖДУ МИРАМИ. РАДУГА. ВЕРХНИЙ СВЕТ ИДЕАЛЬНОГО - СКОЛЬ ПРЕКРАСНОГО, РАДУЮЩЕГО, СТОЛЬ И ХРУПКОГО, УСКОЛЬЗАЮЩЕГО, НУЖДАЮЩЕГОСЯ В НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЕ НАШЕГО ВООБРАЖЕНИЯ. ОРГАНИЗАТОРЫ ЖУРНАЛА САМИМ ЕГО НАЗВАНИЕМ ЗАЯВЛЯЮТ О ПРЕТЕНЗИИ НА ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ И ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ ЖУРНАЛА. ДАЙ-ТО БОГ, КАК ГОВОРИТСЯ! ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, НАШЕ АВТОРСКО-ЧИТАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО С БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ИНТЕРЕСОМ ВСТРЕЧАЕТ НОВОРОЖДЕННОГО. ДОБРОГО ПУТИ ЕМУ! НЕИССЯКАЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ - ЧТОБЫ СВЕТИТЬ ЯРКО И ДОЛГО!

Марина Саввиных,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ "ДЕНЬ И НОЧЬ" (КРАСНОЯРСК)

БРАТСКОМУ "ЮЖНОМУ СИЯНИЮ" ОТ СЕВЕРНОГО "ЛИКБЕЗА" - ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ!
КОНЕЧНО, ПЕРВЫЙ НОМЕР - ЕЩЕ НЕ ТЕМА ДЛЯ ПАФОСНЫХ РЕЧЕЙ. ВСЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ ВПЕРЕДИ. СОБСТВЕННО, ПРЕДЛАГАЮ ТОСТ ИМЕННО ЗА ЭТО САМОЕ "ВПЕРЕДИ" И "ДАЛЬШЕ". ПУСТЬ БУДУТ РАЗНЫЕ ТРУДНОСТИ, ДА ЗДРАВСТВУЮТ ВСЯКИЕ ТЕРНИИ! ТОЛЬКО У БЕЗМОЗГЛОГО ЖУРНАЛЬНОГО ГЛЯНЦА ВСЕ ОЖИДАЕМО РОВНО ДА ГЛАДКО. В ОБЩЕМ, НУЖНО "ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ, ВЕРИТЬ В СЕБЯ, НЕ ЗАМЕЧАТЬ ПРЕПЯТСТВИЙ".
НУ И ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЮ ДРУЖИТЬ ДОМАМИ - ЖУРНАЛАМИ, АВТОРАМИ И СТРАНАМИ.

Вячеслав Корнев,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЛИТЕРАТУРНОГО АЛЬМАНАХА "ЛИКБЕЗ" (БАРНАУЛ)



Дорогие друзья!

Весной 2011 года по инициативе фракции Партии регионов Одесский городской совет принял программу «Сохранение и развитие русского языка в городе Одессе». Среди многих других нужных позиций особое место в программе занял пункт о начале издания в нашем городе «толстого» литературного журнала, способного стать творческой площадкой для литераторов Одессы, как маститых авторов, так и талантливой молодежи. Одесса всегда была, есть и будет городом писателей и поэтов, формирующих славу нашего города, подчёркивающих его колорит, создающих неповторимый образ Южной Пальмиры. Интерес к современной литературе Одессы велик и сегодня, свидетельством чему являются выпуски «одесских» номеров уважаемых российских журналов «Октябрь» и «Дон», полностью состоящих из произведений местных авторов.

Вы держите в руках первый номер одесского литературно-художественного журнала «Южное Сияние», выпуск которого стал возможен благодаря поддержке, оказанной депутатами нашей фракции. Мы испытываем чувство гордости от того, что стоим у истоков большого и важного дела, способствующего возрождению литературной славы Одессы и дающего возможность демонстрации творческих успехов одесских литераторов. Мы уверены, что даже в сегодняшнее непростое для «толстых» журналов время «Южное Сияние» ждёт долгая и успешная жизнь, внимание замечательных авторов из нашего города и других мест, признание и любовь читателей. В добрый путь!

Геннадий Труханов,
*Председатель фракции Партии регионов
в Одесском городском совете*

В НОМЕРЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Станислав Айдинян. **О литературно-художественном журнале «Южное Сияние»...**6

ПОЭЗИЯ

Одесса: Юлия Петрусевичюте. С Того берега. Стихи.....	8
Одесса: Валерий Сухарев. Короткометражка. Стихи.....	12
Одесса: Алёна Щербакова. Из книги «Восход на краю колеса». Стихи.....	16
Одесса: Игорь Павлов. Селенит в олеандрах. Стихи.....	20
Одесса: Марк Эпштейн. Набоков с сирином. Стихи.....	22

ПРОЗА

Одесса: Виктория Колтунова. «Анна Волкова. Подвалы». Повесть.....	26
--	----

ПОЭЗИЯ

Москва: Константин Кедров. Наполняя пространство. Стихи.....	44
Москва: Иван Жданов. «Фоторобот золотой эпохи...». Стихи.....	48
Москва: Вилли Мельников. Век позолочённой сереbronзы. Стихи.....	54
Москва: Игорь Иртышев. Искусственный спутник Земли. Стихи.....	59
Москва: Евгений Чигрин. Подводный шар. Стихи.....	64

«МЕГАФОН»

«Выходец из юга, учитель севера...» (интервью с Кириллом Ковальджи).....	68
Москва: Кирилл Ковальджи. Стихи.....	70

ПРОЗА

Одесса – Москва: Ольга Ильницкая. «Хроника отношений с Даварием Бухенфордом». Рассказ.....	73
Одесса: Алан Останин. «Обретая легкость». Рассказ.....	77

ПОЭЗИЯ

Одесса – Коттбус: Ефим Ярошевский. Из книги «Холодный ветер юга». Стихи.....	83
Одесса: Галя Маркелова. Плач по Ане Яблонской. Стихи.....	87
Одесса: Илья Рейдерман. Солнце после дождя. Стихи.....	90

ПРОЗА

Николаев: Алексей Торхов. «Повесть о Максимке бобе». Шорт-повесть.....	93
---	----

ПОЭЗИЯ

Красноярск: Марина Саввиных. «Не называй меня по отчеству...». Стихи.....	101
Киев: Наталья Бельченко. «Выращивать внутри себя спарганца...». Стихи.....	105
Симферополь: Марина Матвеева. Женщина – кристалл. Стихи.....	109
Одесса – Филадельфия: Вера Зубарева. Древних морей мемуары. Стихи.....	114

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

Одесса – Сидней: Юрий Михайлик. Стихи.....	118
--	-----

ДРАМАТУРГИЯ

Одесса: Сергей Главацкий, Евгения Красноярова. Templa non grata (трагедия в 5-ти актах).....	120
--	-----

ПОЭЗИЯ

Одесса: Ксения Александрова. Тридцать восемь и восемь. <i>Стихи</i>	144
Одесса: Александр Хинт. Время избыточных точек. <i>Стихи</i>	148
Одесса: Юлия Мельник. У птиц не бывает нелётной погоды... <i>Стихи</i>	152

ПРОЗА

Париж: Кира Сапгир. Некруглая годовщина. <i>Очерк</i>	155
Одесса: Олег Дрямин. Одесский отшельник. <i>Рассказ</i>	158
Одесса: Евгений Деменок. Занимательно-замечательные истории. <i>Рассказы</i>	167

ПЕРЕВОДЫ

Бондено: Фабрицио Реска. Хайку (<i>перевод с итал. Анны Стреминской</i>).....	169
--	-----

«ЛИТМУЗЕЙ»

Анна Божко. «Я часто вспоминаю осень юга...». (<i>Рукописи И.А. Бунина в фондах Одесского литературного музея</i>).....	173
Евгения Самойлова. Покаянные дни (<i>очерк</i>).....	177
Иван Бунин. Из «Великого дурмана». Фрагмент № 2. Восстановленный текст (<i>публикация А.В. Бакунцев</i>).....	178
Иван Бунин. Не могу говорить (<i>очерк</i>).....	182
Валентин Катаев. Золотое перо (<i>из рассказа</i>).....	184

«ОКОЁМ»

Германия: Елена Рыжкова. О фестивале «Согласование времён»	186
Латвия – Москва: Светлана Галкина. <i>Стихи</i>	187
Киев: Евгения Бильченко. <i>Стихи</i>	189
Ялта: Евгения Баранова. <i>Стихи</i>	191
Одесса: Владислава Ильинская. <i>Стихи</i>	192
Латвия – Вашингтон: Валерий Бочков. Брайтон Блюз. <i>Рассказ</i>	194
Киев – Тель-Авив: Карине Артонова. Скрипка Готлиба. <i>Рассказ</i>	199
Смоленск – Москва: Роман Михеенков. «Клён ты мой опавший...». <i>Рассказ</i>	200

«ПЛАХА»

Москва: Леонид Костоков. «Любитель и другой»	204
Обсуждение статьи Леонида Костокова «Любитель и другой».....	205

«ВЕСТИ С ПОЛЕЙ»

Одесские литературные новости.....	219
------------------------------------	-----

О литературно-художественном журнале «Южное Сияние»

Время собирать камни не проходит, не уйдёт никогда. Собирая камни, человек ищет новой цельности собранного, хочет осмыслить новые грани найденного. Как не бывает, чтобы все грани сияли одинаковым светом, так и не бывает, чтобы впечатление от собранного было во всём «равномерным».

Новый ежеквартальный одесский литературно-художественный журнал появился, чтобы отражать разные литературные подходы и направления, отражать талантливую современность – таково правомерное стремление нового издания.

«Южное Сияние» представляет на своих страницах литературу Юга, и с Юга освещает литературу Севера. Поскольку в современной русской литературе идёт неиссякаемо интенсивный литературный процесс, журнал призван соединить под своей обложкой плоды творчества тех, кто каждый глубоко по-своему творит на Севере и на Юге.

К чему стоит стремиться журналу? Отражать «труды и дни» тех поэтов и писателей, у которых чувствуется духовный поток, у кого поэзия не лишена «парадоксальной фазы», кто идёт своей тропой.

Журнал от выпуска к выпуску – создающаяся цельность. Часто «толстые» центральные журналы берут на себя труд каждый выпуск посвящать определённой, объединяющей все материалы, теме. Нам не кажется обязательным подобный «тематизм». Пусть лучше тем и направлений и, соответственно, рубрик будет много, и каждый автор отвечает по большому счёту за свои идеи, за свой стиль, за себя. И пусть не иссякает стремление представить возможно большее разнообразие дарований. Этому свободному пути можно и должно следовать журналу.

Журнал не сможет нравиться всем, потому что все всем нравиться не могут. Если составители проявят хороший вкус, то и состав журнала не будет оставлять желать лучшего. В наши дни сбои в литературных изданиях происходят большей частью не от того, что у редколлегии не хватило литературного чутья, а как следствие обстоятельств, не имеющих отношения к литературе...

Редколлегия вовсе не хочет составить какую-либо строгую литературную «школу», потому что настоящий литературный дар всегда индивидуален. Одновременно журнал собирается с первого номера и впредь отражать творчество тех поэтов и писателей, которые давно уже входят в Южнорусский Союз Писателей, в Одесскую организацию Конгресса литераторов Украины, также печатают литераторов из самых широких литературных кругов Одессы, Одесской области, которым окажутся не чужды дух и буква журнала. Литература везде весьма многослойна, круги её многообразны, на Востоке и на Западе «расцветают тысячи школ», вчерашний молодой талант становится признанным и известным, отражённым в мировой «сети». В авторах, мы думаем, недостатка не будет... Дело только в правильном выборе «тональности» таланта, прозвучавшего в каком-либо, надеемся, лучшем или просто ярком, заставляющем думать произведении...

Русская литература и сегодня остаётся одной из ведущих в мире, она все ещё сильна и в языковом и в «витальном» выражении. У неё пока не иссякла своя провиденциальная роль в истории Культуры. Русская литература принадлежит и Западу и Востоку, и отражает все «стороны горизонта». В её пределах бывают и штормы и бури, бывают штиты. Да, и у её берегов – «накипь» жёлтой пены, – всякой душевно дробной «популярщины», но всё ещё грозно шумит её океан, колыша глубины подсознания. Мелеет ли океан русской литературы? – Конечно, но сколько лет нужно, чтобы обмелеть океану?.. Пусть над ним проносятся грозы сражений, молнии тревожных предвестий, бури откровений, гром «апокалиптики», свежий воздух ветровых течений. Иной раз на поверхности океана – манёвры, полигон испытаний – смелые эксперименты, без которых тоже немислима литература. Ещё Гераклит говорил: «Всё сущее движется, ничто не остаётся неподвижно на своём месте».

Экология жизни ухудшается, ухудшается экология души. Меньше стало в обществе мыслей о жизни, чести, достоинстве, о них стали меньше говорить, эти понятия стали исчезать и из словесности, из литературы. Эта сфера ныне принадлежит более богословию, консервативно сохраняющему духовные ценности, вечные на аксиологической шкале всех основных мировых конфессий.

Хочется пожелать, чтобы в журнале из текстов пишущих не исчезал бы отзвук и

этого старинного колокола, вещавшего когда-то «добродейством», чтобы оставалось место сердечному, «человеческому, слишком человеческому»...

Не дай Бог, чтобы журнал был похож на государство, мрачно и последовательно проходящее этапы от рабовладения до капитализма. Журнал должен быть динамично и свободно развивающимся организмом, позволяющим от творца к читателю протягивать открыто и весомо хорошую литературу, не связанную единой «идеологией» или социальными «обязательствами». Свобода литературных трансформаций, свобода взгляда на мир – это и есть литературная свобода творца.

Журнал и оптимистичен и реалистичен в подборе материала. Недаром некоторые его страницы будут отданы архивным изысканиям, истории литературы, её выдающимся личностям и образам, вошедшим в антологии мира. Умберто Эко писал: «Прошлое ставит нам условия, не отпускает, шантажирует нас»... «Южное Сияние» должно отдавать должное и «последним из могикан», и представителям новых поколений, которые породят новые направления, новые, самые фантастические «измы»...

Хотелось бы не видеть на его страницах опусов «интеллектуалов-предпринимателей», бездушно разыгрывающих выгодные им литературные карты... В разных писательских союзах и вне их таких предостаточно... Искренность литературе необходима. Даже экспериментальная литература, бывает, несёт в себе немалый душевный накал...

Журналу суждено родиться, и он рождается как человек, обретает свой облик, свой характер, в зависимости от впечатлений и представлений, которые даёт ему жизнь.

Член Президиума Всеукраинского творческого союза «Конгресс литераторов Украины», известный одесский поэт и общественный деятель Сергей Главацкий, которому принадлежит идея создания журнала, хочет разнообразно и всесторонне выбрать и определить динамичный свод текстов, в который был бы включён живой дискуссионный круг, включено столкновение мнений. За его плечами составление и Одесской антологии поэзии «Кайнозойские Сумерки» (2008), и Одесской литературной антологии «Солнечное Сплетение» (2010), и одесского номера журнала «Дон», уже успешно развивших целый каскад давних и новых одесских литературных имён.

Открывать новейшее, вспоминать старое, знакомить с идеями не только поэтически и прозаически, но и философски и эссеистически выраженными, – верный путь для «Южного Сияния»... Духовная пища так же необходима человеку, как пища физическая. Мы надеемся, что читатель сможет найти под обложкой журнала нечто ценное себе по вкусу, а разнообразие материалов поможет ему в этом.

Не могу не сказать о большом труде по подготовке в печать журнала, который взяла на себя талантливый и тонкий писатель, поэт Ольга Ильницкая, ведя прозаическую и драматургическую «линии»; также о плодотворном и увлечённом участии Алексея Торхова, подготовившего рубрику «Плаха»; об Алёне Яворской, ведущей рубрику «ЛитМузей», составившей ценную и ёмкую литературно-краеведческую подборку материалов, посвящённых пребыванию Ивана Бунина в Одессе; и, конечно, о Евгении Краснояровой, вложившей своё внимательное участие во всё «поле», в весь состав текстов.

Название «Южное Сияние»... При наблюдении с поверхности Земли полярное (северное или южное) сияние проявляется в виде быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, «занавесей». Длительность полярных сияний – от десятков минут до нескольких суток. Полярное сияние обладает одним непреходящим природным нерукотворным качеством, которым обладают Литература, Поэзия – сияние обладает Красотой, эстетической составляющей человеческого бытия. Поэзия, а за ней и проза, в классических проявлениях не чужда Красоте. Красота не есть необходимость, она есть ткань гармонии, без которой беден талант, создающий Искусство. Так что можно в заключение высказать пожелание – чтобы и форма, а не только содержание произведений, устремлялась к совершенству, как это, в общем, и свойственно, несмотря на противоположные тенденции, многим современным молодым поэтам и писателям, живущим в новом веке, в наше время.

Станислав Айдиня,

член Союза российских писателей, член Конгресса литераторов Украины,
член правления Международной ассоциации содействия культуре,
вице-президент Творческого союза профессиональных художников

ЮЛИЯ ПЕТРУСЕВИЧЮТЕ

С ТОГО БЕРЕГА

Не о скатертях белых мечтала, о белых полях,
Об избушке на курьих ногах, о сорочьей сорочке,
И глядел из кустов большеглазый доверчивый страх
Словно волк на царевну глядит, ухмыляясь по-волчьи.

На полях прорастал белый снег, как опара в печи,
И метель лепетала и сыпала, и засыпала,
И лепила во сне колобки, и пекла калачи,
И выкладывала на расшитое вдоль покрывало,

На блины зазывала, и звякали ягоды бус
Земляничными льдинками, россыпью капель стекали.
Мягко сани стелили дорогу, и яблочный хруст
На горячих губах заливался осколками стали.

Так смотри на дорогу, бледней и молчи, и молчи, —
все слова уже сказаны.
Самым ценным подарком во все времена оставались ключи,
если руки развязаны.

Это знак обретенной свободы, её воплощённая суть,
атрибут и орудие.
Дверь откроется в осень, счастливым окажется путь
и счастливым беспутье.

Талисман, амулет сохранит тебя в долгом пути,
твоё медное царство.
Ты сумеешь уйти, и обратно дорогу найти,
и остаться.

Ключ и яблоко, дом и ладонь, горизонт и тропа,
колокольчик у входа.
Тихо звякнут ключами босые подружки — судьба
и свобода.

Колосьев колкий шорох, шёлк дорог,
На скатерти стерни — тропинок нити,
Путей воздушных пляска в лабиринте,
Как спутанного кружева клубок.
От колыбели с липким молоком,
Которое облизывают сфинксы,
До лодки, до глотка воды в копытце,
До поля, распротёртого платком,



Колёса комья глины разомнут,
Без умолку мяся дороги тесто,
И в тридесятом царстве-королевстве
Ты будешь через несколько минут.

Рука, протянутая над рекой
С другого берега другой руке навстречу, —
Дрожащий мост, иглой проткнувший вечность,
А память нитью вьётся за иглой.

Кто сохранит, кто выведет на свет
Из хаоса теней, из темноты забвенья,
Кто свяжет эти лопнувшие звенья
Прозрачной хрупкой жизни? Дай ответ.

На тонкой ветке стынет красный сок,
Рябина бусами засеяла округу
И тянет над водой нагую руку,
Сшивая берега наискосок.

Заблудись на дорогах моих, человек без лица,
Потеряй и дорогу, и самую память о ней.
Под копытами диких визгливых степных лошадей
Ты найдёшь свою смерть. Зверь и вправду бежит на ловца.

Я смотрю на тебя в перекрёсток прицела в упор,
Ты ничтожен и мал на моих незвксинских полях,
Ты давно не испытывал страха, но в наших краях
Слишком резки края, и в крови захлебнётся костёр.

Я стою по колено в земле, почернев от золы,
Корни в сердце вырастают и рвут стебельки чебреца.
Убирайся в витрины свои, человек без лица,
И курганы плечами закроют меня от стрелы.

Легко волкам калёные клыки
В лиюющую складывать улыбку
И слизывать по капле мяся липкий,
И с пулей бегать наперегонки,

И в логове выкармливать волчат,
И молоко из лунного копытца
Лакать взахлёб, и сладким льдом давиться
И лихо одноглазое качать,

В плетёной колыбели под кустом,
А после по полям стелясь полынью,
Из плена ускользать обратно в зиму,
Чтоб воду в полыньях мутить хвостом.



Колёса возвращались в колею.
Застывший на мгновение механизм
Возобновил динамику свою
С того момента, на каком завис.

Но что-то изменилось навсегда.
Как в шестерёнки ржавая вода,
Проникла вечность на единый миг,
Как разрывает ночь далёкий крик,

Система развалилась, и в горсти
Осталось то, что можно унести —
Кусочек памяти и зёрнышко тепла,
И сломанная пополам игла.

День показался слишком длинным
Когда, преследуя слова,
Мы в клинописи журавлиной
Искали речи божества,
И в рокоте прибоя львином,
И не могли найти сперва,

Но скрип оставленных качелей
И жаркий хохот в синеве,
И дальние огни кочевий,
И тёплый ветер на холме —
Всё вдруг исполнилось значенья
И наконец открылось мне.

Язык был прост, и долгих гласных
Дыханье листьев на ветру
И дрожь, и оторопь согласных,
Когда приблизишься к костру,
Легко, бесхитростно и ясно
Сказали мне, что я умру.

Всё будет не так. Этот город нуждается в смерти.
Поверь, я совсем не шучу. Эти дряхлые камни
Становятся крепче от крови. Земля под ногами
Гудит веселее, когда в ней осколки железа,
Когда в них играют ещё не рождённые дети
И не замечают набухшего красным разреза,

Когда мертвецы по ночам наблюдают из окон,
Как в узких дворах убивают друг друга живые,
Ложится горячая плоть на его мостовые,
Бессильными пальцами белый бетон согревая,
Сигнал подавая летящим в грозу самолётам
С переднего края.

Мне давно по сараю. Планета летит наугад.
От смены давления жидкий азот закипает,
Вздуваются вены, как череп Шалтая-Болтая,
И кровь из ушей потихоньку стекает по шее,
И голому городу новый кроится наряд,
И город взлетает, в дыму и огне хорошея.



С повязкой на мёртвых глазницах, в ажурных бинтах,
В рубиновых каплях и кружеве пепла и пыли,
Кружась в развороченной взрывами братской могиле
И нас проклиная, он будет плясать на костях.

На запёкшихся чёрных губах тают красные вишни.
Я уйду, как и ты – босиком по холодной воде,
Отражаясь в тумане и не оставаясь нигде,
Вычитая себя отовсюду, как третий и лишний.
Я прощаюсь. Мне так не хватает последних минут,
А с другой стороны надыхаться и не наглядеться.
Что-то в воду упало. Всплеснуло и дрогнуло сердце.
Это с яблоком рыба играет у дальних запруд.

Серебристое гладкое зеркало. Только круги
Разбегутся от яблока. До тридесятого царства.
Я уже по колени в воде. Я смогу надыхаться,
Пока вишни стекают с опущенной в воду руки.

Осень, мокрая, как птица,
Улетала в тёплый вырий,
С обожжённых красных крыльев
Рассыпая медяки.

На обугленных страницах
Райнера Марии Рильке
Вместо букв бежали искры,
Чтобы дописать стихи.

По полям плясало пламя
На углях в лукошке года,
Язычком последней спички
Норовя слизнуть звезду.

И стояла вместе с нами
Наша девочка Свобода
В ожидании электрички
На распластанном мосту.

И что-то сломалось во мне, как ломается нож,
Наткнувшись на рёбра, и лезвие в теле засело,
Застряло в кости остриём и тихонько запело.
Воды из Каялы крылом на лету зачерпнёшь.

Сады собираются в стаи, им нужно лететь
На тёплые звёзды от пустошей мёртвой земли.
Зелёные крылья сплелись и корнями вросли
В холодное яблоко неба, в звенящую медь.

Бубенчики яблок звенят над Каялой-рекой,
Над чёрным разломом, над липким железным осколком.
Найди в медном яблоке злую стальную иголку
И шей берега, и холстами поля перекрой.

ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

КОРОТКОМЕТРАЖКА

В раю закрыто, но в аду ещё
свет не тушили, и ещё посуду
не убрали – вон белеет счёт
за сытый вечер, и тела повсюду.

В раю уже закрыто, но в аду,
куда – как мнилось – заглянул случайно,
посасывают сносную бурду,
покуривают, атмосфера чайной. . .

И вечный то ли жид, то ли грузин,
каких, куда ни плюнь, везде навалом,
рыдает среди прочих образин,
все – в стельку, атмосфера сеновала.

И кто-то, с нехорошим огоньком
в глазах, стоит у входа, попирая
здесь принятый устав, и ни о ком
не помнит, бросив ад не ради рая.

КОРОТКОМЕТРАЖКА

Самим себе во снах мы привираем –
по цвету – ад, а странно – пахнет раем. . .
Развилка, тропы, некий истукан,
похожий на флакон или стакан,
бабай пространства; видишь, вдалеке
ожившие и злые барельефы
мыггарств, кометы делают пики
и падают, преобразив рельефы
округи; ты проснулся, три часа,
от ночника на кресле полоса.

Октябрь, ноябрь отгуляли, в окна
ползут прохлады длинные волокна,
как будто дым в стоячей пустоте –
каляки и маляки на листе
ребёнка бесталанного; зима
рисует лучше, но пока не в форме,
не в тонусе рука, и жизнь сама
похожа на позёмку по платформе:
всё смазано, растянуты штрихи
вагонов, здесь и там дерев верхи
сбиваются в колтун – мы едем и
едим, и мы не делимся с лодьми.
За окнами зима в плохом пальто
идёт за литром, сетки решето



вмещает также хлеб, паштет и «яйцы»;
 шмыгнул бигборд, где алчные китайцы
 вам телевизор дарят, чтоб смотреть
 в HD на вашу собственную смерть —
 на отражение в стекле, в просторе
 за ним — лица на фоне косогора;
 вот рюмка с Менделеевым — и та
 там отразилась, залпом выпита.
 Закатные на небе витражи.
 И думаешь: «А ну-ка, покажи
 соседке по купе тихонько дулю —
 что будет?» . . .

Может быть, как на ходулях,
 поднимется и выйдет, может, нет;
 в купе висит зловещий синий свет;
 и спать невмочь, а пить да говорить,
 на полустанках обрывая нить
 беседы — легче ей и проще мне,
 слова — одне, и тьмы в окне — одне.

НОВЫЕ ТУФЛИ

Прежде, чем мне защёлкнуть последний замок,
 свистнуть змейкой на сумке, уставив взор
 в некую точку прощанья (ишь ты, примолк
 кот у дверей), и прежде, чем выметут сор
 после моих дней и трудов; прежде, чем
 что-то придётся сказать забытым вещам,
 обоям, лысеющим над диваном — тем,
 что отдувался под нами; сказать: «Прощай», —

помнится, я припомнил последние сто
 лет, рассованных там и тут,
 в виде разрозненных книг, своего пальто,
 схожего с самоубийцей в прихожей. . . Жмут
 новые туфли, в висках тоже жмёт; дома
 не выпускают жильцов так запросто, и
 исподволь помогают сойти с ума —
 лишь оттого, что пальто в прихожей стоит. . .

Совы и осы лесов, хорьки и прочая живность полей,
 всё движимое, таимое или летящее — уже не моё;
 душа, как наказанная, сидит в уголку, ты её не жалеи,
 а хочешь налить, так — налей это жидкое не-забытьё.

Удаляясь, прячась то за колонной, а то за стволом,
 в арке с подарочной (вместо бантика — ответ лампы) лужей,
 и далее чигирями и чердаками (в одном из окон сидят за столом);
 удаляясь и удаляясь, сокращаясь до брошенной вчуже

на стену или на скамью тени (и на скамье она —
 словно мелко нарезанный сыр или хлеба серый батон,
 а на стене — как в криминалистике — мелом контур того, из окна
 сиганувшего или убитого на бегу); небесный затон

полон колоколами и локонами облаков; и летает
 стая, взбивая воздух прохлады; позже — морось и морс дождя;
 и дома выглядят заболевшими и не по летам и
 цвету состарившимися, всего полтора погоды



столетия, как взошли. . . Удаляясь, сбежав со своих галер, обрывая связи – как прерываешь телефонный трёп, соврав, что чайник вскипел; и из двоих один ещё слушает зуммер (как в кардиологии) – наигрыш

из необитаемого эфира, методичное ту-ту-ту. . .
И там кладут трубку, пожав плечом, хмыкнув или же промолчав;
и тенью – за тенью словесной вязи – проскальзываешь по ту сторону, по направлению не к Свану, а бесконечной печали.
пух-перо бакланов, чьи морковные лапы – суриком на сизо-синем; и погода сегодня испортится чуть погода: накрапывало. . .
С борта и с берега – две репетиции памяти.
Она же – премьера, и вы – отличный актёр.
Но, даже с сфлёрмом, вы ничего не исправите,
это уже фотография, мёртвый простор.
И именно в этой рамке исчезнув, истаяв,
вы станете кромкой барокко в небесной лепнине,
соглядатаем горизонта и птичьей стаи,
«молнии» глассера и терракотовой глины.

КАРТИНЫ

1

Сегодня снег с дождём. . . С ума сойти – какое самобытное начало,
к тому ж декабрь. . . Отчётности с пути,
цедулки докладные; величаво
и не начать; но, с Богом, мы начнём. . .
Коктейль вертлявый этот тусклым днём
был взбит небесным миксером, а там
и подступила к окнам темнота.
Шантажнейшая музыка зимы,
с подскоками прохожих и пернатых,
се – слякоть, точно вышел из тюрьмы,
и дом на всё глядел, как губернатор
на голь и рвань; картинка неважнец
и звук туда же – трескот и свистец;
но любо нам представить в этот час
окруту, даль, где ныне нету нас.

2

Просёлок, лес, Радищевский простор
(хотя, чего Радищевский, а Пушкин?),
рыдающий рыдван под косогор,
поля убиты и гнилы опушки;
да вот шлагбаум, как воздетая рука
от римлянина – «ехай» хоть в Европу;
Евразия завидно велика,
так велика, что поодбило жопу
и зубы растрясло. . . А мы сидим,
почти в тепле, почти в своей державе,
и сигарет отечественный дым,
и на столе подержанный Державин.
О, южная тлетворная зима.
О Боже, ты хоть это не замай!
И парных рифм и перекрёстных рифм
спокойствие, их строгий логарифм.



Вообще, о ком тут речь и в чём здесь суть?
Навеяно, читатель, непогодой,
в спине болями, бисмарком в носу,
и нездоровый образ жизни, годы,
несовпадение планов и судьбы
(как вспомнишь близких – всё одни гробы);
да мало ли чего, плохой коньяк...
А коль не понимаешь – сам дурак!
Но это – к слову, бросьте, мы не лучше:
стихи писать – не родину спасать
от клоунов с их логикой пластучей,
но это тоже, впрочем, словеса.
Настал декабрь, настал кретинский кризис.
Народы мрачно смотрят в катехизис,
в страницу для пометок, в пустоту,
и постигают жизни красоту.

АЛЁНА ЩЕРБАКОВА

ИЗ КНИГИ «ВОСХОД НА КРАЮ КОЛЕСА»

ЕСЛИ ЖДЁТ ЛЕОПАРД

Если ждёт леопард, он всё время – вблизи,
Треск растений и стен выдают его волю –
Покуситься на боль, тишину прокусить
Вертикалью зрачка, распалённой водой,

Из расплаты моей за алеющий бег
Стерегающий мой след хочет вытрясти стон,
Ему мало знать ярость обглоданных вен,
Он и голод, и голос мерцающей крови,

И моя западня – где пространства обвал
Подкрадётся – и мускула гибкий металл
Алчет тёмною жаждой в покой мой вонзать
Торжество, пламенеющей пропастью став.

До распаханых плотью когтей его, – троп,
Безупречного нюха и чувства огня,
Вот уже пульс шагов он у сна подстержёт,
Только вкрадчивым шёпотам, шорохам вняв,

И душа точно мечется в скользких углах,
Где испуг мой встречает упорную мглу,
И прыжок сквозь дремоту осоки, стремглав—
Весь разрядами вздыбленной шерсти и слуха,

Настаёт ураган, нарастающий крик,
Заставляя течения скал цепенеть,
То готов он сорваться в себя же – смотри,
То содрать, как прожектор, все лица посметь.

Идеальный убийца, а власть его, роль –
На конце языка удержать мою дрожь,
На своём, леопардово-гордом, хитро
Передышку от времени дав мне в залог. . .

Опомнишься – слово не лечит,
Хоть явен иных разбег,
Язычие человечьё
Отвяжется на тебе.
Отсутствие – невредимо,
Мой рук не разнявший брат,
И ветка смычком впереди нас
Качается до утра. . .



Скорее лихо, чем смело
 Живём, и легче вдвойне
 Тем, кто исправно делит
 Бесстрастье на «да» и «нет».
 Для них мы, впрочем, как сотни,
 С литрухой худой и куревом,
 Залёгшие в подворотнях
 Венецианских скал.
 Бодрит разнобой прилавков,
 Но кто нас знал, как попутный,
 От чёрных квадратов клавиш
 Свихнувшийся, «Ундервуд» –
 Не тот, разминувшийся с телом, –
 Тугой оболочкой нот, –
 Будто на общем веселье
 Перчатки забыл – всё равно...

КАЛИМБА

(Африканский древний инструмент)

По мне подряд ведут
 Семь пальцев плотных нот.
 Мы встретились в аду,
 И бес их разберёт.
 Им проникать в ладонь –
 Нет проще, мне – больней,
 Застыв на слабой доле –
 Осознаннее нет.
 Я к мачте привязать
 Себя могла б, как тот,
 Чей слух стал осязаемым,
 И медленным – глоток.
 Но звук таился в дне
 Такого же вот дня,
 Он подошёл ко мне –
 И вывернул меня.
 Когда придут в себя
 У верха на виду,
 Звук пальцев будет свят –
 Мы встретились в аду.

ПОЦЕЛУЙ В РУИНАХ

Руины смотрят нам в глаза –
 И падаем не вниз, а вверх,
 Всеглазый Аргус ночи взял
 Следы, измятые от ветра,
 И воздух выдавил стекло
 Виденья, задавая ритм
 Другому, что вписал в разлом
 Морей, и молвил: «Раствори!»
 Или, сорвавшись с плеч, беги,
 Теньями на ветру крушась.
 Ты здесь привлёк мои шаги
 И губы именем разжал.

ДЕКАДАНС

Тревожный Вертинский – и обморок тоненьких лилий,
 Утопия, следом затяжка Берслея – на утро,
 Пустые костюмы густевшая тень опалила,
 Белила трепещущих стен топит серая пудра,



Размытые клавиши улиц запали – снаружи.
 Внутри – только профиль гербария, комнат драконы
 Пьют обморок пепла, тоской погружаясь в окружность
 Из мухинских, или – sake из японских. . .

Но в той музыкальной шкатулке, где собраны были
 За чаем и дансингом, в строчке, где
 «Ваши пальцы пахнут ладаном. . .» –
 Стеариновый привкус зимы, или
 Зрители, – суфлёры и постояльцы.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Митя, здесь ходит бумажный снег,
 Пальцы ореха бьются о сумерки,
 Тени обгрызли пейзаж до корней,
 Если январь не загонит коней
 Утренних – город впадает в безумие.

Митя, как медленно движется день
 Вдоль побережья от баржи, и низко
 Срочными стаями чертит метель
 В угол дырявой ракеты котельной,
 И в записных сокращаются списки. . .

Знаешь, в такую бездушную стынь
 Письма до почты доходят едва ли,
 И у причалов, разинувших рты,
 Сводит суставы, и до хрипоты
 Лунный наждак примеряет развалы
 Улиц, в которых застыли мосты,
 Ставшие ветру пустой наковальней. . .

STEINWAY

Проскальзывать сквозь взгляды стольких,
 Чтоб навернуться на твои
 Глаза плясаньем обертона,
 Не предназначенным для игр,
 Расписанных на партитуре.
 В ретортах клавиш – ночь и день,
 Металл и ворон – звукам дурно
 От загоревшихся портьер.
 Как платье, стянут звук бекаром –
 И попадает в серебро
 Октавы, где встаёт за кадром
 Исподний ужаса колосс,
 У мнемонического среза
 Аншлага тишина – как вопль,
 Сквозь зум распотрошенных кресел
 Пространство выгесняли вон
 Сосуды струн, глубокой дробью
 Накаливая звукопад,
 Где, разворочен скерцо, пробил,
 И просится наружу, над
 Концертным ларом, с канифольным
 И пыльным дном, через ладонь
 Извлёкшего рояль из фобий
 Аутентичных парадоксов,
 Когда выгашнивало двери
 Льдом нумерованных предметов,
 И бился алым Магистерий
 Под кожей аккомпанемента.



Кем быть страшной – героем или автором?
 Мы здесь, мы распадемся на атомы,
 Обронишь тень – и в зале вспыхнет свет.
 Когда придёшь отдать Адаму адово,
 И дверь двери, в черты же – лица вкладывать,
 Как обнаженья высших из примет.

Литературных троп анахоретика
 За персонаж себе берёт еретика,
 Ни защищая, ни благоволя.
 И странно исповедоваться дважды нам,
 Двойною смертью с жизнью разукрашенным,
 Не лицедеям, но и не врялям.

С японской красно-белою эстетикой
 И той, античной склонностью к трагедии –
 Идущими то в шаг, то вразной.
 Вся теургия наша, эзотерика –
 В евангельско-булгаковском «по вере вам»
 И в домике обещанном покоя...

Финальным словом отпустившим мучимых,
 Как всадники, в ночь истины обручены,
 Последнею затяжкой сна хрустя,
 Или, скомандовав расстрелом самозвучно,
 И бросив в море кортик, дну порученный,
 Или, ступая на рассвете, Тютчева
 И Фета том пред плахою крестя.

КОДЫ

... как дань второй щеки – аплодисментам...

Теперь произнеси себя – во мне,
 Ни сцены нет, ни дна здесь тоже – нет.
 Кто нас обнимет, кто обминет здесь,
 Где холодок вступает раньше пьес,
 Где бьющийся о зеркало софит
 Шевелящийся хаос раздражит,
 Где, как тысячерукий Вавилон,
 Кромешный воздвигают монолог,
 Как между скал сходящихся – кулис,
 Чей диалог осваивал Улисс,
 В фаянсовый падеж предложных лож
 Пролив до-феерическую дрожь,
 Сквозь хищность геометрии, чей зал
 Нас норовит со спин своих слизать,
 Где в лузу страха катится огонь,
 Когда в минуту болью втиснут – год,
 Где видел, наизусть в себе застыв,
 Одно рукоплесканье пустоты.
 Не здесь – хоть идеально наг и нем, –
 Невосполним любою из замен, –
 Ты весь не здесь, вот дело в чём, сыграв
 В предвидимом, где не предвидим сам.
 Где всё одно – остаться и уйти,
 На каждой коде, с битвой смыслов – в тир
 Отточия, не ведавший, в каком
 Из нынешних пространств взойдёшь строкой.

ИГОРЬ ПАВЛОВ

СЕЛЕНИТ В ОЛЕАНДРАХ

Меркнет слива, сияет синица . . .
Звёздный дым поникает к весне.
Мне, как лёгкому лету, приснится
По ручьям убегающий снег.

Машет мальчик пустым пистолетом,
В олеандрах уснул селенит.
Попугай под морщинистым веком
Запотевшее солнце хранит.

Ходят куры, желтея ногами,
И ливанский песок – горячей
Там, где девочка пляшет нагая
В ореоле июньских ночей.

Это всё небывалостью бреда
Завещало мне детство – тот сад,
Где бывает сиренево лето,
Где лиловые шарики спят.

Покой кивает олеантрам,
Вдыхает флору дальних стран . . .
И ты уснёшь. Тогда за кадром
Восстанет розовый фонтан.

Вот вырос, властен и безвластен,
Как тополь, – стройный, озорной, –
Смешенье грёз и сна и страсти, –
Пропахший утренней зарёй,

Моих сомнений порожденье,
Он – подтвержденье, он – ответ,
Что ты чиста до пробужденья,
Пока тебя в сем мире – нет . . .

ОБЕЩАНИЕ

В декабре – в неизвестном году –
Я приду к тебе; снова приду.
Я приду к тебе, вкрадчив, – как врач,
Я приду к тебе, нежен, – как нож.
Прикачусь, как доверчивый мяч,
И замру, – успокоюсь у ног . . .



Я приду к тебе – истинный бард
 С полумёртвой седой бородой.
 Отрекусь от созвездий, от карт,
 Буду счастлив забытой игрой.
 Я – приду к тебе.
 Ночью приду.
 Ты почувешь меня. Как беду.
 Вспомним город о двух головах,
 Где душа подымается в рост,
 Ибо в зданиях – множество плах,
 А над ними – бесчисленность звёзд.
 Перепугаем – май ли, февраль?
 Перепугаем – ночь ли? Рассвет?
 Я приду к тебе, – лёгкий, как враль,
 Безнадёжный, как угренный свет.
 Я приду к тебе... Слышишь? Приду.

Когда слепой засуетится
 И слабодушный побежит,
 И на глазах у очевидца
 Извечный купол задрожит,
 И миру явится Разруха,
 И дух займётся от пустот,
 Среди поверженных красот
 Мне повстречается старуха.
 – Куда ты едешь, постарев,
 И кто тебя зовет Еленой?
 И глухо отвечает зев:
 – Туда, туда, на край Вселенной
 Где свет разбуженного сна,
 Где возрождается Весна.
 Весна, что, в сумерки пылая,
 Цвела и летом и зимой,
 Из той поры, когда была я
 Ещё Поэзией самой!

Пройдут и Офир, и Освенцим,
 Забудутся Рим и Рени...
 И старцы пройдут, и младенцы,
 Когда постареют они...

Конец прозираю – в начале
 Едва проявившихся дней.
 На свете так много печали,
 Что можно не думать о ней...

Печаль – и в движениях, и в позах,
 В сплетениях душ и имён...
 Печаль незаметна, как воздух,
 Во всём пребывая, как он.

И, послана во искупленье
 За бред, за дурные дела,
 Как осени благословенье,
 Прозрачная старость пришла...

МАРК ЭПШТЕЙН

НАБОКОВ С СИРИНОМ

То ли в дверь, то ль в окно — кирпичом.
Это — ветер, не спрашивай «кто там»,
Небожитель вращает мечом
И над крышей летит вертолётном.

Он пугает работников ГЭС,
А комбайнеры во поле чистом
Проявляют к нему интерес,
Как собаки к велосипедистам,

Но, отбросив свой велосипед,
И никем не замечен на свете,
Вестовой открывает планшет
И ломает сургуч на пакете.

Кто-нибудь да придёт . . .
Если за мной — не бросьте:
он без меня сгниёт —
снежный кальвиль в авоське.

Шорох над головой,
с важностью некролога
осень стоит метлой
новую у порога.

Первому на балу,
аристократу духа,
ветер свернул полу,
словно свиное ухо,

И под его дуду
(этого не хватало!)
листья, кружа в саду,
молча играют в сало.

Хлеба куплю, флакон
недорогой, куда там . . .
Мягкий, что пух, батон
я ль не крошил пернатым . . .

Что же теперь — молчок?
Здесь, над чужим болотом,
преданный глаз сечёт —
утки несут кого там.



Ныне ко мне придя,
сам из моей фаланги,
что же ты в рот дождя
мой набираешь ангел?

Полно, ты знаешь сам —
то не моя забота,
если поёт Варлам
арию Звездочёта.

Тёмный дом проплывал батискафом,
потихоньку росла под замком
и царапалась сволочь за шкафом,
и катилась бильярдным шаром.

Перепачкал бумагу под вечер,
больше смерти боясь белизны,
тонконогой печалью отмечен,
Сальвадор, забывающий сны.

А на улице скрючены пальцы
мокрых веток. В боку колотья,
и горчит, словно хлористый кальций,
в этих пальцах любое питьё.

Птичья клинопись скрыта под снегом,
ничего уже не узнаю . . .
Точно мальчик, играющий в лего,
Каин складывал вечность свою

на скамье. Только рано иль поздно
старый долг забирает зима:
человек, замерзая, замёрзнет
и свихнётся сходящий с ума,

станет чёрному ворону равен,
пролетая, ни с кем не знаком,
мимо разных решёток и ставен,
и иначе закрытых окон.

Камни, песок, полуостров Буян
и на просторе
парус белеет — А.К. Айвазян,
«Старец и море».

Вот — человек, седина в бороде,
длинной и пыльной,
слова не вымолвит. Кросс по воде
снят на мобильный.

Разве в изгнании выбора нет?
Камень, бумага,
ножницы, водка, норвежская сельдь,
хлеб из продмага.

Долго ли ты отсидел на мели,
пил из флакона?
Что там за парус белеет вдали?
— Яхта Харона.



Как на улице на Новосёлов,
плащ разорван, старик у ворот
в ожиданье Господних глаголов,
без разбору козящих народ,
наблюдает носы и затылки.
Вот – соседка выносит бельё,
никогда от румынской подстилки
отличить он не может её.

Царь Ахав восседает на троне,
и старик упрекает невежд,
два листочка кленовых в ладони –
за отвагу и за Будапешт.

Людам на смех то громче, то тише
пионерам кричит: Будь готов!
Но медведи не тронут мальчишек
и Господь не обидит ментов.

В сорок пятом его не спросили
(не давай ему рубль, накорми):
что ж ты пеплом не стал со свонми,
что ж ты выжил с чужими людьми?

Есть места, где сидел он, что твой зека,
пострашнее московского кабака,
но увидеть чертей не хватило денег.
И тонул, и думал – сейчас умру,
засыпал за нечистым столом, к утру
точно злой чечен выползал на берег.

И об этом стихи написал. Потом
их читал до рассвета жене с котом.
В сорок пять было слишком рано,
в сорок шесть – пора: отплывает он
поглядеть на чудовище скорпион
в дальних землях пресвитера Иоанна.

Есть моря, где играет морской монах,
нерейды, сирены и зверь Зидрах,
Божье небо, однако, близко.
И когда останавливается вода
шестикрылый кричит – человек, сюда!
У меня для тебя записка.

Не пуститься вплавь, не взлететь орлом –
только посуху. Вот и ходи кругом,
так гуляют здесь, в Ultima Thule...
Человек замерзает, гортань саднит,
где Набоков с сирином говорит
и раскачивается на стуле.

Если осень, то слякоть,
Зимою – метель,
И, конечно, смеётся над нами
Брат, играющий в теннис, окончивший Йель
И не любящий водки с блинами.



Если будет беда, не подставит плечо,
Что ни слово – петля или яма . . .
Отчего он крошку не любит, сучок,
Не болеет, говно, за Динамо?

Человек говорит. Опрокинет стопарь
Или пять за свои именины,
А уснёт – станет Бог, или раб, или царь,
Или Штольд Среднерусской равнины.

Вот идёт он по полю с барсеткой в руке,
А к нему с полустанка навстречу
Катерина, крестьянка в цветастом платке –
Катерина, давай онемечу!

Снег лежит на деревне заброшенной, где
Тараканы согреются бегом.

Он выходит, накинув шинель, по нужде
В огороды, покрытые снегом.

ВИКТОРИЯ КОЛТУНОВА

АННА ВОЛКОВА. ПОДВАЛЫ

повесть

Анна складывала вещи, разбросанные по комнате, наводила порядок. Она не очень-то любила заниматься уборкой, но иногда приходилось всё-таки. Из соседней, смежной, комнаты доносились голоса свекрови и её сестры. Старые женщины, с ослабленным уже слухом, не думали, что Анна может слышать их разговор. А ей в принципе было всё равно, пусть говорят, от неё не убудет, а реагировать она не станет, плевать ей на старых гримз.

Свекровь и тетка обсуждали её, Анну.

Вот, мол, два дня в неделю работает, а потом два дня отдыхает, не делает ничего. Не готовит вообще. Феденька готовит. А ведь Федя работает каждый день, не то, что она. И для чего вообще жена? Не готовит, стирает изредка, и только постельное и своё, а Федино он стирает сам. Зачем жениться, если самому готовить? И расписываться не хочет. Это вообще безобразие, и непонятно даже. В их время каждая баба стремилась именно, прежде всего, расписаться. А потом уж всё остальное. А эта... А если ещё учесть, что на восемь лет его старше, так просто слов нет, какое безобразие.

Анне было слышно каждое слово, но было настолько всё равно, что не вызывало никаких эмоций.

В голове лениво мелькало: интересно, а если б я была их дочкой, а Федя их зятем, то, наверное, думали бы иначе. Вот, мол, доченька бедная, надрывается в своей бодеге два дня подряд, таскает тяжёлые подносы в прокуренном подвале по двенадцать часов, а этот бутай отработал шесть часов в светлой проветренной комнате, бумажки там со стола на стол попереносил – и домой. Так что ж ему будет, если ещё ей кушать приготовит? Ведь это она таскает со своего производства разрешённые начальством остатки продуктов, по сути, кормит и себя, и его.

Анна вышла в кухню, где за столом с чашкой чая дожидался жены свёкор. Встряхнула свою ночнушку, чтобы расправить складки и аккуратно сложить в корзину для белья. Свёкор недовольно обернулся и скривил рот.

– Что ты пылишь тут, где я чай пью. Могла б и подождать, пока родители уйдут.

– А откуда в моей рубахе пыль? Небось, не пыльная тряпка, – дерзко ответила Анна.

«Не нравится, так не сидите тут», – про себя подумала она.

Свёкор демонстративно поднялся и, держа в руке блюдечко с чашкой, вышел в комнату. Оттуда донёсся недовольный говор уже троих стариков.

– И чего расчирикались, – подумала Анна. И тут же поняла. Ну, конечно, Фёдор ожидает повышения, за тем и пошёл в штаб. Сказали, приказ уже пришёл. Вот они и почувствовали себя, из-за него, конечно, на два миллиметра выше. Смешно.

Прошло полчаса. Фёдора не было. Старики поднялись, и, холодно попрощавшись, ушли.

Ладно. Спокойней будет. Можно телевизор в одиночестве посмотреть, без оглядки на их одобрение. Книгу почитать в тишине. Лучше книгу. По ящику такая дрянь. Анна выбрала томик Джека Лондона и легла на диван. Зажгла настольную лампу, уже начинало темнеть. Зачитавшись, она ушла из старой заставленной комнаты. Стены раздвинулись и исчезли. Великое Белое Безмолвие захватило её. Пала головная лайка. Всё, нет сил. Собачьи глаза молили о прощении, тускнея в предсмертном тумане. Остальные собаки сгрудились вокруг неё, перепугав упряжь.

В двери повернулся ключ. Звук шагов в коридоре. Фёдор, сняв туфли, зашлёпал тапками по полу.

Анна очнулась, вернулась в здесь и сегодня. Встала, пошла на кухню, включила электрочайник. Выставила на стол тарелки с едой из холодильника. Посмотрела вопросительно на мужа. Ну, понятно, звания дали. Повысили. По нему видно. Но что-то уж больно сияет.

– Ставь коньяк, Анюта, – сказал Фёдор. – Я тебе предложение официальное делать буду.

– Зачем официальное? Вроде и так не бедствуем, – подняла брови Анна.

– А иначе нельзя. Начальство велело жениться официально. В ЗАГСе.

– Ну, это твоё начальство. А моё мне ничего не велело. Объясни.

Фёдор торжественно встал и произнёс:

– Дорогая Анна! Я делаю тебе официальное предложение выйти за меня замуж, расписаться, перейти на мою фамилию, и уехать со мной в Германию, потому что, с сегодняшнего дня я уже не старлей, а капитан, и назначен на должность шифровальщика в дипкорпус в Германии. А ехать туда могу только



официально женатым. И с женой. Так что, любимая Аннушка, придётся нам расписаться, как бы ты ни сопротивлялась. Всё. Бог решил за нас.

Анна была растеряна. Такого поворота дела она не ожидала. Да, повышения ждали уже полгода, но чтоб на дипработу, да за границу?! Ничего себе!

Фёдор не замечал её растерянности. Он был упоён, он достиг того, что когда-то обещал столь любимой им Анне – подняться по службе, вырасти, поднять её за собой по социальной лестнице. Не просто достиг, а дипломатической службы. Недаром окончил институт с красным дипломом, старался, вон из себя лез. К начальству не подмазывался, как остальные, просто хорошо выполнял свою работу. И вот, заметили, предложили то, о чём он даже не думал. Он понимал, почему на такую работу нельзя ехать неженатым. Шифровальщик, да лобой служащий дипкорпуса, должен иметь в доме верную подругу, жену, чтобы на сторону не тянуло. Биологические потребности ой, как сильны, а дипломату рот надо держать на замке. Шифровальщику тем более. Уж кому, кому...

Фёдор не ждал ответа Анны, всё казалось и так ясно. Десять лет живут гражданским браком, хватит, пора расписываться. То, что она раньше не соглашалась, понятно, говорила, что не хочет расставаться со своей независимостью. Но то было раньше. А сейчас просто другого выхода нет, да и смысл какой дальше тянуть. И зачем ей независимость? От бедного старлея, пусть так. А сейчас – муж дипломат, большая зарплата, богатая жизнь в Берлине. Высшее общество. Наконец, она, такая красавица, обретёт то, чего достойна.

Он вынул из бара бутылку коньяка, они выпили за его успех и легли спать. Анна лежала и думала. Жена дипломата. Приёмы, балы. Она и мечтать о таком не смела.

Ей шесть лет. Она с родителями в Рязани. Они, знаменитые народные артисты, на гастролях с театром. Живут в гостинице. Она привыкла к гастролям, к запаху гостиниц, и дешёвых, и класса-люкс. Эта – дешёвая. Номер убирается раз в неделю. Родители что-то обсуждают, сидя на диване с тетрадками ролей в руках. Аня играет с пластмассовой лошадкой на колёсиках. Толкнула её, лошадка поехала, Аня побежала за ней и задела боком прикроватный столик. С края столика упали на пол отцовские часы. Не помня себя от страха, Аня мгновенно бросается лицом вниз под кровать. Под кроватью темно, пыль паутина. Пыль набивается в нос, паутина шекочет. Отец, смеясь, достаёт её из-под кровати.

– Не бойся, глупая, я тебя бить не буду.

Сколько раз ещё всплывёт в её памяти это воспоминание – жуткого страха, и ещё более сильного чувства – унижения от паутины и пыли, от этой позы, лицом вниз под кроватью? Когда она забудет это? Почему тогда уже, маленькой шестилетней девочкой, она не только испугалась, а поняла, всем телом ощутила унижение от ощущения страха, от своей рабской позы? Как она поняла это в шесть лет?

Она хорошо помнит себя с полутора до четырёх лет. Весёлый озорной ребенок. В четыре года она уже читала. Потом какой-то провал в памяти. А потом помнит себя с шести. Запуганной, молчаливой. Что случилось в этом промежутке с четырёх до шести? Почему она так изменилась? Ощущение страха. Вокруг трава, это какая-то дача. Аня стоит на траве и кричит от страха, широко разинув рот. Всё – больше не помнит ничего.

Зима. Аня прислонилась боком к тёплой батарее под окном, на батарее сушатся её варежки. Мать рассказывает своей тётке, что они с Николашей детей иметь не хотели, хотели посвятить свою жизнь театру без остатка. Но тут она забеременела. Пошла к врачу – взять направление на аборт. Врач сказала, что это не беременность, а миома, назначила ей уколы. А через несколько месяцев зашевелился ребёнок, оказалось, – Аня. Аборт делать было поздно.

– Эта врач испортила нам с Николашей жизнь!

Тогда Аня не поняла, что такое аборт, что такое миома и прочее. Но поняла чётко – её не хотели. Ещё до её рождения родители не хотели её, не любили, не ждали. А потому воспринимала как должное, когда мать кричала ей: «Тебя никто не звал на этот свет, убирайся отсюда, ты нам не нужна!».

Старалась не реагировать. Куда ж убраться? Здесь её законные тринадцать с половиной санитарных метров. А главное, здесь её папа и мама. Пусть бьют, не любят. Но других-то у неё нет. А она их любит как безумная. Потому что других-то у неё всё равно нет.

Уже в школе поняла, что родители – это не только любовь, но и забота. А заботы не было. После спектаклей у родителей в квартире собирались актеры, гуляли, ели, пили, спорили о театре. Аня засыпала к двум ночи на диване за спинами каких-то музыкантов. Утром её будила домработница, и к восьми часам вела в школу, натошак. Ей лень было готовить завтрак, а хозяева спали до двенадцати дня. Но в этом был и положительный момент. Аню никогда не ограждали от «взрослых» разговоров, её просто не замечали. И она впитывала в себя, как губка, всё, что говорили взрослые. К семи годам она чётко знала, что такое сюжет, и что в нём должен быть конфликт.

Хуже было то, что родители, выбрасывая огромные деньги на чаевые горничным и официантам, на гулянки в доме, не считали нужным тратить деньги на Аню.

У них сложилось твёрдое убеждение, что Аня случайно, совершенно случайно, благодаря дурацкой врачебной ошибке, получила необыкновенный подарок – жизнь! Разве бывает больше? Чем, собственно, она это заслужила?

– И чем же ты это заслужила? – со злостью спросила мать, когда Аня робко попросила золотую



цепочку на шею на своё восемнадцатилетие.

– Тебе дали жизнь, скажи спасибо, – снисходительно улыбался ей отец.

У них было истинно не то советское, не то аристократическое, отношение к деньгам. Как аристократы они деньгами сорили, как советские люди считали их презренным дополнением к существованию, и абсолютно не обязательным к владению. Ане денег не полагалось. Зачем? Её кормят, книги и тетради покупают.

Поэтому, когда после школы класс собирал по пятьдесят копеек на кино или на кафе-мороженое, Аня уходила домой. «Мне некогда», – говорила она.

Но однажды услышала: «Ребята, давайте скинемся за Сельвинскую, пусть тоже пойдёт». У неё вспыхнуло лицо, на глаза навернулись слёзы.

– Мне некогда, – крикнула, – меня дома ждут!

И убежала. Дома не сказала ничего. Боялась. Как всегда. Боялась сказать, боялась попросить.

Что же случилось тогда между четырьмя и шестью годами, когда она почти потеряла память, разучилась читать? Какой-то испуг, она среди травы с разверстым в крике ртом! Кто-то испугал её так, что она ушла в «непамять», как в раковину. Именно после этого она стала так панически бояться родителей.

К тринадцати годам она вытянулась, превратившись из неуклюжей, угловатой девочки в довольно изящную. В школе начинались романы. Одноклассницы шептались, обсуждали, кто кому нравится. Устраивали вечеринки друг у друга. Аня не ходила. У неё была школьная форма с чёрным фартуком на каждый день и та же форма, с белым – «на выход». Дома – байковый халатик, в котором она подрезала и подшила подол, бывший мамин.

И всё. Однажды явилась к соседке того же возраста на день рождения в форме с белым фартуком, и услышала от её тётки строгое: «Аня, марш домой, и переоденься! Здесь именины, а не пионерская линейка!»

Больше она на именины не ходила, на школьные вечера тоже. Конечно, деньги – это грязь, они презренны, они не главное в жизни, как подчёркивали папа и мама, но как же они нужны хотя бы для того, чтобы просто быть как все! Это вам не нужны, думала Аня, потому что они у вас есть. А у меня только талоны на проезд в городском транспорте, выдаваемые мамой раз в неделю. Но кроме трамвая и троллейбуса их не берут нигде.

На доске объявлений Дома культуры имени Леси Украинки висела афиша о приёме в театральную студию ребят от пятнадцати лет. Сердце у неё заколотилось. Вот она – судьба! Она так замечательно читает стихи, танцует, она столько знает о театре! Сколько раз её брали на репетиции, когда не с кем было оставить дома. Репетиции Аня любила больше, чем спектакли. Это было интересней, следить, как режиссёр объясняет задачу, как актёр её выполняет. Ещё интересней следить за разными актёрами в одной и той же роли. Она могла бы на память прочесть всю роль Гертруды из «Гамлета», которую репетировала мама. Но больше она любила монолог Призрака, от бархатного голоса её отца, постепенно то поднимавшегося к небесам, то бросавшегося с них на землю, её принимала дрожь. А вот эти последние слова:

*«Но, как бы это дело ни повёл ты,
Не запятнай себя, не умышляй
На мать свою; с неё довольно неба
И терний, что в груди у ней живут,
Язва и жалья. А теперь прощай!
Уже светляк предвозвещает утро
И гасит свой ненужный огонёк;
Прощай, прощай! И помни обо мне» –*

всегда вызывали у неё комок в горле. Призрак рассказывает сыну, что жена убила его, но просит не мстить ей, пожалеть, она и так наказана провиденьем. Как благородно с его стороны, думала Анна.

Она забежала в Дом культуры, записалась на экзамен.

Родителям ничего не сказала. Боялась, что отец пойдёт просить за неё, или наоборот, запретит, а ей хотелось попробовать самостоятельности, увидеть самой, на что она способна. На афише было написано, что театр-студию будет вести приезжая знаменитость. Тем лучше, думала Анна, он не знает меня.

Тогда она бросилась лицом в грязь под кровать, жалкая, трусливая, перепуганная. Но ведь ей было всего шесть лет. А позже – она заходит в магазин «Пассаж». Скоро выпускной, а у неё ничего нет. Она рассматривает платья, развешенные на плечиках: как хочется любое, самое плохое из этих, и она была бы счастлива.

– Девушка, выйдите оттуда, там очень дорогие вещи, это не для вас! Идите вон в тот угол, там, в большой коробке уценка, выберите себе что-нибудь, – раздражённо говорит продавщица. Анна, пунцовая, с колотящимся сердцем, пулей вылетает из магазина. У неё нет денег и на уценку. И в любом случае,



она уже к тому коробу не подошла бы. На выпускной она не пойдёт. Как всегда, скажет, не хочется. Я лучше дома побуду.

На экзамен в театральную студию Аня потихоньку от домработницы надела мамино платье. Родители были в отъезде. Аня подколола английскими булавками платье по талии, чтобы оно село на место, и не было так длинно. Вместо пояса надела шарф, чтобы скрыть булавки. Конечно, девочка пятнадцати лет смотрелась смешно и нелепо во взрослом платье с большим декольте. Обладая безупречным вкусом, Аня правильно ощущала это как пошлость, но другого выхода у неё не было. Не в школьной же форме. Вдруг опять скажут, здесь не пионерская линейка. В приёмной комиссии было человек десять. У Ани от волнения кружилась голова. Почти все знакомые папы и мамы. Но Приезжая Знаменитость отличалась от них начальственно-нисходительным видом.

Аня с детства знала, что надо сдавать на актёрскую специальность. Басня, отрывок из прозы, стихи и этюд. Она заранее подумала, что когда назовут тему этюда, придумает такой сюжет, чтобы включить в него танец, она так здорово умеет танцевать. Дома в оконной занавеске перетанцевала под все пластинки, включая оперы и симфонические концерты.

До экзаменов оставалось два дня, и подготовить отрывок прозы Анна вряд ли сумела бы. Его ещё надо найти, подходящий, проработать, выучить. Она решила читать отцовский монолог Призрака из «Гамлета», который знала наизусть. Для стихов подготовила небольшое стихотворение из Ахматовой.

Будь, что будет, думала она, идя на экзамен, возьмут, так возьмут, а если нет, то хоть узнаю о своих возможностях.

Первое, что её попросили, прочитать отрывок. Анна постаралась сосредоточиться, «отключиться, а потом включиться», как говорила мама. Она закрыла глаза, увидела перед собой тёмный ночной Эльсинор. И зазвучал её глубокий, тёплого тембра голос пятнадцатилетней девушки:

*Да, этот блудный зверь, кровосмеситель,
Волшбой ума, коварства чёрным даром —
О гнусный ум и гнусный дар, что властны
Так обольщать! — склонил к постыдным ласкам
Мою, казалось, чистую жену;
О, Гамлет, это ль не было паденьем!
Меня, чья благородная любовь
Шла неизменно об руку с обетом,
Мной данным при венчанье, променять
На жалкое творенье, чьи дары
Убоги пред моими!*

Члены комиссии, привычно ждавшие «Чуден Днепр при тихой погоде...», казалось, онемели. Анна забыла обо всём, она была Призраком и жаждала мщенья.

*О, ужас! Ужас! О великий ужас!
Не потерпи, коль есть в тебе природа:
Не дай постели датских королей
Стать ложем блуда и кровосмешенья.
Но, как бы это дело ни повёл ты,
Не запятнай себя, не умышляй
На мать свою; с неё довольно неба
И терний, что в груди у ней живут;
Язва и жалья. А теперь прощай!
Уже светляк предвозвещает утро
И гасит свой ненужный огонёк;
Прощай, прощай! И помни обо мне.*

Последние слова она произнесла на протяжном тающем выдохе, наступало утро, Призрак терял силы и прощался с любимым сыном. Быть может навсегда.

Анна пришла в себя. Приезжая Знаменитость взирала на неё с удивлением. Обернулся к остальным, спросил:

— Кто это? Что это значит?

— Дочка наших Сельвинских, Николая и Нины. Ну что Вы хотите — гены! — наперебой, угодливо бросились объяснять местные театралы.

— Вы приняты, — коротко бросила Знаменитость.

Потекли самые счастливые три года её жизни.

Что случилось тогда между четырьмя и шестью годами, когда она почти потеряла память, разучилась читать? Какой-то испуг, она видит себя среди травы с разверстым в крике ртом! Кто-то испугал её так, что она ушла в «непамять» как в раковину. Именно после этого она стала так панически бояться родителей. У



хозяйев дачи была большая собака, овчарка. Нет, не то. Эта собака играла с ней, она была хорошая.

Почему люди не хотят детей? Ну, хорошо, сначала не хотят, это получается случайно. Природа не слышит их желаний, она берёт своё, сливая в единое две живые клетки, каждая из которых не хочет сливаться в одну, настойчиво, на полевом уровне, требуя самостоятельности. Но Бог решает иначе, и получается маленькое чудо – ребёнок. Вот он уже есть, тёплый, живой. Как не любить его? А тогда, когда ему три года, и он, прижимаясь к материнским коленям, истово жаждет любви, лезет на руки, заглядывая в глаза, как можно его оттолкнуть? Уходи, мне некогда! У тебя губки грязные, липкие, уйди немедленно, Галя, вы что, не видите, ребёнок грязный. Помойте её!

Заканчивались годы учёбы в театральной студии. Выпускники её планировали поступать, кто в ГИТИС, кто в «Шуку». Режиссёр-педагог, та самая Приезжая Знаменитость, был доволен курсом. За три года поставил несколько нашумевших спектаклей в местном театре, подготовил замечательный курс. О них будут говорить – ученики такого-то. Одна Сельвинская чего стоит. Ох, и далеко она пойдёт! Ну, да, конечно, гены. Да и жизнь с раннего детства в атмосфере творчества не могла не сказаться.

Настало время Знаменитости возвращаться в Москву. Анне он сказал: позови отца, я хочу с ним поговорить.

Режиссёр-педагог объявил народному артисту Николаю Сельвинскому, что его дочь, Анна, одарена от Бога, что ей надо обязательно учиться дальше, получить полноценное, высшее, столичное образование. Ей предстоит блестящее будущее. Отец должен привезти Анну в Москву, в ГИТИС, где тот преподаёт, он возьмет её на курс без сдачи специальности, но общеобразовательные надо будет сдать. Анне это не сложно, у неё в школе пятёрки по всем предметам.

Они вышли и сели в отцовскую машину. Отец сиял от гордости, у него такая талантливая дочь!

– Анютка, – кричал он. – Талантище, чёрт тебя побери, моя кровь, моя!

Анна сидела, отвернувшись, по лицу её текли слёзы. Она знала, что этими криками всё и кончится. О ней забудут, как всегда, лишь отъехав от здания Дворца студентов, где располагалась студия. Отец её слёз не заметил, не спросил ни о чём.

Через неделю отец и мать уехали на гастроль с антрепризой. Стоял конец июня. Экзамены в ГИТИС в июле. Деньги оставили, как всегда, только домработнице, оплатить квартиру, на еду для неё и Ани.

Анна понимала, что в этом году в Москву её никто не отправит. В будущем тоже вряд ли. А высшее образование необходимо. Хоть какое-нибудь.

И ещё. Больше она не могла вынести унижений от своего вида. Она выросла красивой девушкой. Но кто это замечал?

Мать, хоть и любила вечеринки, поклонников, но одежде значения не придавала. Полсуток в сценических костюмах, блистая на сцене в лучах софитов. Эти часы вполне удовлетворяли её женское естество, требовавшее мужского поклонения. А дома могла ходить кое-как. Повседневной одежды у неё было мало, покупала она, что придётся, лишь бы тело прикрыть, и зашивала до дыр. Потом, в расчёте на «авось пригодится», все тряпки сбрасывались в сундук, стоявший в подсобной комнате без окна, на нём обычно спали домработницы. Вот из этого сундука Анна черпала свой гардероб.

Что-то укоротила, что-то подликала. У матери и у неё были разные фигуры, разный рост. Всё старое, материнское, вышедшее из моды, сидело на Анне, как нарочито устрашающий костюм на огородном пугале. А главное, голова. В морозы надо было надеть что-то на голову. Платки Анне были абсолютно не к лицу. Они её старили, уродовали. Мать ничего на голове не носила, они с отцом ездили на машине, шляпы она не любила. Анне приходилось завязывать на голове старый шерстяной, свалывшийся от стирок платок. Он был короткий, и завязав его под подбородком, она уже не могла даже говорить.

Нет, больше она такого не выдержит. Ей восемнадцать лет, а тоска такая, что жить не хочется. И никакого просвета впереди. Всё так и будет катиться монотонно, однообразно. Что делать, как начать жить?

Какие странные ей снятся сны. Вот один. Она идёт по виноградной аллее. Слева и справа шпалеры винограда. Навстречу ей вереница женщин. Они все одеты одинаково, белые широкие юбки, чёрные распахнутые пиджаки, на голове фесочки. Это Балканы, думает Анна, эти женщины беженки. Откуда они бегут и куда? Разве где-нибудь лучше, чем дома? Ах, да, у них же война.

Ещё. Она идёт по магазину, рассматривает витрины. В них украшения из поделочных камней. Самые разные, удивительной красоты. Витрины бесконечны и число украшений в них бесконечно, ни одно не повторяется. Но это же мне снится, думает Анна, значит, это она сама автор этих украшений, они плод её фантазии. Значит, она способна на такое, она мастер, она художник!

Часто снилось, что она танцует. Классический балет, хотя в студии они изучали характерные и балльные танцы, а из классики только позиции и основные па. Но во сне она танцует любые партии, какой высокий прыжок! Вот она остановилась, закончив фюэте в фронтальной точке, чётко остановилась, не покачнувшись. Какое это счастье, уметь так двигаться, так выражать свои чувства и мысли движениями тела. А, ну да, это реализация желаний детства, когда она танцевала в оконной занавеске под «Травиату», под «Колокола» Рахманинова.

Ей нужно высшее образование. Иначе, что станет с ней? Жить с родителями всю жизнь, получая тарелку супа и упреки за то, что родилась случайно, в результате врачебной ошибки, и должна быть



счастлива этим? Она выгащала счастливый билет под названием «жизнь»! Не бывает большего счастья, большего везения, чем у неё. А когда родители умрут, что с ней будет? Ведь она же по всем законам природы проживёт больше них.

А главное, стыдно! Как всегда стыдно. Стыдно своего страха перед родителями, стыдно, что поломила им жизнь, стыдно толстого линялого свитера в июльскую жару. Стыд напитал её тело, всосался в мозг, он часть её сознания, он течёт по её жилам вместе с кровью.

А потом ещё будет стыдно, что она — дочь двух народных артистов, окончила среднюю школу и ничего больше. Нет, так нельзя. . .

А ещё стыдно постоянно врать. Врать, что её устраивает этот вид, она сама не хочет ходить в другой одежде. Врать, что она сама отказалась ехать в Москву поступать в Театральный. Врать, что у неё нет таланта, она сама пришла к такому выводу и, беспомощно улыбаясь, ловить снисходительно-сочувствующие взгляды. Врать, что она не пойдёт на танцы потому, что занята сегодня вечером. Врать, врать и врать, выгораживая своих родителей, потому что под страхом смерти она не скажет, что они в чём-нибудь виноваты, что они вовсе не такие безупречные и великие, как о них говорят, что они просто не дают ей ни на что денег, тратя их без удержу на себя, гостей, свои прихоти. Она находила миллион оправданий для отца и матери, не позволяя сказать самой себе правду, что они просто не любят её, вот и всё.

Они любят её, ну как же иначе, разве иначе бывает, просто они люди со странностями, это случается. Тем более с людьми творческими, неординарными.

Отец не отвёз её в Москву? У него не было времени, а скорее всего, он просто стесняется её, вдруг она там в столице не так сыграет, не так что-то скажет. И подведёт семью. Для него и матери честь семьи превыше всего, а значит и для неё, Анны. Она должна подчинить интересам семьи свои личные амбиции, честь семьи важнее. И она сделает это.

Тем более, она должна получить высшее образование. В общие вузы экзамены в августе, если не ехать в Москву, — а на поездку у неё нет денег, а главное, родительского разрешения, — то она может сдать экзамены в какой-нибудь вуз здесь, дома. Лучше всего на филфак, это общее гуманитарное образование, и не привяжет её к какой-нибудь профессии. Но это ещё пять лет без денег. Её родители обеспеченные люди, стипендии она не получит.

Решено, она пойдёт на вечернее отделение, и работать, работать, зарабатывать, хоть что-нибудь. Избавиться от этой жуткой зависимости, когда тебе выдают талоны на проезд, а стакан газировки становится покупкой!

Экзамены Анна сдала с удовольствием, даже весело. Что ей была русская литература, если она читала с детства взахлёб и прочла, возможно, больше своих преподавателей. С работой было хуже. Её известная в городе фамилия играла с ней злую шутку. Дочь Сельвинских поступила на вечерний и хочет работать? Нет, это опасно, здесь кроется подвох. Возьмешь её, а потом она будет выбрыкиваться на работе, избалована наверное, такими-то родителями. Небось, в детстве, если не покупали, что просила, так бросалась на пол и ножками стучала. А сегодня, что не так, папаша, народный артист, в обком партии победит. Нет, нет. От греха подальше. Обладая острым умом и проницательностью, актёрским умением встать на место другого человека, Анна понимала, почему она вызывает у работодателей такую резкую неприязнь. Но что она могла поделать?

Наконец, бывшая одноклассница нашла ей место препаратора в виварии лаборатории медицинского института. Там срочно нужен был человек и никто не хотел идти. Почему, Анна поняла в первый же рабочий день.

Зашевелился Фёдор, что-то прошептал. Она посмотрела на него, на губах Фёдора играла лёгкая улыбка довольного жизнью человека. Он спал и улыбался во сне. Ещё бы.

Когда Анна вышла на работу, оформившись в отделе кадров Медина, она была поражена. Виварий находился в огромном подвале. Клетки с тысячами крыс. Окон нет, есть несколько вытяжек принудительной вентиляции. Но, всё равно, от резкого, сбивающего с ног, запаха крысиной мочи и кала, перехватывало дух. Анне велели надеть респиратор. Без него работать было нельзя. В её обязанности входило ежедневно убирать, мыть клетки тугой струёй из шланга, — вода стекала в канавки цементного пола, — и варить на плите, находившейся тут же, кашу в нескольких вёдрах, раскладывать её по кормушкам. По мере необходимости заносить крыс наверх, в лабораторию. Брать очень осторожно корнцангом за бок. Из клетки в круглый металлический бокс переносить тоже осторожно, чтобы не сбежала. Главное, чтоб не укусила. Многие из них вирус-инфицированы, обозлены инъекциями, другими опытами, с ними надо держать ухо востро, объяснили Анне.

Зато рабочий день только до трёх. Больше времени на учёбу. В день дают бутылку молока. Рабочая одежда — белый халат, белая косынка, резиновый фартук, резиновые сапоги, резиновые, но тонкие перчатки. Иначе не зажмёшь толком в руке корнцанг и можно упустить крысу. Однажды так и случилось. Она уронила большую крысу, та грузно шлёпнулась на пол, затем неожиданно высоко подскочила, выше Аниного колена, собираясь тпнуть острыми белыми зубами блестящий никелированный корнцанг. Аня, закричав от страха, отскочила. Крысы бегают очень быстро, но эта, снова упав на каменный пол, бросилась от Ани в противоположную сторону и исчезла в дыре под плинтусом. Обошлось.

Анна на всё была согласна. Лишь бы зарабатывать, стать самостоятельной.

Вскоре она расстроилась. Зарплата низшего медицинского персонала в лаборатории мединститута составляла всего лишь пятьдесят пять рублей в месяц! Две ежемесячные стипендии, если б она поступила на стационар и получала стипендию. Но она же её всё равно не получит. Лучше синица в руке. . .

Потекли рабочие будни. Вскоре Анна втянулась в работу. В подвале было тихо, только иногда слышался визг подравшихся крыс или их шипение. Булькала каша на плите. Одно было плохо — от Анны постоянно несло крысиным помётом и резким запахом аммиака. Как бы она ни мылась. Этот запах проникал в поры тела, в волосы. Но те пятьдесят пять рублей в месяц, которые она зарабатывала, давали ей призрачную иллюзию свободы. Родители знали, что она работает в лаборатории, никаких вопросов по этому поводу не задавали. И по поводу вечернего отделения тоже. Для них Анна словно бы не существовала. Она была им не нужна, и это сквозило в каждом жесте и слове.

«Но ведь я же им ничем не мешаю», — иногда с тоской думала она.

Однажды её лаборатория «вышла боком». К родителям зашёл молодой, только что принятый в театр на должность режиссёра, выпускник ГИТИСа Василий. Он нравился Анне, тайком она мечтала, чтобы он пригласил её на свой спектакль. Она бы могла подсказать ему что-нибудь, ведь она так разбирается в театре. Василий сидел у отца в кабинете, там же находилась мать. Анна вошла и поздоровалась. Она вернулась с работы. Мать потянула носом:

— Фу, как от тебя воняет, невозможно, пойдёшь, помойся!

Анна вылетела из комнаты, как ошпаренная. Стала избегать Василия, когда он приходил, пряталась в своей комнате.

С этим покончено. Она — жена дипломата. Она забудет всё, что было. Унизительный страх, грязь и паутину под гостиничной кроватью в Рязани. Насмешки над своим видом. «Пугало огородное», «чучело с грядки» кричали ей одноклассники, когда они ссорились. Это естественно, дети обзывают по тому признаку, который бросается в глаза. Не спасали ни сумасшедшая эрудиция, нахватанная в огромной родительской библиотеке, ни блестящие способности к учению. Самодельно, кое-как перешитая, застиранная одежда с материнского, другого по размеру и форме, плеча придавала ей нелепый, клоунский вид, и Анна это чувствовала всей кожей. Сутулилась, втягивала голову в плечи. Одежда жгла её тело, заставляла пробираться улицей, вжимаясь в дома, в темноту, подальше от людских недоумённых взглядов.

Витрина женских часов сверкает. Сколько моделей, самых разных. На любой вкус и карман. К ней подходит respectable вида пожилой человек.

— Что, девочка, смотришь? Часы нужны? А денег нет? А ты вот сойдись с таким человеком как я, например, и всё будет. Ты, красивая, юная, сейчас никому не нужна, правда? А я тебя одену как куколку, и будешь всем нужна. Жизнь тебе устрою. Что скажешь?

Анна, обернувшись, посмотрела на него потрясённо. Он предлагает ей, дочери народных артистов Сельвинских, пойти к нему на содержание! Как смеет! Надо ответить ему резко и грубо. Зачем резко и грубо? Ведь он желает ей счастья, предлагает шанс, которого лишила её судьба, нормальную жизнь, ГИТИС, последующую карьеру. . . Человек явно образованный, интеллигентный, он не станет держать её только для постели. Он действительно даст ей шанс. Но он не предлагает на ней жениться, он говорит «сойдись», значит, содержание? Он женат? Нет, она не пойдёт на это. Стыдно. Опять стыдно. Стыд преследует её всю жизнь.

Анна покачала головой и резко пошла прочь. Она больше не увидит этого человека, но запомнит его навсегда. И вспоминать его будет с непонятной для себя самой, странной нежностью и теплотой.

Пятьдесят пять рублей, минус подоходный. Не хватает на полноценную самостоятельную жизнь. С первой полочки она купила родителям подарки, отцу шпичики для ногтей со вставками из эмали, матери — дешёвую брошку в виде ящерицы. Бутылку шампанского и торт. Хватило впритык. Посидели. Поздравили её с выходом на первую работу. Хорошо посидели, тепло. По-семейному. Анна думала: вот если б они съездили в лабораторию, посмотрели, в каких условиях она работает, в запахе аммиака, разрывающим лёгкие, с инфицированными крысами в руках, наверное, запретили бы ей. А может и нет. Если бы им было интересно, хотя бы спросили, как и что.

Со второй полочки купила себе сумку, чтобы не таскать в кармане ключи, из-за ключей старая ткань карманов вечно продиралась до дыр, их можно было потерять. И так, постепенно, каждый месяц что-то, ведь у неё совсем не было ничего.

Анна идёт по коридору в аудиторию прикладной лингвистики. У окна стоят парни-студенты, один из них, видимо, новенький провожает её удивлённым взглядом.

— Кто это? — спрашивает. — Что это с ней?

— Да это сумасшедшая. Что, не видишь? Дочка знаменитых актёров, а одевается как пугало. Не все дома. Ну её.

Вечером, в ванной Анна разделась догола, стала перед большим зеркалом. Стройная, точёная фигура, густые каштановые волосы с красноватым отливом, удлинённые зелёные глаза. Красавица. Кто это видит? Прав был тот человек. Никому она не нужна, никто не разглядит под старыми убогими тряпками



молодое упругое, жаждущее жизни, тело. Эти тряпки скрывают не только её тело, они скрывают её мечты, чаяния! Тот человек разглядел же! Но он опытный, старый. А молодым, нищим студентам зачем это? Лучше найти девушку обеспеченную и не слышать вслед себе: с кем это Саша? Где он взял эту дурдомовскую? Сказать родителям, что им самим должно быть стыдно, что их дочь так выглядит? Но они поднимут крик, станут ругать её, стыдить за непомерные требования, наглость, неблагодарность за высший дар, которого она была удостоена, нет, нет, лучше промолчать, подождать, может всё как-нибудь наладится.

Скарлетт О'Хара стоит посреди поля, задрав кулачки к небу, и даёт себе клятву, что никогда-никогда в жизни она не будет голодать. А я? Никогда никому не позволю назвать себя дурдомовским пугалом? Как это сделать?

В горле засвербело. Сейчас начнётся кашель. Анна выскочила из постели, чтобы не разбудить Фёдора и бросилась в ванную. Тапки не успела надеть, кафельный пол охлаждал босые ноги, но был приятен ей своей безупречной гладкостью.

Тёплое воспоминание юности. Единственное за всю жизнь. По случаю окончания первого курса театральной студии ребята скинулись на несколько бутылок красного дешёвого вина. Анна предупредила, что не пьёт алкоголь, у них в семье женщинам пить не принято, и она пить не будет. Но когда все вошли в прохладную тень Пале-Рояля, сели на сдвинутые три скамейки, раскупорили бутылки и принялись передавать их по кругу, ей показалось неэтичным противопоставлять себя остальным. Она выпила всего лишь четверть стакана, если определить на глаз. Но этого оказалось достаточно. Первые четверть стакана, выпитые в шестнадцать лет, — убойная сила. Анна еле дошла до дома, жутко тошнило, голова кружилась, она готова была умереть. Как ни странно, родители встретили её изумлённо-ласково. Не били, не оскорбляли, наоборот, объясняли, что так нельзя, уговаривали, чтоб это было в первый и последний раз. Наутро Анна не могла поверить себе. С тех пор, когда было тяжело, старалась вспомнить, как они встретили её, непривычно спокойно. Это воспоминание и то, когда она принесла первую получку, и они сидели по-семейному за столом, грело её всю жизнь.

Тот день, когда Анна получила диплом об окончании филфака Госуниверситета, был начальным в череде дней, названной ею впоследствии «кашельными». Приступы кашля нападали в любое время дня и ночи. Туберкулёза не нашли. Но стало ясно, что несколько лет вдыхания паров аммиака не прошли даром. Из лаборатории надо было уходить, да и в любом случае, ей там нечего было делать с дипломом учительницы русского языка. Этот диплом тоже стал для неё огорчением. Не привыкшая задавать вопросы, подавляемая дома авторитетом знаменитых родителей, против которых она не смела и пикнуть, Анна даже не подумала спросить в приёмной комиссии, что будет написано у неё в дипломе. Она была уверена, что там напишут «филолог, специалист русской словесности». А там было написано «учитель русского языка и литературы». Да такой диплом она могла бы получить и в Педагогическом за четыре года, а не в университете за пять. Лишний год жизни. Всё равно она не собиралась заниматься этой профессией. Надо было что-то искать. Такое, чтобы обрести независимость. И работать только в искусстве, иначе она своей жизни не мыслила.

Однако, действительность распорядилась иначе. Диплом учительницы, выпускницы вечернего факультета немного весил. А ей надо было трудоустроиться срочно. Пришлось пойти учительницей в школу-новостройку в спальном районе. На другом конце города. Это временно, уговаривала себя Анна. Потом она найдёт что-то получше. Хорошо бы место завлита в одном из театров. Отец не пойдёт за неё просить, он говорит, что советские люди должны всего добиваться сами, и если ей, Анне, повезло родиться в такой семье, то с неё и спрос больше. Это его личный взгляд на вещи, но она так зависима от его личных взглядов. А завлит — должность идеологическая, просто так не возьмут. Нужны протекции.

Зарплата в школе была приличной. Сто двадцать рублей. Анне она казалась сказочной. Удержалась на работе она всего две недели. Поступила жалоба от какой-то мамы, что новая учительница на классном часе читала детям Библию, и тем самым вела сионистскую пропаганду, поскольку в этой книге утверждается, что евреи исконно владели землёй современной Палестины. Анну уволили, не отметив в трудовой книжке, в виде большого одолжения, что она уволена по идеологическим мотивам. Анна пыталась объяснить, что она имела в виду всего лишь те места Библии, на сюжетах которых построено всё мировое искусство до начала XX-го века, но её не слушали. Пусть скажет спасибо, что уволили «по собственному желанию». Анна стояла, склонив голову, и слушала директорский выговор. Да, да, она виновата, да, благодарна, что не написали. В голове мелькало: это не моё место в жизни, мой потенциал много выше, я не помещаюсь в эти рамки, что мне делать?

В Рязани, в той самой дешёвой гостинице, где под кроватью была грязь и паутина, Аня любила играть с родителями в игру «подавальщица». Они питались в гостиничном ресторане, и Аня по вечерам надевала на голову белую салфетку, повязывала на животик другую, брала поднос с графином и двумя стаканами, и делала вид, что она подавальщица в ресторане. Спрашивала у родителей заказ, делала вид, что записывает его в блокнот, потом «приносила» блюда с едой, нахмурилась брови, «подсчитывала стоимость», сове-

товала им обязательно попробовать мороженое «Сюрприз». Изображала возмущение, если ей не подавали «чаевые». Все трое получали удовольствие от этой игры. Родители смеялись и отмечали, что у Аньки врождённые актёрские способности.

Что испугало её тогда на даче?

Первую неделю Анна боялась сказать, что её уволили. Уходила, словно на работу, сидела в Городском саду до двенадцати часов, потом шла в какое-нибудь кафе погреться. Но время шло к зиме, всё позже светало, всё холоднее становились утра. Пришлось признаться.

Это вызвало гнев отца. По идеологическим мотивам! Пусть не написали, но это так. Не любившая врать, Анна честно сказала, что её уволили за «сионистскую пропаганду».

— Она могла нам навредить, — кричала мать. — Мы можем стать невыездыми. Дура какая!

Ну?! Какая дура!

Это загадка. Так не бывает. Существует врождённый родительский инстинкт. У крыс тоже есть. Воробы бросаются на кошку, защищая птенцов. Здесь что-то не то. Там на даче, когда она так испугалась, случилось что-то мистическое? Кто-то проклял её или прокляли мать и отца, желая лишить их радости наслаждения своим ребёнком? Если проклята она, ей следует жалеть себя. Но если прокляли родителей, наказали их нелюбовью, вечным раздражением против неё, значит, следует жалеть их? Значит, это они потеряли что-то, а не она. «Тебе дали жизнь, скажи спасибо!» Да она и так благодарна. Может быть, любить их ещё больше, и тогда её чувство пересилит их отрицание, их отторжение от неё? Но куда же больше, куда больше? Она готова за них жизнь отдать.

Они никогда не запрещали ей курить. Просто потому, что она не начинала. Все мальчики её возраста и многие девушки, а студентки театральной студии — поголовно, уже курили. Анна знала, что это плохо, не хотела даже начинать, зачем, какой смысл наносить вред собственному организму и окружающей среде. Дешёвое позёрство было ей чуждо. Но однажды курение показалось ей лёгким, ничего не стоящим протестом против диктата взрослых. Вот сестры так небрежно боком, у столика в ресторане, в роскошном платье, чиркнуть зажигалкой и закурить тонкую длинную сигарету. Нет, она не может «чиркнуть», она ведь женщина, огонёк должен поднести ей мужчина. Всё равно, она никогда не будет курить, но просто так, из протеста, закурить бы однажды, когда родители не видят. А лучше, когда видят. И не смеют запретить. Они? — не смеют? Смешно. Сама не посмеет.

Тоска, тоска, надо ни о чём не думать. Просто не думать. Так легче. Уйти с головой в туман недумания. Утром на базар с маминной запиской, что купить. На улице никого не замечать. Это легко, потому что её тоже никто не замечает. Потом уборка, стирка. Переписывание ролей для мамы или папы. Составление для них же деловых писем. Отвечать на звонки. Готовить обед. Ни о чём не думать. Вечером, когда они в театре, скрыться в своей комнате и лечь на диван с книгой. Вот они — часы блаженства. Она — Брунгильда, Жанна Д'Арк, она гибнет в сталинском концлагере, она ведёт за собой войска Эмилиано Сапаты на штурм Мехико, а он, раненый, покачивается рядом в люльке на спине лошади, она, да это именно она, та самая знаменитая Анита, возлюбленная Джузеппе Гарибальди, его верная подруга. Вот она, сгорая от лихорадки, взбирается на каменную осыпь Альпийских гор. Сколько ролей прошло в её голове, сколько жизней прожито на диване. Это она — Лиза Перкель, восемнадцатилетняя еврейская девушка, которую ни прикладами, ни штыками не смогли немцы заставить снять одежду, и которая вынудила их так и расстрелять её, растерзанную, исколотую штыками до смерти, но одетую! И так, в одежде, и ушла она в жадную, мокрую от крови пасть Бабьего Яра...

«Тебе дали жизнь, скажи спасибо!» Да она говорит, она благодарит, разве вы не слышите?!

Как ещё она может отблагодарить, уже сколько лет вы не знаете, что такое домашние заботы, не платите домработницам, они не воруют у вас деньги и облигации, не хамят. Что ещё я могу для вас сделать, ведь я простой человек, что мне сделать ещё?

Обернитесь же, посмотрите на меня, ведь я так вас люблю!

Откашлявшись, Анна накинула халат, сунула ноги в тапочки и вышла на балкон. Села на деревянный диванчик. Вытащила из кармана пачку длинных, тонких сигарет, пыталась закурить, щёлкнув зажигалкой, лежавшей там же, в кармане халата, но не посмела, и кинула сигарету в предназначенное для этого ведро.

Закрывать дверь в свою комнату ей было запрещено. Дверь всегда была открыта, чтобы родители видели, что она делает. Что тебе скрывать, какие у тебя могут быть секреты от родных отца и матери? Но диван — справа от двери, из-за за шкафа его не видно, там она в мире грёз, ролей и книг, скрыта в пеленах своего воображения. А главное, ванная, она может совершенно законно накинуть крючок. Это её право. Ванная — её территория на те полчаса, что она тратит на своё мытьё.

Роковая ошибка — она забыла накинуть крючок. Хотела просто вымыть руки, но решила принять душ. А крючок накинуть забыла. Разделась, с радостью скинула с себя тряпье, выскользнула, словно бабочка из кокона, стройная, с медовой гладкой кожей.



Задержалась взглядом в зеркале, и за дверью послышался голос отца: «Вот тут, Валерий Иванович, извольте помыть ваши ручки!»

Дверь скрипнула, отворяясь, она, голая, рванулась назад и с силой хлопнула дверью по рукам Валерия Ивановича. Услышала собственный голос: «Куда?! Нельзя!»

— Хамство, какое хамство, — донеслось из-за двери.

— Ох, простите, Валерий Иванович, ради Бога, простите! — голос отца.

Боже, что она натворила! Но они должны были стучаться. Почему стучаться? Ванная не её комната, а никто даже в её комнату не стучится. Она сама виновата, что не накинула крючок. Никто не рассчитывал, что в незакрытом помещении может находиться раздетая девушка. Они правы. Да ещё это грубое «куда?», выкрикнутое ею с перепуга. Что делать, как выпросить прощения?

Анна быстро оделась и выбежала из ванной. Валерий Иванович, поджав губы, надевал пальто. Отец и мать суетились, разыскивая его зонтик.

Она подбежала к гостю, хотела что-то сказать, но не успела. Отец повернулся и зарычал на неё:

— Пошла отсюда, дрянь!

Ей было не привыкать к родительским нападениям, но на публике? В присутствии чужого человека! Анна охнула и исчезла.

Утром сидела, переживая случившееся. Надо как-то объясниться с родителями. Она просто забыла закрыться. Такая глупая случайность, неужели она так уж оскорбила гостя? Он сам, интеллигентный человек, должен понять её состояние, испуг, когда начала открываться дверь, а она стояла там абсолютно голая. Анна двинулась по коридору к кухне, где завтракали родители. И услышала, как они обсуждают вчерашнее происшествие. Этот Валерий Иванович, оказывается, важная шишка, приехал из самой Москвы, Министерства культуры. От него что-то зависит в городском управлении. Но дело даже не в этом, в последнее время Анна совсем распустилась, что она себе позволяет! Как ведёт себя! Её надо поставить на место.

Вне себя она рванулась к столу.

— Да что вы от меня хотите, — закричала, — что я себе позволяю? Да я на руках вас ношу, чего вам не хватает? Что ещё я могу сделать? Я для вас всё — домработница бесплатная и машинистка, и редактор, и нянька! Вы не знаете, где базар и где ЖЭК! Что ещё, что, ну скажите, что ещё я могу сделать, чтобы вы меня любили, как вам это объяснить? Что большее не в моих силах? За что, за что вы меня так ненавидите, ну за что? За что вы мне мстите? Что я вам сделала?! Что?! Я знаю, я виновата, я родилась непрощенной, нежеланной, вы меня не хотели, но когда же вы, наконец, простите меня, разве это нельзя простить? За столько лет я ещё не искупила своей вины, да? Есть же какой-то срок давности, в конце концов! Есть или нет?!!

От неожиданности отец уронил вилку с куском яичницы. Вскочил и бросился к Анне.

— Это невыносимо, я покажу тебе твоё место в жизни, ты мой хлеб жрёшь, а на меня орать вздумала, рот открывать!

Он принялся наносить ей удары по лицу. Мать подскочила и визжа, как маленькая собачка вслед большой собаке, принялась царапать ногтями Анины руки.

Больше всего Анну потрясло не то, что она получила эти пощечины и царапины. Она привыкла к ним с детства. Руки у неё были покрыты тонкими белыми шрамами по локоть. Но сейчас её, взрослую женщину, били по лицу просто за то, что она пришла к своим родителям сказать, что она их любит! Выпросить у них хоть капельку любви. Здесь, в этом доме, где звучали монологи Гамлета и Дон Кихота, Короля Лира и Данко, здесь её били по щекам и выражались, как последние жлобы на Привозе.

Она схватила пальто и бросилась на лестницу. Только на лестнице остановилась, надела пальто и медленно пошла вниз. Поехала на вокзал. Там в зале ожидания столько народу. Столько разных личностей, голов, умов, разве не найдётся хотя бы один из них, кто подойдёт и скажет: я знаю, что тебе делать, я знаю, как тебе жить.

Люди шли мимо, присаживались около неё, вставали и уходили, вместо них садились другие и снова уходили. . . Анна ждала, но до неё никому не было дела. Её никто не замечал, никто не спросил, почему она сидит здесь одна столько времени, потерянная, бледная. Без багажа, хоть это вокзал.

Через сутки её выгнала милиция.

Она пошла к дяде, он жил около вокзала. Вошла. Попросила горячего чая и хлеба с сыром. Она не рассказала, как её били и оскорбляли, какие слова ей довелось услышать, когда она открывала дверь на лестницу, всем телом ощущая, что уходит из абсолютно чужого ей дома. Но объяснила, что ей тяжело, она не знает как ей жить, что родители ею недовольны, а она не знает что делать, чтобы в семье снова наступил мир. Дядя сказал ей, что он сейчас перезвонит им и спросит, где Анна, вроде бы она ему нужна, и послушает, что они скажут, ведь её больше суток нет дома. Они должны на это как-то реагировать. Он будет звонить из кухни, и очень просит её не подслушивать по параллельному телефону, который стоит здесь в спальне.

Он вышел. Из кухни доносился его голос, Анне не было слышно, что он говорит. Она поколебалась немного и сняла трубку параллельного телефона. По холодному металлическому проводу до неё долетели слова её мамы:

— . . . она нам не нужна, не нужна, от неё одни проблемы. В такой семье как наша, дети — излишняя. . .



Анна положила трубку. Вошел дядя и сказал, что родители очень сожалеют, что так получилось, они её любят, и просят её вернуться домой и всё забыть.

Анна кивнула, оделась и ушла. Поехала к той бывшей однокласснице, что когда-то нашла ей работу в медиковском подвале с крысами. Сказала, что ничего не может ей объяснить, но просит подержать у себя несколько дней. Та огласилась.

Анна ещё раз попыталась закурить, но снова не смогла и бросила сигарету в ведро, наполненное уже на четверть. Она слегка замёрзла и вернулась в постель. Будущая жена дипломата. Будущая светская львица.

На суде родители были так ошеломлены, что даже не сразу поняли, что Анна просит выделить ей отдельный ордер на её комнату, чтобы она могла обменять её на другую жилплощадь. «Ввиду невозможности совместного проживания... согласно ст. №... Жилищного кодекса СССР... прощу...»

Кто это собирается отделяться от них, такое ничто? Да кто она такая? Как смеет, ну произошла раз-молвка, в какой семье не бывает, ну и что, вернись, это же твои родные. Плоть и кровь. Забудем всё и будем жить дальше.

Только на втором заседании суда до них дошло, что она устраивает им коммуны. Она разменяет свою комнату, к ним въедут другие люди, и они окажутся в коммуны. Нет, она не может так с ними поступить! Это жестоко! Подло! Какая дрянь! Она должна вернуться в семью!

Подумать только, они дали ей жизнь, высший дар, и вот – благодарность! Её могло и не быть, её раньше вообще не было в этой квартире, а потом она родилась, а теперь требует части жилплощади, за что? Чем она заслужила хоть один метр? Господи, да зачем всё это, кому это было нужно, что за несчастье, почему именно с ними?

Анна предложила другой вариант: суд постановляет, что они покупают ей кооперативную однокомнатную квартиру. Таким образом, она как бы обменивает свою комнату на купленную ей родителями, а они остаются в целостной квартире. Для вступления в кооператив нужны основания, то есть, жилплощадь меньше нормы, а у Сельвинских гораздо больше, но если суд постановит, то им позволят купить кооператив. Суд, учитывая заслуги народных артистов Сельвинских, пошёл сторонам навстречу.

Следующим требованием Анны было разрешение суда на обмен фамилии. Судья, женщина, удивилась: вы же выйдете замуж, обменяете фамилию автоматически, зачем вам это? Дважды менять фамилию, менять все документы, такие хлопоты. Но Анна стояла на своём, она не хочет обмена с отцовской фамилии на мужнину, она хочет свою собственную фамилию, которая до неё была ничьей. Случай в практике суда был неординарный, но суд и в этом признал её право. Анна подписала обязательство в том, что она не отказывается от родителей, и в случае необходимости, будет поддерживать их материально в старости. Она и не собиралась отказываться от материальных обязанностей по отношению к ним, объяснила она в суде. Она лишь только хочет собственной жизни, ну как это объяснить, она просто хочет жить, она человек и имеет право на жизнь, вот и всё. Она человек или нет? Она человек, и она просто хочет жить.

Получив на руки решение суда, Анна пошла с ним в ЗАГС и выбрала себе фамилию – Волкова. Анна Волкова. Ничья Анна, сама по себе.

По решению суда родители купили однокомнатную кооперативную квартиру почти в центре, недалеко от них. Через месяц Анна обменяла её на коммуны на Молдаванке со старой бабушкой в смежной комнатёнке, трезво рассчитывая, что потерпит в проходной комнате, но когда бабушка умрёт, она получит ещё одну комнату. Здесь уже второй раз никого не поселят. Её расчет оправдался, через три года она похоронила по-человечески одинокую бабулю и легко в райисполкоме получила ордер на вторую комнатку. Из коридора у неё был выход на балкон, свой собственный, а в кооперативной балкона не было вообще. Она поставила там старый деревянный диванчик с резной спинкой, оставшийся от бабули, любила на нём отдыхать. Улочка была узкая, напротив Аниного балкона, всего в четырёх метрах, был другой балкон, соседский, на нём всегда висело сохнувшее бельё. Анна не заводила дружбы с соседями, не знала, кто они, но привыкла, что там постоянно висит то одно, то другое бельё. Радовалась этому – бельё загораживало вид в комнату, а ей вовсе не хотелось заглядывать туда. Чужая жизнь была ей неинтересна. Да и своя уже тоже.

Первым делом нужно было найти работу. Какую-нибудь, пусть тяжёлую, грязную, но такую, чтобы много зарабатывать. Ни от кого не зависеть. Ни от кого. Может, тогда стоило согласиться на предложение пожилого человека? Какую карьеру она совершила бы! Как высоко сейчас бы находилась. Но тогда зависела бы от него, хотя бы морально.

Увидела объявление на столбе – ресторану требуется официантка. Обращаться в отдел кадров по адресу такому-то. Пошла. Сказала, что у неё нет высшего образования, вдруг после вуза на официантку не берут. Взяла с собой только аттестат за одиннадцатый класс. В трудовой книжке была запись – учительница. Правда, всего две недели, но она ознакомила, что Анна окончила вуз. С образованием вряд ли возьмут официанткой. Она даже не отработала положенные три года молодым специалистом. Государство потратило деньги на её обучение, а она их не отработала. Трудовую книжку пришлось забыть. И диплом тоже. Зачем он ей? Это дочери знаменитых артистов Сельвинских нужен был университетский



диплом, а простой девушке, Анне Волковой, он будет только мешать.

Пожилая женщина в отделе кадров спросила: на что вы жили до сих пор? Анна ответила, что жила в гражданском браке за счёт мужа. Это не понравилось кадровичке. Она нахмурилась.

— В ресторане романы с клиентами заводить нельзя. Вы понимаете?

— Да.

— За стол с клиентами садиться нельзя, знакомиться нельзя, никаких отношений, это понятно?

— Конечно, этого не будет.

Кадровичка смягчилась.

— Вы такая худенькая, не бойтесь, что с ног упадёте, с тяжёлыми подносами? Два дня по двенадцать часов, потом два дня дома.

— Вы мне зарплату назовите, — сказала Анна.

— Зарплата небольшая. Девяносто рублей, но в смену вы можете насобирать до пятидесяти рублей на чаевых. Да ещё руководство разрешает забирать домой остатки продуктов. Не объедки, а остатки, понимаете. Если на общем блюде остаются не взятые оттуда куски. И на смене поесть дадут. Так что полмесяца вы едите бесплатно.

Анна охнула. В аммиачном подвале за пятьдесят рублей она работала целый месяц. А тут — в смену!

— Согласна.

— Имейте в виду, обсчитывать нельзя. Один раз попадёте — уволят. У нас с этим строго.

— Я не собираюсь обсчитывать, — возмутилась Анна.

Кадровичка заполнила для неё новую трудовую книжку, выдала санитарную и направление на медосмотр в районную поликлинику.

— Вы работаете в системе общественного питания, так что каждые полгода будете проходить медосмотр.

Анна кивнула.

Гинеколог писала что-то, не глядя на Анну.

— Готовы к осмотру. Половой жизнью живёте регулярно?

— Нет.

— Что нет? Нерегулярно?

— Вообще не живу.

Гинеколог опустила очки на нос. Посмотрела на Анну.

— Вам двадцать девять лет, и вы одна?

— Да.

— Странно. Вы так красивы.

Что ей объяснять? В каком кошмаре, каком забытии одиночества она прожила предыдущую жизнь? Иногда снятся эротические сны, появляется молодой человек, не конкретный, а собирательный образ, она его не видит, её лицо приложено к его шее, она вдыхает его запах, тело её расслабляется, улетает в невесомость, он обнимает её...

И в этот момент она всегда ощущает, ещё не знает об этом, но уже чувствует, присутствие в комнате родителей, их гнев, которого она смертельно боится с детства. Она кричит во сне, просыпается с сердцебиением, вся в поту от страха, страх перед запретным переполняет её.

Секс ей был запрещён категорически. «Тебе это не нужно», — строго говорил отец. Боялись, что если Анна выйдет замуж, уйдёт, они потеряют её как бесплатную службу? Зачем же тогда кричат: убирайся отсюда, ты нам не нужна? Знают, что ей некуда убраться? Что всё равно останется, ей некуда идти.

Или... получают наслаждение от того, что есть на кого накричать, унижить? Самоутвердиться за её счёт? Неужели?.. Нет, нет, они не такие, не может быть!

Что поймёт в этом обычная врач-гинеколог, если Анна сама не может в этом разобраться?

Остальные специалисты все, как один, писали в карточке: практически здорова. Вот только невропатолог написал несколько более длинных фраз, которые Анна не смогла разобрать, кроме «рефлексы оживлены», «лёгкий нистагм слева».

В Рязани, в той самой дешёвой гостинице, где под кроватью была грязь и паутина, Аня любила играть с родителями в игру «подавальщица». Провидела свой будущий образ?

Когда появился компьютер, уже там, в собственной квартире, пыталась разгадать странный смысл своей судьбы. Ночами бродила по висячим мостам интернета, разыскивая похожие истории, комментарии психологов. Искала разгадку. Дача, трава...

Гневное лицо отца?

Он кричит на неё, и она в страхе бежит прочь с разверстым в будущей немоте ртом!

Анна получила бумагу в отделе кадров и пошла представляться заведующему производством ресторана. Адрес — улица такая-то угол улицы такой-то. Странно, она не помнит там никакого ресторана. Ей сказали, что должна быть вывеска. Подошла, вывеска есть, но здание двухэтажное старинное, сейчас, в отремонтированном виде — административное. Где же ресторан «Одноглазый Джо»? Мужик, местного



вида, сказал: да за углом, видите, вот стрелка нарисована. Повернула за угол. Вход в подвал выложен плиткой, огорожен чугунной решёткой, сверху прозрачный навес из пластмассы. Красиво, современно. Вот только... подвал!

Она сошла по ступенькам вниз. Длинный прямоугольный подвал, глухой, без окон, с кондиционерами и вытяжками. Точно такой величины и формы, как тот, который она называла «аммиачным», чтоб не называть «крысиным».

Вместо запаха аммиака — сигаретный дым. Вдоль стен деревянные столы, вроде средневековых, бо-чонки вместо стульев. В углу якорь, под потолком огромное сплетение декоративной паутины из каната. Всё стилизовано под старый морской бар — средиземноморскую бodega. Подвал переполнен, стоит ровный глухой шум голосов, звук постукивающих о тарелки приборов и льющихся напитков. Она прошла вдоль зала. Посредине задней торцовой стены — эстрада. На ней никого не было, видимо, оркестр играет по вечерам. Слева — дверь в администрацию, справа — в кухню.

Она вошла в левую дверь — в администрацию.

Пожилой добродушный дядька — заведующий производством, Олег Борисович, тоже высказал сомнения в возможностях сублильной девушки разнести много раз в день по залу тяжеленные подносы.

— У тебя, киска, не один столик будет в обслуживании, а шесть. Иди-ка лучше сервизницей. Сегодня ещё место есть, а завтра кто-то займёт. Будешь сидеть в буфетной, утром выдала посуду, вечером подсчитала. Те же девяносто рублей, но насколько легче. А едой тоже не бойся, не обидим, мы тебя тут накормим.

Анну покорило обращение «киска», но не ей сейчас было выбирать формы общения. Вот только голая зарплата её не устраивала. Что угодно, думала она, любая работа, тяжести, грязь, но больше никто и никогда не назовет её «дурдомовским пугалом». Если бы ей предложили мыть чужие туалеты, она бы тоже согласилась.

Скарлетт О'Хара стоит посреди поля, задрал кулачки к небу, и даёт себе клятву, что никогда-никогда в жизни она не будет голодать! А я? Никогда никому не позволю назвать себя дурдомовским пугалом? Как это сделать?

Вот он! Вот этот шанс! И она не упустит его!

После первых двух дней работы Анна пролежала следующие два дня без движения. Болело всё тело. Тогда ещё жива была бабулька-соседка, она принесла Анне поесть, и опустила с кровати её натёртые ноги в миску с прохладной водой. Больше Анна не надевала на работу эти красивые узкие туфли на шпильках, которые, слегка поношенные, купила на рыночном развале. Действительность есть действительность, ей нужны туфли на устойчивом каблуке. Но всё равно, болели руки, локти, спина.

Только через две недели она втянулась, поняла, как надо держать спину, чтоб потом не ломило, не отодвигать от себя слишком далеко поднос.

Но тогда её вызвал к себе Олег Борисович. Закурил, искоса глядя на Анну. Долго молчал, потом сказал:

— Колись, киска, ты английская шпиёнка?

Анна не знала, что ответить. Вопрос застал её врасплох. Что это значит?

— Киска, ты сказала, что родителей не помнишь, тебя воспитывала бабка. Потом вышла замуж за шофёра из военной части. Он у тебя учился в Париже? На высших курсах сомелье?

— Я не понимаю, Олег Борисович, что вы имеете в виду? Что я сделала не так?

— Ты всё делаешь не так, киска. Старого, толстого Борисыча не обманешь. Откуда ты знаешь разницу между испанскими и французскими винами? Откуда ты знаешь, в каких провинциях Франции растёт лучший виноград? Мы официанток по месяцу учим, и то промахиваются, а тебя ещё учить не начинали. Ты всё знаешь сама. Откуда ты знаешь, что существуют вилочки для рыбы и вилки мясные, и чем они отличаются? Что фруктовый ножик кладут не справа от тарелки, а позади, а? Почему ты мгновенно подсчитываешь цифры в уме, а не елозишь полчаса в подсобке по счётам? Ты уже где-то работала, в шикарном ресторане, и тебя оттуда выгнали за обсчёт или воровство? И ты уничтожила старую трудовую книжку?

У Анны запыхали щёки. Что ответить? Её подозревают в преступлении! В воровстве или обсчёте, что одно и то же, на её взгляд.

— Я видела, — пролепетала она, — я видела, как работают другие, я учусь на ходу...

— И с такими способностями до сих пор нигде не работала? У кого из наших девочек ты училась? Они все настроены против тебя, потому что ты ни с кем не разговариваешь, не дружишь, не рассказываешь о себе, после смены бежишь домой. У какой из наших кисок ты училась подходить к клиенту именно с левой стороны? Я следил за тобой! Ты подаёшь блюда с левой стороны, а пустую посуду убираешь с правой. Ты ни разу не ошиблась! Не перепутала мадерную рюмку с лафитной. Врожденные способности, да?

Он, казалось, хитро прищурил один глаз, в который попал сигаретный дым. Но Анна уже пришла в себя.

— Я купила книжку в магазине. «Ресторанный этикет». Там всё написано. Я выучила.

— Что-то не помню такой книги. Просто этикет, да, видел, а вот отдельно по ресторану нет. Я всё покупаю, что выходит по общественному питанию. А вот то, что врать не умеешь, хорошо. Что-то тём-



ное у тебя в прошлом. Но если это не связано с законом, это твоё дело. Короче, киска, не обманывай старого Борисыча по-крупному. Не подставляй. Не прощу, уничтожу. А в личной жизни я у тебя копать не буду. Иди, давай, работай.

Тёмное прошлое Анны заметил не один Борисыч. Клиенты, особенно постоянные, тоже замечали странности в работе новой официантки. Если дотошные клиенты проверяли её счёт, пересчитывали, она стояла с гордо отсутствующим видом, глядя в одну точку поверх головы клиента, словно её это не касается. Счёт всегда оказывался верным, а в графе «проценты за обслуживание» даже округлялся вниз, а не вверх. Она никогда не брала со стола чаевые в присутствии гостей, ждала, пока они уйдут. У стола стояла в одной и той же позе, выпрямившись, левая нога носком вперед, правая под углом к ней, пяткой в середину стопы. Третья балетная позиция. Белая наколка на её голове выглядела не знаком принадлежности к официантскому сословию, а кокошником Царевны-Лебеди. Безупречный русский язык. Когда музыканты вечером, по просьбе посетителей, лабали что-то полублатное — она морщилась.

«Аристократка, иттит твою мать», — перешёптывались другие официантки. Но к ней благоволил Олег Борисович, и в открытую высказывать недовольство они не смели. Если подвыпившие, засидевшиеся посетители пробовали ущипнуть её за бедро, как других, или сказать в её адрес скабрёзность, она умела так посмотреть на них, что им становилось не по себе.

Чем отличался один подвал от другого? Там крысы. Тут люди. Крысы не обижали её, им не было до Анны никакого дела. Они ели кашу, страдали от привитых вирусов, размножались. Любили своих детёнышей. Вылизывали им шерстку. Правда, после выходного, когда Анне не положено было приходиться на работу, она иногда заставляла в клетках ошмётки поеденных родителями крысят. Некормленные в воскресенье, они не выдерживали до понедельника и поедали своих детей. Но это животные, грызуны, они не выносят голода. Такова их природа. Насколько спокойнее ей было в том подвале, чем в этом, под неодобрительными взглядами товарок, завидовавших её тонкой талии, аристократическим манерам, безупречному произношению, тому восхищению, которое она вызывала у посетителей.

После полудня работы в «аммиачном» подвале Анна вообще перестала воспринимать крыс, как мерзких для человека, вредных животных. Они были её сообществом, популяцией нормальных, таких, как все, существ. Она знала их по расцветке (в основном были белые, но попадались потомки нечистых линий, цветные), да и белых она различала по оттенкам. У них даже встречался «характер». Привычки. Встречались «обжоры» и те, что успокаивались, поев немного.

В общем, её собственный мир, мир её крысиных товарок. Ей было там спокойно, не надо было думать, как на новой работе, что скажут другие официантки, что подумает о ней буфетчица, если она не возьмёт домой нетронутую на тарелке отбивную, а купит себе такую же за свои деньги.

Вот только рвущий горло запах аммиака, крысиной мочи, от которого до сих пор она кашляет по ночам, хотя врачи ничего не находят. Та женщина, что работала до неё, уволилась из-за этого кашля, побоялась оставаться дольше в этом подвале.

А здесь удушливый сигаретный дым, клубящийся под потолком. Анна предлагала начальству запретить курение в зале, но оно категорически отказалось. У нас такой контингент, не позволишь курить, уйдут, потеряем выручку. Это же не ресторан в центре города, куда всё равно пойдут ради престижа. Подвал, что поделаешь, клиента надо привлекать всеми способами.

Анна пошла в отдел кадров, сказала, что ей нельзя дышать дымом, у неё хронический кашель. Попросила перевести в другой ресторан, где есть зал для некурящих. Но там места не оказалось. Придётся потерпеть, сказали ей.

Не думать, ни о чём не думать. Не мечтать. Опять небытие, но зато она свободна, это её собственное недумание, по собственной воле. Никто не смеет войти в её комнату в три часа ночи. И днём никто не войдёт без звонка или стука в её, закрытую по её собственной воле, дверь. Она может вставать когда захочет, ложиться когда захочет, смотреть телевизор, или не смотреть. А если смотреть, то те программы, которые она желает. Разве другой человек ощутит это как счастье? Он подумает, что это элементарные, само собой разумеющиеся вещи. Он их просто не заметит. Надо пройти через то, что она прошла, чтобы понять — нет ничего слаще свободы. «Это сладкое слово «Свобода». Название чего это? Какого-то кинофильма. Стала забывать уже элементарные вещи.

Деградирую в подвале? Надо выйти из него. . .

Выйти из обоих подвалов. К прозрачному небу и призрачным облакам. Чтобы поднять голову и посмотреть сквозь голубую воздушную лёгкость вверх, а не вниз.

Фёдор влюбился в неё без оглядки. Он таких в своём окружении и не встречал. Принялся ухаживать. Обычные методы не действовали. Она не обращала на него ровно никакого внимания. Цветы не брала, конфеты тоже. Более дорогие подарки он просто не позволял себе предлагать ей. Было и так ясно, что они будут отвергнуты. Она не позволяла себя провожать. Не отвечала на шутки и заигрывания. Ледяная молчаливая принцесса. Его тянуло к ней безумно, страстно, до сжимающей боли в груди. Её походка, жесты, всё было исполнено удивительной грации. И одежда. Он такого ни на ком не видел. Она шила на заказ, это понятно. Нашла хорошую портниху. Но удивлял не покрой, а удивительная соразмерность линий, задумки, детали, сочетания цвета. Нет, портниха здесь явно простая исполнительница. Она сама



придумывает эти платья, как настоящий художник. Каждое платье – образ.

Фёдор не получил художественного образования, но обладал врождённым вкусом. Анна покорила его не столько красотой, хотя она была красива, сколько своей изысканностью, неординарностью. Она сама – произведение искусства.

Наконец, он решил пойти ва-банк. Эта идея пришла ему в голову, и он сам поразился её простоте. Он не будет больше пыгаться за ней ухаживать. Он просто подойдёт и сделает ей предложение. Без предварительного ухаживания. Что он теряет? Нет, так нет, думал он. Хуже, чем сейчас, не будет.

Он ждал её на улице у выхода из подвала. Подошёл и прямо сказал, что любит её, хочет сделать счастливой и предлагает ей выйти за него замуж. Что раньше она отказывалась пойти с ним куда-нибудь посидеть, но сейчас он делает ей предложение, и не может сделать его на улице.

Неожиданно для него, Анна согласилась. «Мой план сработал», – подумал он. Они пошли в чужой ресторанчик, где Анну не знали, и Фёдор сказал ей, что не может без неё жить, что сейчас он всего лишь простой лейтенант, но он всё сделает, чтобы вырваться наверх. Ради неё. Он хочет сделать её счастливой. «Какой дурак, – думала Анна. – Разве что-то может сделать человека счастливым, кроме свободы? Робинзон был свободен, а Пятница нет. К чему это я? Но мне нужен мужчина, – думала она, – эти эротические сны с внезапным появлением в них отца и матери, становятся навязчивым кошмаром». А главное, она не может, не хочет больше испытывать страх перед ними даже во сне, просыпаться в поту, с колотящимся сердцем. С чувством вины. Он избавит её от ночных наваждений, выгачит из последних ключев этого постыдного липкого страха перед родителями.

Она сказала, что выйдет за него, но жить они будут гражданским браком, расписываться она не собирается, менять свою фамилию на мужнину тоже, жить будут в её квартире. Она не будет ему готовить, еду она носит из ресторана, хватит на двоих, и ещё она не будет стирать его бельё. Только постельное. Изменять ему не собирается. Это исключено.

Фёдор не знал, как благодарить Бога за выпавшее ему счастье. Он понимал, что Анна не любит его, но и понимал, что в её прежней жизни, никому не известной, скрывается что-то, что не даёт ей раскрыться. И надеялся, что время, его преданность, его любовь растопят лёд её недоверия.

Теперь уже всё. Она никуда не денется от него. Судьба, Господь, обстоятельства... Какая разница, как это назвать? Главное, что *ОНО*, нечто, что можно назвать *ОНО*, решило всё за них. За неё.

На Анну снова напал кашель. Она выскочила из постели, выбежала в коридор, откашлялась. Вернулась к Фёдору.

Тогда в дверь долго звонили, Анна была на балконе и не сразу услышала. Открыла. На лестнице, с выражением одновременно и радостным, и заискивающим, стояла её двоюродная сестра Люба.

– Как ты меня нашла? – ахнула Анна.

– Ты что, непустишь меня?

Анна вышла на лестницу и прикрыла за собой дверь.

– Я ушла из прошлого не для того, чтобы оно меня догоняло. Я поменяла адрес, фамилию, жизнь, зачем вы меня искали? Ты пришла сюда посмотреть, как я живу? Так ведь? И доложить им. Им любопытно, правда? Не хочу, уйди, прошу тебя. Не мучай. Не впусу.

– Аня, почему ты так плохо думаешь о них? Ты не права, они не искали тебя из чистого любопытства, нет, поверь мне, я врач, психолог, знаю, что говорю. Прошло столько лет, они состарились, они просто соскучились по тебе, это же нормально. Они уже старики, сидят дома. Их никуда не зовут. Болеют. Ты нужна им, Аня.

Анна упрямо молчала.

– Аня, поступи по-христиански. Прости. Пойди к ним.

Анна резко повернулась, вошла внутрь, не впуская за собой Любу, затем вышла и протянула ей пачку денег.

– Возьми. Здесь пять тысяч. Всё, что у меня есть в доме. И передай, что мы в расчёте.

Люба растерянно сжимала в руке толстую пачку долларов.

– Аня, прости их. Побойся Бога!

– Я уже своё отбоялась!

Она резко захлопнула дверь и накинула цепочку. Прислонилась к стене. Сердце колотилось, из горла рвались рыдания.

Уходи, мне некогда! У тебя губки грязные, липкие, уйди немедленно, Галя, вы что, не видите, ребёнок грязный. Помойте её!

Анна зажала рот рукой, чтобы не вырвались крики, не услышала Люба, если ещё стоит на лестнице.

Плохое закончилось. Она – жена дипломата. Будущая светская львица. Старое ушло в небытие. Она будет блистать на балах, в узком золотистом платье. Сядет у края стола, ногу на ногу, небрежно чиркнет зажигалкой. И закурит тонкую, длинную сигарету. Назло всем.

Фёдор даже не стал завтракать, так спешил в штаб. Следовало уволиться из части, оформиться в другой корпус. Куча всяких формальностей. Все тесты он уже прошёл. Психолога и детектор лжи тоже.



Трудно всё это, но овчинка стоит выделки. Или, как сказала бы Анна, Париж стоит бедни.

Да, ещё забежать в военное ателье, там снимут мерки и пошьют ему новую форму и несколько светских костюмов, положенных по этикету. Фрак, смокинг, что там ещё понадобится для сопровождения высоких особ. Просто деловой костюм. Анне они всё накопят уже в Берлине. Там больше выбор и ближе к Западу. С модой получше. Нет смысла тратить деньги здесь.

После его ухода Анна полежала в постели ещё полчаса и тоже стала готовиться на работу. Ресторан открывался в одиннадцать часов.

Ближайшие дни они почти не виделись. У Анны была двухдневная смена. Фёдор тоже прибегал поздно.

На третий день Фёдор с утра поискал документы. Взял своё удостоверение, паспорта Анны не нашёл. Повернулся к ней.

— Анюта, давай паспорт, пошли, некогда.

В части ему выдали предписание для ЗАГСа — расписать без положенного срока ожидания, немедленно. Так всегда бывало у военных, отъезжающих в дальнюю часть или за границу.

Анна стояла у окна, глядя на улицу. Не поворачиваясь к Фёдору, глухо сказала:

— Прости. Я не поеду. Я остаюсь.

Фёдор от неожиданности не мог сказать ни слова. Подошёл к ней, схватил за плечи, повернул к себе.

— Анна, ты с ума сошла! О чем ты говоришь?

— Я не поеду. Не буду с тобой расписываться. Не буду жить за твой счёт.

Слова Анна произносила резко, словно рубила.

— Но почему? Мы же с тобой мечтали, что я поднимусь, потяну тебя наверх, сейчас представился такой случай! Я всё сделал для тебя, ради тебя. Ты не будешь больше спускаться в прокуренный подвал, обслуживать чужих людей, ты даже Анютой не будешь, я стану называть тебя Анита. Фрау Анита, а? Фрау Анна. Звучит?

Фёдор улыбался, женские выкобеньки, думал он, она ж не сумасшедшая, чтобы отказываться от такого шанса. Поломается и уступит.

— Если ты сделал это ради меня, значит, я принесла тебе пользу. Я внесла в твою судьбу то хорошее, что могла. А больше не могу. Дальше иди сам. Я остаюсь.

— И непонятно, и смешно! У нас нет времени. Через неделю надо пересечь границу. А ещё столько надо успеть.

Анна с отчаянием посмотрела на Фёдора.

— Я. Не. Могу, — сказала она.

Фёдор сел к столу, взялся за голову.

— Ничего не понимаю. Что с тобой?

Анна вздохнула.

— Как тебе объяснить. Я не могу больше оказаться в чьей-то зависимости. Я умру без свободы. Я должна сама распоряжаться собой.

— Аня, это чушь. Я твой муж, о какой независимости от своего мужа ты говоришь? Это обычная штатная ситуация, когда жена зависит от мужа. Что в этом ненормального? Миллионы людей живут именно так, и то, что ты говоришь, им в голову не придёт.

— Это у всех штатная. А у меня нет. Я немного рассказывала тебе. Помнишь, на тот Новый год, когда мы опоздали на рынок, всё было распродано. И мы шутили, что у нас Новый год на чистом столе. Было только шампанское, без закуски, мы выпили, закусить было нечем, я потеряла контроль...

— Ну и что? Это всё в прошлом. Оно ушло и никогда не вернётся.

— Прошлого нет. Всё есть сейчас. И прошлое, и настоящее, и будущее — это одно целое. Невозможно выгнать из него куски и сказать: это было, а это будет. И я это чувствую сильнее, чем другие.

— Потому что ты травмирована. Но там, где тебя ждёт другая жизнь, ты забудешь о своих обидах, оскорблениях...

— Если до сих пор не забыла, то не забуду. Это импринтинг.

— Что это?

— То, что впечатывается в сознание юного, пластичного ещё мозга. Импринтинг бывает у всех — детей, цыплят, медвежат. Именно он позволяет научить маленьких утят плавать. А человеческих детей — говорить. Это навсегда.

— Аня, пойди к психологу. Он поможет, это проще, чем отказаться от своего счастья.

— Я пробовала, просила заставить меня забыть. Он сказал, что это делается гипнозом. Но гипноз на меня не действует. Я лежу и не сплю. Не засыпаю. Наоборот, в мозгу всплывают всё новые и новые полуразмытые сны.

Фёдор уже понял, что это не женские капризы, всё намного серьёзнее, и что ему делать, он не знал.

— Неужели ты не хочешь избавиться от другой зависимости? От чужих людей, которых ты обслуживаешь в подвале?

— Чужие люди мне платят деньги, на которые я живу и ранее кормила тебя. И не требуют благодарности за то, что я есть, я не должна благодарить их каждый день за то, что я живу, дышу воздухом, за то, что чувствую боль. Я живу — значит, чувствую боль, и за это я должна была благодарить тоже. Благодарить за боль. А этих — нет. Они пришли и ушли. Я обслуживаю их добровольно, значит, я свободна. А если



ты будешь содержать меня, я буду зависеть от тебя.

– Ты никогда не почувствуешь это.

– Но я буду об этом знать.

Фёдор не знал, что ответить. Ему было бесконечно жаль Анну. И своя судьба его тревожила тоже. Он решил подойти к проблеме с другой стороны.

– Но ведь ты, в таком случае, ломаешь мою жизнь. Неженатым меня не выпустят.

Анна молчала. Он понял, закричал.

– Ты согласна отдать меня другой женщине? Лишь бы не жить за мой счёт? Анна, ты больна!

Молчание. Снова заговорил Фёдор.

– Поедем вместе. Там хорошие психоаналитики, у нас это направление ещё не развито, а там есть.

– Я уже пробовала. Психолога с его гипнозом.

– Хочешь, тогда я останусь? Звание мне повысили, зарплату тоже, зачем мне Германия?

– Это ты говоришь сейчас. А когда за границу уедет кто-то другой, ты будешь держать на меня обиду всю жизнь, я не хочу. Не надо такой жертвы.

– Аня, ведь ты христианка. Пойди в церковь, прости своих родителей, помолись за них, и тебе станет легче. Они уже умерли, ты отказалась идти на похороны, ты ни разу не увидела их с тех пор, как ушла из дому. Сколько ты будешь помнить всё это?

– Простить и забыть – разные вещи. Забыть я не могу.

– Они дали тебе жизнь!

– Они её у меня отняли!

Фёдор хотел возразить, искал аргументы, но не находил. Анна снова заговорила.

– Я забуду. Если вернёшь мне юность. Отдай мне предвосхищение будущего счастья и радости, при-
сущее всем молодым людям, накануне вступления во взрослость. У меня его не было. У меня были страх и тоска. Верни ощущение себя юной и красивой. Ощущение себя именно девушкой, а не уродливым существом, над которым смеются. Рассвет, который я не встретила с любимым, потому что каждый, кто мог стать моим любимым, бежал от меня, как от прокажённой! Свадьбу, которой у меня не было, белое платье невесты, букет белых роз в руках. Всё то, что у меня должно было быть, только лишь потому, что оно должно было быть! Чувство защищённости ребёнка, который знает, что бы ни случилось, мать и отец всегда рядом, помогут, поддержат. А вместо этого страх перед ними. Только страх. Страх и стыд. Что ты можешь вернуть? Спектакли, в которых я не сыграла, балетную школу, в которой я не училась, партию Заремы, которую я не станцевала? Разве я так много хотела? Разве я своими желаниями нарушала чьи-то права? Я просто хотела быть как все, прожить достойную себя жизнь. За что отняли у меня всё это? Так оставь мне хотя бы призрачную иллюзию того, что я живу сейчас, что я свободна!

Фёдор не мог ей ответить, в душе у него поднималась волна острой к ней жалости и чувство беспомощности перед уже свершившимся.

Наутро Фёдор убежал рано, надо было оформлять ещё какие-то бумаги. Анна весь день не выходила из дому, бродила по двум своим комнатам, выходила на балкон, свесив голову вниз, смотрела на проходящих людей. Думала, вот сколько людей проходит под её балконом, у всех свои истории. Сложные и не очень, а у неё своя, и никто из них не знает её историю, а она не знает их истории, и у всех разные. А может, нет? Похожи? Ведь все они люди. Если она позовёт кого-нибудь из проходящих, скажет, зайдите ко мне, расскажите о себе, он убежит, не поймет. Не поймет, что, возможно, она, Анна сейчас нужна ему, и от разговора с ней может что-то измениться в его жизни. Или от разговора с ним что-то изменится у неё? Тогда на вокзале она так хотела, чтобы кто-нибудь подошёл, спросил, что она тут делает, почему она не дома? Как она ждала того, единственного человека, мужчину или женщину, умного и взрослого, кто подошёл бы и просто сказал: я дам тебе совет, я скажу, как тебе начать жить.

Но её никто не увидел. Не подошёл. Не сказал. Не захотел сказать. Люди должны делиться жизненным опытом и тогда будут совершать меньше ошибок. Но они и делятся, передают свой опыт от поколения к поколению. Для того и существуют семьи, в которых поколения живут друг для друга. Вот только ей не повезло. Ей никто не передал свой опыт, а тот, что был у неё, был плох и мал.

Одинокая Анна. Одинокая волчица – Анна Волкова. Маленький беззубый волчонок. Он сидит у входа в пустую нору и воет на луну, которой до него нет никакого дела. У луны свои заботы.

Вечером Фёдор возобновил разговор. Завтра надо идти в ЗАГС, иначе они не успеют. В Берлине его ждут, он не может опоздать, он давал военную присягу. Он попытался возбудить в Анне ревность.

– Меня начальство торопит. Я доложил обстановку, мне предложили срочно, ввиду нештатности ситуации, жениться на Ирине, нашей медсестре. Она не замужем, репутация хорошая, характеристики тоже.

– Женись, раз характеристики подходят, – съязвила Анна. – А вообще-то я принимаю твоё предложение. В той части, где ты отказываешься от этой должности, и остаёшься в Украине. Ты прав, звание тебе повысили, зарплату тоже. Зачем нам чужбина? Здесь всё своё, родное, предки на кладбищах лежат.

– Это... шутка? – неуверенно спросил Фёдор. – Я имею в виду предков на кладбищах. Довольно странная фраза.

– Я абсолютно серьёзна, давай останемся. Нам и тут хорошо. На родине.

– Всё-таки, насчёт предков. Твоя ирония довольно кошунственна.

– Не цепляйся за фразу. Итак, мы остаёмся?

– Аня! Пойми же, пусть зарплату повысили, но ведь деньги не самое главное в жизни. Существует ещё социальный статус. Признание, самореализация. Самоуважение. Уважение окружающих, в конце концов. Я хочу повысить наш общий социальный статус. Твой и мой. Почему я должен бороться с тобой за это? Я хочу выгнать тебя из твоего кабацкого подвала, поднять по общественной лестнице вверх. А ты упрямо желаешь оставаться внизу. Что с тобой? Ведь ты такая сильная. Преодолей себя, попробуйся.

– А из подвалов моей памяти ты можешь меня выгнать? – горько спросила Анна. – Из подвалов моего подсознания ты можешь меня выгнать? Я больна, ты сам сказал, ты правильно понял, я больна!

– Если ты больна, то это сумасшествие. Ты...

Он искал слово, но сдержался.

– Да, да, знаю, можешь не стесняться, я – дурдомовская, я – дурдомовское пугало! Меня давно так не называли, но я же помню, как остро я помню это ощущение себя пугалом, дурдомовским пугалом! Я была одета в старые убогие тряпки, но ощущала себя совсем голой, без кожи, выставленной посреди Соборной площади, и каждый проходящий мог ткнуть палкой в мое обнажённое, лишённое кожи тело. Всё, оставь меня, тебе нужна здоровая женщина, такая же, как ты, я тебе не подхожу!

Анна заплакала. Фёдор был ошеломлён, он не ожидал такой реакции от женщины, которую считал холодноватой, резкой, слишком рассудочной. Он обнял Анну, прижал к себе, целовал её лицо.

– Аннушка, успокойся, всё будет хорошо. Только не плачь, моя любимая, не плачь.

Постепенно Анна затихла. Фёдор потихоньку целовал её руки, гладил по волосам. В комнате настала тишина. За окном темнело.

Анна отстранилась от Фёдора, встала, зажгла свет.

– Ты уедешь, а я останусь. Я не прошу тебя оставаться со мной. Ты хочешь уехать, сделать карьеру, я понимаю тебя, потому и сказала про кладбище. Я ждала твоей реакции. Ты зацепился за мои слова, чтобы не отвечать мне согласием, чтобы не сказать: Анна, я остаюсь. Я провела тест, и ты раскрылся, выразил свою позицию. Уезжай без меня.

Фёдор молчал.

– Ты всегда говорил, что делаешь карьеру ради меня, из любви ко мне. Вот ты её сделал. Но, сделав, уезжаешь один...

Фёдор сидел молча, глядя в пол. Не поднимая на неё глаз.

В ЗАГСе Фёдор отказался от «живой» музыки и торжественно выпущенных в небо белых голубей. Он выглядел усталым и озабоченно-деловым. Зато Ирина, молоденькая, ничем не примечательная девушка, не могла сдержать своей радости. Казалось, у неё даже веснушки сияли на курносом личике. Она прижималась к руке Фёдора и смотрела на него снизу вверх.

Анна вышла на балкон, села на деревянный резной диванчик, оставшийся от соседки-бабули. Вытянула и устало скрестила ноги. Сунула руку в карман халата, достала пачку тонких, длинных сигарет и зажала. Попыталась закурить. Не посмела и бросила сигарету в ведро, наполненное уже на четверть.

Перед её глазами, на балконе противоположного дома, привычно полоскалось на ветру чужое, выстиранное бельё...

КОНСТАНТИН КЕДРОВ

НАПОЛНЯЯ ПРОСТРАНСТВО

Космос – это золотая сирень
радуга из грусти звёзд осыпающихся в ночи
над головами ангелов похожих на розовых фламинго
задумчиво сжимающих в клювах
архангельскую форель летящую на Восток
восьмиконечной бесконечности делённой на никогда
окно во всё и дверь в никуда

Почти что Бог над надеждой
что заметнее будет если
но половина пламени
умноженная на инстинкт воды
заглатываемой верблюдом недоумения
в ушке игольном
посреди всего неустанно ответа ждущий

Ты не должен сопровождать себя ввысь
оставайся здесь
так и быть – будь

В далёком XX-ом веке
Злобное КГБ
Рыщет за мной и рыщет
А я остаюсь в себе

В далёком XX-ом веке
Люблю тебя как сейчас
А здесь ни мамы ни папы
И будущий смертный час

В далёком XX-ом веке
Останутся на миру
Мама моя
Мой папа
И жизнь где я не умру

НЕВЕСТА

Невеста лохматая светом
невесомые лестницы скачут
она плавную дрожь удочеряет
она петли дверные вяжет
она пальчики человечит
струтает своё отраженье
на червивом батуте пляшет



ширеет ширмой мерцает мёдом
 под бедром топора ночного
 рубит скорбную скрипку
 тонет в дыре деревянной
 голос сорванный с древа
 держит горлом вкушает либо
 белую плаху глотает
 Саркофаг щебечущий вихрем
 хор бедрающий саркофагом
 что ты дочь обнажённая
 или ты ничья
 или звеня сосками месит сирень
 турбобур непролазного света
 дивным ладаном захлебнётся
 голодающий жёрнов «восемь»
 перемальвающий храмы
 В холёный футляр двоебедрой секиры
 можно вкладывать только себя.

СКРИПКА ПИКАССО

Я играю на скрипке Пикассо
 Скрипка – скрепка меж небом и мной
 Я играю на скрипке Пикассо
 Или скрипка играет со мной

Всё играет а я не играю
 Все играют а я не игрок
 Несомненно я всё проиграю
 Но зато проиграю как бог

Потому что когда я играю
 Я играю в себя и во всё
 Несомненно я всё проиграю
 Но зато проиграю я всё

Пусть и мне будет порваннострунно
 Пусть и я буду вывернут вне
 В несебя в небеса где безумно
 Всем безумно а скрипке умно

Я играю на скрипке Эйнштейна
 И хотя он играет не в такт
 Знаю я, что ни Штайнер ни Штейнер
 Не сыграют на скрипочке так

Я играю на Кедровой скрипке
 Вся кедровая-струны из жил
 Сам не знаю – смычок или скипетр
 Дирижёр в мои руки вложил

СТРАННИК

Опираясь на посох воздушный
 странник движется горизонтально
 Опираясь на посох горизонтальный
 вертикальный странник идёт
 Так два посоха крест образуют идущий
 наполняя пространство
 в котором Христос полновесен
 Виснет кровь
 становясь вертикальной



Из разорванной птицы пространство её выпадает
из распахнутого чрева вылетает лоно
и чрево становится птицей
над чревом парящей

Это дева беременная распятым
распласталась крестом
Угловатое чрево разорвало Марию
Она как яйцо раскололась
Крест висит на своей пуповине
Мария и рама
в том окне только странник
теряющий в посохе посох

Шёл плотник неумелый с прозрачным топором
посреди дороги упал раздвоенный череп
мозг как хлеб преломился
вошла скорлупа в скорлупу
вылетела птица прилетела птица
ты остался собой
как стал как хлеб преломлённый
но больше всего как птица которая улетела
как колокол деревянный
сквозь топор пустоты небесной
летит раздвоенный мозг
пока поводырь не ведаёт о слепце
пока слепец бредёт сквозь поводыря
оставшегося позади с беременным посохом.

ШЕКСПИРОВА ФЛЕЙТА

Шекспир, играющий на флейте.
У флейты множество отверстий.
Вся флейта жаждет рук и губ.
Он научился в дырки дуть.
Шекспир, Офелия и флейта,
Офелия и тишина.
Как девственница,
Елизавета
в Шекспира флейту влюблена.
Она печальна, как Офелия,
но внутрь вселяется веселие
все пушки — это флейты флота,
и даже флот — большая флейта,
на нём играет Елизавета.
Но флот испанский, как Офелия,
не весел от сего веселия.
Хотя Елизавета девственница,
но всё ещё на всё надеется,
и даже есть такая версия,
что дул Шекспир во все отверстия.
Лишь иногда наденет траур,
как узника оденет Тауэр,
иль иногда отрубит голову,
когда её увидят голую
Но разгласит нам тайны эти
Шекспир, играющий на флейте.

Я всего лишь нео-
бы-
чайный домик
Где чай не пьют



а поют
И ви-
тают
от чая
к чаю
Аро-
матовый
ПА-
рок у рта
иероглиф чая
На чайном наречии сказал я чаю
– Чаю воскресения мёртвых –
И отвечал чай
– Аминь –

ОНЛАЙНЕР

«По синим волнам океана...» –
On-liner плывёт по волнам
Не видно на нём капитана
Поэт сам себе капитан
Не видно на нём капитана
и даже редактора нет
По синим волнам океана
On-liner плывёт в Интернет

Когда осыпается Rambler
и Яндекс уходит в декрет
тогда ни хорею, ни ямбу
спасения в Google нет
Когда осыпается Yahoo
а Rambler висит на хвосте
поэт цепенеет от страха
вися в паутине сетей.

И если подвергнут аборту
мой сайт отправляя в офсайд
я спрячусь в глубинах Апорта,
где рядом, как груши, висят –
Шекспир, Достоевский и Гоголь,
Гомер, Пастернак, Манделъштам.
Да здравствуют Яндекс и Google
и все, кто останется там.

НЕТ ВЕСЬ Я НЕ УМ. РУ

Даблю даблю даблю даблю точка ру
Ты собака я собака я тебя люблю
Даблю даблю даблю даблю тошно ру
Жизнь собака смерть собака
Не ум. ру

перевод на интернетный

WWW.ru
ты @
Я @
i love you
WWW тошно ru
жизнь @
смерть @
ne um.ru

ИВАН ЖДАНОВ

«ФОТОРОБОТ ЗОЛОТОЙ ЭПОХИ...»

Тихий ангел – палец к губам – оборвёт разговор,
и внезапной свободой
мы повиты, как руки немых, завершающих спор
точкой схода.

И кому не хотелось хотя бы на время такой
стать неслышимой речью,
пролетающей паузой между словами с тоской
по молве человечьей.

Но страна, как и речь, то по чёрному ходу идёт,
то уходит из дома.
Одеяние с ангела, пляясь изнанкой, спадёт,
словно молния с грома.

Там грохочет музыка на стыках раздолбанных нот
нулевым пересчётом.
Там для суммы важнее не то, что считают, а тот,
кто поставлен над счётом.

Прозревай в слепоту и с нечётной ноги воскресай,
догоняя безногих
по дороге хромой в заповеданный рай,
ставший адом для многих.

Молча яблоко рта разломи молодым
языком пустоцвета.
Ветер ширму повалит с пейзажем ночным,
но не будет рассвета.

Вечность – миг, неспособный воскреснуть давно,
и от ангельских крылий,
как в минуту молчанья, на сердце темно.
Так мы жили.

ПОРТРЕТ

Ты можешь быть русой и вечной,
когда перед зеркалом вдруг
ты вскрикнешь от боли сердечной
и выронишь гребень из рук.

Так в сумерки смотрит на ветви,
в неясное их колдовство,
чтоб кожей почувствовать ветер,
прохладную кожу его.

Так голые смотрят деревья
на листья, упавшие в пруд.
Туда их, наверно, поверья
листвы отшумевшей зовут.

И гребень, и зеркало рядом,
и рядом деревья и пруд,
и, что-то скрывая за взглядом,
глаза твои тайной живут.

Ты падаешь в зеркало, в чистый,
в его неразгаданный лоск.
На дне его ил серебристый,
как лёд размягчённый, как воск.

Искрящийся ветер, перешитый,
навек перестроенный в храм.
И вечный покой Афродиты
незримо присутствует там.

Улыбка её и смущенье
твоё озаряют лицо,
и светится там, в отдаленье,
с дрожащего пальца кольцо.

Ты вспомнишь: ты чья-то невеста,
чужая в столь зыбком краю.
И красное марево жеста
окутает руку твою.

Мелкий дождь идёт на нет,
окна смотрят сонно.
Вот и выключили свет
в красной ветке клёна.
И внутри её темно
и, наверно, сыро,
и глядит она в окно,
словно в полость мира.
И глядит она туда,
век не поднимая, —
в отблеск Страшного суда,
в отголосок рая.
В доме шумно и тепло,
жизнь течёт простая.
Но трещит по швам стекло,
в ночь перерастая.
Это музыка в бреду
растеряла звуки.
Но кому нести беду,
простирая руки?
И кому искать ответ
и шептать при громе?
Вот и всё. Погашен свет.
Стало тихо в доме.

БАР

Откуда нам было заметить, что в трёх километрах отсюда,
от этого бара чумного, куда нас судьба занесла,
в полях полковые зарницы, питомцы армейского зуда,
нам веерной сталью маячат сквозь толщу пивного стекла?



Откуда нам было дознаться, что это за нами следила
 гремучая ветка рябины, с польни сдирая слюду?
 Но звёзды в продольном разрезе сплела телефонная жила,
 и все предрешённые встречи запутались в ней на ходу.
 Не лопнет струна гороскопа, пока номера телефона
 полярными буднями диска из будки глазают в окно.
 Трепещет ли нитка в рубахе, рябину ли гнёт Персефона,
 а звёздная нить расставанья укромное рвёт полотно.

Ещё не готовые к встрече, но годные к убыли мерной,
 мы здесь, за дубовым окопом, повитые хмелем, замрём.
 Но как обесточить зарницы? В их удали цепкой и нервной
 нацелено что-то такое на нас дальнобойным ядром.

Пускай электрической плотью себя одевает рябина,
 пусть ночь остаётся на месте, а почва плывёт из-под ног!
 Отечество – ночь и застолье, а всё остальное – чужбина.
 Мы – верные граждане ночи, достойные выключить ток.

БАЛЛАДА

Я поймал больную птицу,
 но боюсь её лечить.
 Что-то к смерти в ней стремится,
 что-то рвёт живую нить.
 Опускает в сердце крылья,
 между рёбер шелестит,
 надрываясь от бессилья,
 под ладонью верещит.
 А в холодном клюве воздух –
 шарик ртутный, уголёк,
 надпись тусклая на звёздах,
 слов безудержный поток.
 Не намеренно – случайно
 этот воздух пригублю
 и открою чью-то тайну,
 что-то заново слеблю.
 ... Вот по плачущей дороге
 семерых ведут в распыл.
 Чью беду и чьи тревоги
 этот воздух сохранил?
 Шестерых враги убили,
 а седьмого сберегли.
 Шестерым лежать в могиле,
 одному не знать земли.
 Вот он бродит над землёю,
 под собой не чуя ног.
 Паутину вяжет мглою
 снегопада паучок.
 Снегопад бывает белым
 и не может быть другим.
 Только кто же мажет мелом
 в сон свивающийся дым,
 если в мире, в мире целом
 только он и невредим?
 Он идёт, себя не пряча
 в исчезающей дали,
 потому что тех убили,
 а его убить забыли
 и случайно сберегли.
 Сберегли его, не плача,
 память, птица, пар земли.

Мороз в конце зимы трясёт сухой гербарий
и гонит по стеклу безмолвный шум травы,
и млечные стволы хрипят в его пожаре,
на прорези пустот накладывая швы.
Мороз в конце зимы берёт немую спицу
и чертит на стекле окошка моего:
то выведет перо, но не покажет птицу,
то нарисует мех и больше ничего.
Что делать нам в стране, лишённой суесловья?
По несколько веков там длится взмах ветвей.
Мы смотрим сквозь себя, дыша его любовью,
и кормим с рук своих его немых зверей.
Мы входим в этот мир, не прогибая воду,
горящие огни, как стебли, разводя.
Там звёзды, как ручьи, текут по небосводу
и тянется сквозь лёд голодный гул дождя.
Пока слова и смех в беспечном разговоре —
лишь повод для него, пока мы учим снег
падению с облаков, пока в древесном хоре,
как лёд, звенят шмели, пока вся жизнь навек
вдруг входит в этот миг неведомой тоскою,
и некуда идти, — что делать нам в плену
морозной тишины и в том глухом покое
безветренных лесов, клонящихся ко сну?

Этот город — просто неудачный
фоторобот града на верхах.
Он предъявлен цифрой семизначной
как права на неразъёмный страх.

Фоторобот золотой эпохи
застеклён и помещён туда,
где ему соседствуют пройдохи
и иные, впрочем, господа.

Как лунатик, множимый ногами,
пропуская в бездну этажи,
город-призрак заблудился в раме.
Ложный страх сильнее страха лжи.

Бродит он по улицам старинным,
сам себя нигде не находя,
где домам, прохожим и машинам
легче быть пустотами дождя.

Но составлен фоторобот страха,
и морозом дорисован лес —
рыбья нота или ночь-рубаша
в нём живут, не ведая чудес.

Камень плывёт в земле, здесь или где-нибудь, —
скол золотых времён, сторож игры и толп,
но из-под ног твоих он вырывает путь
и отправляет вверх, чтобы горел как столб.

Я не блудил, как вор, воли своей не крал,
душу не проливал, словно в песок вино,



но подступает стыд, чтобы я только знал:
то, что снаружи крест, то изнутри окно.

Не разобьёшь в щепу то, что нельзя унять,
и незнакомый свет взгляд опыляет твой,
и по корням цветов гонит и гонит вспять
цвет золотых времён будущих пред тобой.
Ближе, чем кровь, луна каждому из землян,
и по числу людей множится лунный род.
Видишь: над головой улиц или полян
лунных пейзажей клин поднят, как в перелёт.

Ты, как силой прилива, из мёртвых глубин
извлекающий рыбу,
речью пойман своей, помещён в карантин,
совместивший паренье и дыбу.
Облаками исходит, как мор и беда,
отсидевшая ноги вода.

Посмотри: чернотой и безмолвием ртов,
как стеной воронёной,
зачажённые всплески эдемских кустов
окружают тебя обороной.
И, свою спиной повернувшись, луна
немоту поднимает со дна.

Даже если ты падать начнёшь не за страх —
не достигнешь распада.
Ты у спящего гнева стоишь в головах,
как земля поперёк листопада.
Сыплет ранами чёрной игры листопад,
блещет сталью своей наугад.

Ты стоишь по колено в безумной слюне
помрачённого дара,
разбросав семена по небесной стерне
как попытку и пробу пожара,
проклиная свой жест, оперённый огнём,
и ладонь, онемевшую в нём.

Не соседи, не дети твои — эти сны,
наяву ли всё это?
Ты — последняя пядь воплощённой вины,
ты — свидетель и буква света,
ты — свидетель, привлёкший к чужому суду
неразменную эту беду.

Оттого ли, что сталь прорастает ножом
и стеной обороны,
завернувшись внахлест двуязычным ужом,
словно причет и плач похоронный, —
ты, как рану, цветок вынимаешь из пут
недосчитанных кем-то минут.

Ты, смерть, красна не на миру, а в совести горячей.
Когда ты красным полотном взовьёшься надо мной
и я займусь твоим огнём навстречу тьме незрячей,
никто не скажет обо мне: и он нашёл покой.

Рванётся в сторону душа, и рябью шевельнётся
тысячелетняя река из человеческих глаз.
Я в этой ряби растворюсь, и ветер встрепенётся
в древесном шёпоте моём и вспомнится не раз.
Ты, смерть, красна или черна, не в этом вовсе дело, —
съедает мартовский туман последний мокрый снег.
И в смертном шёпоте моём уже не уцелело
ни слов для совести моей, ни берегов для рек.
А над оттаявшим прудом весна не городская,
на деревянном островке вчерашний снег уплыл.
Там, клюв упрятав под крыло, как будто замыкая
себя в осеннее кольцо, когда-то лебедь жил.
Я вспомнил лебеда, когда, себя преодолевая
и пряча губы в воротник, я думал о тебе.
Мне так хотелось умереть, исчезнуть, замыкая
в себе всё прошлое моё, тебя в моей судьбе.
О, если б вправду умереть пришлось мне в то ненастье,
то кто послушал бы меня и кто б сумел помочь
мне выгравить себя из глаз, пророчащих участие,
неумолимых, как и ты, и обращённых в ночь.
Всю память выжечь о себе, сгореть, лишиться крова.
Кричать: забудьте обо мне, меня на свете нет!
Что будет, если я умру? Меня оттуда снова,
оттуда выгашат опять просматривать на свет?
О, если б камни, что мои хранят прикосновенья
и в них живут, как в скорлупе, растаяли, как дым!
О, если б всё ушло со мной: вся память, все мгновенья,
в которых я тебя любил отчаяньем моим!
Где зеркало теперь моё? Бродячим отраженьем,
не находя ответных глаз, по городу бреду.
Грозит мне каждое окно моим прикосновеньем.
Мне страшно знать, что я себя нигде не обойду.
Я натякаюсь на себя и там, где не был даже,
весь город мною заражён — повержен в колдовство.
Люблю, боюсь, зачем, кого — слова подобны краже.
Туман съедает мокрый снег, мне не спасти его.

В пустоту наугад обоюдоогромный
вникнет луч напрямик и повиснет, застыв,
и разломится вдруг, и из бездны разлома
брызнет озера сильный и слитный порыв.

И, рядясь в берега, это озеро станет
прозревать от равнин и провидеть от гор,
и зверино и рыбно задышет, и втянет
в тяготенье своё беспредметный простор.

И тогда ты припомнишь, что миру начала
нет во времени, если не в сердце оно,
нет умерших и падших, кого б ни скрывало
от морей и от бездн отрешённое дно.

Никого на дороге: ни мира, ни Бога —
только луч и судьба преломиться ему.
И движеньем своим образует дорога
и пространство и миг, уходящий во тьму.

Что там видится, что остаётся в начале,
что уходит сквозь пальцы по пыльным шоссе?
Это вестник без вести, пропавший в печали,
за рассказом растаявший в светлой росе.

ВИЛЛИ МЕЛЬНИКОВ

ВЕК ПОЗОЛОЧЁРНОЙ СЕРЕБРОНЫ

ДИНОЗАУРА

Земля – из полужарий – двух кузин,
До сока процарапанных досок.
Введу материку Полинезии –
И съём архипелакомый кусок!

Чудотворящер-змий давно оглох
От шелеста Георгиевских лент.
Под панцирь полночник-полубог
Тортилловоый кладёт эквивалент. . .

Шторм причесался гребнями эскадр.
Оазис сбрил с барханов миражи.
Чтоб вырезать двадцать-распятый кадр,
Синедриону головы вскружи!

Расходится с водой от камня круг,
И отеклась трясина от болот.
Умыв нерукотворьем дело рук,
Не выпустил штурвал Понтий-пилот.

Прельстились изумрудалью дождя
Сапфирменной огранки валуны
И, в бижутерем солнечный войдя,
Разбили бриллиампулы луны.

Яичницу и Божий скипидар
Не спугай, если краски не чисты!
Не выцветишь глаза уставших пар.
«Не ждали» озвеРепина холсты. . .

МАШИНА БРЕМЕНИ

Всепланетный коптит потлач,
Завещания вереща. . .
Бронбойлерный ветер спрячь
В неизбежевый вдох плаща!

Белизну распрямил кривизной я.
Переплётты перелистай,
Заливая в зеницу зноя
Пулемятный настой стай!

Календарь – отрывная отрава,
Клешне-плюшевый аристокраб,
Безотцовщина римского права
В Авиньонском пленении пап,,,

Жаль Калигулу, змейка Друзилла?
Калликратии почерк не рад –



И хронист проливает чернила:
Напоить осуществие дат.

Наготу облачённого в плач лица
Не укутать в над-ним-насмеха!
Солнце – отчим, луна – невопадчерица
К обязанности затмений глуха. . .

Пусть у истины истрезвившейся
Жабры вырастут для вина!..
Жжёт с предхмелья, Землёй притворившаяся,
Солнца тёмная сторона.

Осипу Манделштаму

«Попробуйте меня от века оторвать –
ручаюсь вам: себе свернёте шею!..»,
,,,Устав вино виною разбавлять,
Из луж шипучеглазых «Ив-Роше» пью.

Попробуйте на мне пронзённо выпасать
безглазных прицелов наготовчя:
их ствольно-нарезную гипностасть
принять как краснотворное не прочь я!

Попробуйте меня подковой подкупить,
пробелам прописав прополоскачки,
преторианцев приторную прыть –
Нероновым нейронам (в счёт подачи!).

Заточено за-гучье. День шестой.
Исподнебестий, что так звал Енох, нет.
Попробуйте меня кормить капустотой –
пресыщенный издевакуум издохнет.

Предчудствия – мои предотвращи.
Лечитесь, граф бесперемонте-Кристо!
Мой дикобразум сном попробуй, помрачи,
слав кубики на степень кругочиста!..

Высокий обольститул ищет знать.
Сквозь смех колодца небо плачет сухо.
Попробуйте меня в двадцатый век вогнать –
ручаюсь вам: ему взорвёте брюхо!

РАЗОЧАРОВАЦИЯ

Среди утлящихся поленьев
искал костра ось –
воспламенилась, ветра тень съев,
позавчерадость.
Душ незабудущих астралью
жжёт эмигранда:
прохладан воскурил Кетцалю,
монах Дэ-Ланда.
Не Гильгамешкая, герой
кидает кости –
и маска, стёртая игрой,
сопит от злости.
Кто режисСёрен, с тем не спорьте:
в суфлёре сила.
Тромбоубежища в аорте
кровь запросила.



До дна отбитыми краями
Гекубки полны...
Не сетуй, а махни сетями
на произволны!

АФ'GUN'-И-СТАНЦИЯ

Мне пришлось называться рекою лимонного сока,
заструиться в бумажный песок по ступеням верлибров,
распугав притворившихся зебрами заспанных тигров
и омыть крест часовни, что срублена возле истока.
Та воронка от взрыва желаний – по прозвищу Небо,
что воспета принявшим за флейту трубу паровоза,
мне раскрыла, что месяц – всего лишь опилок-заноза,
извлечённый землёю из корки межзвёздного хлеба.
Я узнал, как целуются сны со взрывною волною,
разгадав несогласие шлема с бураном валькирий.
Разрубив все затворы гаремов святош-перемирий,
оберну одеялом Микен полинявшую Троию.
Нелинованный лев приготовил мне кисточку с тушью,
и клыкастый иероглиф поднял на рога упрощённость.
Я прошу изумлённым галактикам непосвящённость
и пройду по артерьям подтекстов и головокружью.
Небосклонностям крыши незнакомы восторги подвалов;
Погребам не понять надкарнизные шелесты крыльев.
ВосСоздатель не в силах желать обращения в пыль Ев,
Не отдавав Адамовых яблок и спелых астралов.

BON ' UP ' ART

Окна замкнуты.
Сидя взаперти,
я раздам кнуты
прямо с паперти.
Спит лиса блесны,
рыб обидевши;
я спасаю сны
от их видевших!..
Командор, не лги
дну: вот плащ его!
Я спишу долги
с бодро спящего.
В слонке щучий рот:
сыт Емелею,,
Я спляшу фокс-крот
подземелию!..
Шара блажь – кубы;
рёбра – Евы для...
На распашку бы
мне носить поля!,,
Летом winterview¹
брать обеднее!
Из тумана вью
ясноведенье.
Сведишь mod'ный Спас²
из сугроба ты?..
Пожалеть бы вас,
Нездоровоты!..
В перекрестье вбит
встреч течений я –
золотого щит
отсечения.

¹ [win+winter+interview] (англ.) – победить+зима+интервью;

² [мё:д] (швед.) – усилие.

АССОЛЬВЕЙГ

След слюды не спит до пятой стражи.
Икс конверта тает, снег тая...
Я тебя изваял из вояжей,
неправдоподобная моя!

Мелом хмельно-смело измельчённым
испищу испертием испуг,
бросив слово ново-и-speech'ённым¹
на абракадабразивный круг –

отточить неприка'science fiction²
и, до равноденствия молясь,
стать у Всепроникшей велорикшей,
для парковки выбрав коновязь.

Склей свежезаваренным шампанским
свой сопротивлетний юбилей!..
Маски-пули,, Вертит барабан мим
револьверной веры в лес полей.

Но устал «пророчицу» везти мул;
недосказ – плохой благочестимул.

¹ [спи:ч] (англ.) – произносимая речь;

² [сайэс-фикшен] (англ.) – научная фантастика.

ВЕК ПОЗОЛОЧЁРНОЙ СЕРЕБРОНЗЫ

«Меня выпеклость земли
на плотскость неба,
на науатль перевели
"Картлис Цховрэба"
Гомерлин, Элюарагон
и Вознесенин!..», –
зевнул котом из-под погон
жугнікь Катенин.

ПрисПуцин флаг: рифміть нет сил.
И, слог улучшив,
певец конфет не поступил
в литинстиТютчев!

СниМая-ковского поправ,
рвут на иконки
кордебалетопись приправ
для Евтушёнки.

Растаял Гумилёд, раскрыв
на зависть сутрам
Ахматадулинский надрыв
ОБЭРИУтром.

По пятиБальмонтной шкале
огнями Эльма
в разорВолошинской скале
жгут Коктебельма,,

ДИАГНОЗ СЕБЕ

Неотвратиканье секунд –
в Икараоке океана,
в чьём плеске, замершем во фронт,
умылась Юлия Пастрана.



Дверь-отопричник повзрослеп.
В скорогоморках стьнет сера;
Но озаглавил Имхотеп
мир пирамидою Джосера!
Как, разозлира, ты глупа!
За песни платят в чентезимо!..
Александрийская столпа
спешит скосить дворец озимый.
В китах кипит адреналим:
там хороводолаз без шлема,
и досказательство своим
считает предопредилемма.
В противАгасфер облачить
решись глаголовы веков сам!
Волков ораторскую съть
подай к столу немногословцам!..
Мой зодиагноз часто врёт.
Благодарю, благовест-готы!
Ведь не боится болеглот
сертификаторжной работы.

ИГОРЬ ИРТЬЕНЬЕВ

ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ

БАЛЛАДА О СОСЛУЖИВЦАХ

Сейчас на дворе уже новый век
И даже представить трудно,
Что кроме «Варяга» был ещё «Грек»,
Тоже нехилое судно.

Ника над ним не простёрла крыл,
О нём не сложено песен.
Славою «Грек» себя не покрыл,
Сюжет его жизни пресен.

Он мог тот сюжет подсолить слегка,
Но рассудил иначе,
Поскольку валять не любил дурака,
А быть в дураках тем паче.

Увидев «Варяга» в огне и дыму,
Подумал: «Оно мне надо?»
И показал японцу корму,
Оставив с носом микадо.

Башню ему в тот день не снесло,
Взвесив все «pro» и «contra»,
Потерь боевых он снизил число,
А это важнее понта.

Верх левантийская сметка взяла
В нём над варяжской блажью,
Выбрав «была» из «была – не была»,
Он жизнь продлил экипажу.

... Служили два друга в одном полку,
В эскадре, если точнее,
Один всегда был малость ку-ку,
Другой – куда как умнее.

В итоге один слегка почудил
И воду набрал в отсеки,
А другой ещё до-о-лго и нудно ходил
Из тех же варяг в те же греки.

АСТРОНОМ

На небе звёзд довольно много,
Примерно тысяч двадцать пять,
В одном созвездье Козерога
Их без очков не сосчитать.



Трудна работа астронома –
Воткнув в розетку телескоп
В отрыве от семьи и дома
Он зрит светила небесных скоп.

Приникнув к окуляру глазом,
Забыв про сон, за часом час,
Терзает он свой бедный разум,
Постичь картину мира тщась.

Ну что ему земные беды,
Когда он видит Млечный шлях,
Когда туманность Андромеды
Родней жилплощади в Филях.

Гордись, полночный соглядатай,
Своей нелёгкою судьбой.
Пускай в разладе ты с зарплатой,
Зато в гармонии с собой.

Блестят штыки, снаряды рвутся,
Аэропланов слышен гуд,
Куда-то белые несутся,
За ними красные бегут.

Повсюду реки крови льются,
Сверкают сабли там и тут,
Куда-то красные несутся,
За ними белые бегут.

А в небе жаворонок вьётся,
В реке играет тучный язь,
И пьяный в луже у колодца
Лежит, уткнувшись мордой в грязь.

ДОЛЖНИКАМ

Не будем к должникам строги,
Пока у нас на жизнь хватает.
Им трудно отдавать долги –
Счастливицы в облаках витают.

О, как прекрасен их полёт,
Лишённый низкого расчёта,
До наших мелочных забот
Им нету никакой заботы.

Покуда мы, как дураки,
Их у подъезда ждём часами,
Парят беспечно должники
Под голубыми небесами.

Нам не подняться к облакам,
Мы, видно, что-то упустили.
Простим же нашим должникам,
Как нам они давно простили.

Глядим из ямы долговой,
Реестр горестный листая,
Как высоко над головой
Парит свободная их стая.



ЁЛКА В КРЕМЛЕ

Объявлен Новый год в Кремле
Декретом ВЧК.
Играет Ленин на пиле
Бессмертного «Сурка».

Смешались нынче времена
За праздничным столом,
Идет Столетняя война,
Татары под Орлом.

Какая ель, какая ель
В Кремле под Новый год,
Такой не видывал досель
Видавший всё народ.

На ней усиленный наряд
Из пулемётных лент,
Висит матрос, висит солдат,
Висит интеллигент.

... Метёт, метёт по всей земле
Железная метла,
Играет Ленин на пиле,
Чудны его дела.

Его аршином не понять
И не объять умом,
Он сам себе отец и мать
В лице своём одном.

В ночи печатая шаги,
Проходит через двор,
До глаз закутан в плащ пурги
Лубянский командор.

Железный лях, а может Лех,
Руси Первочекист,
Он принял грех за нас за всех,
Но сам остался чист.

Подводит к ёлке Дед Мороз
Снегурочку – Каплан,
Он в белом венчике из роз,
Она прошла Афган.

В носу бензольное кольцо,
Во лбу звезда горит,
Её недетское лицо
О многом говорит.

... Играет Ленин на пиле
«Заветы Ильича»;
Плугает разум мой во мгле,
Потупилась свеча.

На хорах певчие блюют,
И с криками «Ура!»
Часы на Спасской башне бьют
Бухие лубера.



Ответь мне, искусственный спутник Земли,
 Продукт необузданной мысли,
 Зачем ты летаешь от дома вдали
 В космической гибельной выси.

Зачем ты, вводя в искушение Творца
 Своим вызывающим видом,
 В любую минуту дожидаться конца
 Рискуешь при встрече с болидом.

Затем я летаю от дома вдали,
 Чертя за кривою кривую,
 Чтоб тёмные силы вовек не смогли
 Войну развязать мировую.

Чтоб мать в колыбели качала дитя,
 Не ведая грусти-печали,
 Чтоб девы венки из ромашек сплетя,
 Их юношам пылким вручали.

Спасибо тебе, мой искусственный друг,
 Иного не ждал я ответа,
 Летай же и дальше планеты вокруг
 Со скоростью звука и света,

А если когда-нибудь вниз упадёшь,
 Лишившись физической силы,
 Навеки Советской страны молодёжь
 Запомнит твой облик красивый.

ИВАН ПЕТРОВИЧ И НЛЮ

Идя домой порою поздною
 И очень сильно торопясь,
 Иван Петрович неопознанный
 Объект заметил как-то раз.

Летел он меж землёй и звёздами,
 Не причиняя людям вред,
 Никем покуда не опознанный
 Чужого разума привет.

Кто в мысли погружён серьёзные,
 Не будет времени терять.
 Иван Петрович неопознанный
 Объект не стал опознавать.

Горел закат на небе розовый,
 И, оставляя белый след,
 Из виду скрылся не опознанный
 Иван Петровичем объект.

Кончался век, XX век,
 Мело, мело во все пределы,
 Что характерно, падал снег,
 Причем, что интересно, белый.



Среди заснеженных равнин,
Как клякса на листке тетради,
Чернел какой-то гражданин,
Включённый в текст лишь рифмы ради.

Он был беспомощен и мал
На фоне мощного пейзажа,
Как он на фон его попал,
Я сам не представляю даже.

Простой советский имярек,
Каких в стране у нас немало.
Увы, забвению обреч
Мой мозг его инициалы.

Лишённый плоти аноним,
Больной фантазии причуда,
Диктатом авторским гоним,
Брёл в никуда из ниоткуда.

Вот так и мы – бредём, бредём,
А после – раз – и умираем,
Ловя бесстрастный окоём
Сознания гаснущего краем.

И тот, кто вознесён над всеми,
И отмеряет наше время,
На этом месте ставит крест
И за другой садится текст.

Только было мы настроились
Запасать себе гробы,
Братья-сербы успокоились,
Слава Богу, без пальбы.

Но опять запахло порохом
Посреди планеты всей –
Это снова дал всем шороху
Наш старинный друг Хусейн.

Просто жить уже не хочется.
Так достали, что беда.
И когда ж всё это кончится...
Да, боюсь, что никогда.

ЕВГЕНИЙ ЧИГРИН

ПОДВОДНЫЙ ШАР

АНТРОПОМОРФНОЕ

Словарь реки читается с конца,
Сначала «я», а после остальное.
Лицо волны от солнца золотое
Морщинится, как кожа мудреца.
Лицом к лицу два взрослых существа:
Животные, а лица человечьи. . .
Шипящие куски пространной речи,
Безвестный слог, воздушная строфа.
За валуном три Мойры вяжут сеть,
Вздыхая так, что облако косится,
Полным-полно в телесном небе ситца,
Никто не сможет с этим умереть.

Два зверя пьют мареновый закат,
В когтях – любовь: безумие, объятье,
Кипение листается во взгляде
(Амур с холма залыбился впазд).
Два зверя век вылакивают так,
Что чудища воды глотают слюнки. . .
Смеркается в ненаселённом пункте,
Ступает призрак в мертвенный овраг.
Карбункулом любви стоит луна
В небесном своде. . . ангелы на стрёме
Бегущих строк, китайской лодки в коме,
Плывущего в иллюзиях вруна.

. . . там ловкие сарганы в руки шли,
Как мифы места, пахнувшие зверем,
И море в луже клюквенной зари
Дышало дзэн-буддийским недоверьем.
Там птицей эксцентрической смотрел,
Держал в руках то ангелов, то нечисть,
Когда Селена встала на ущерб,
Старуха с бритвой задвигала речи
И пряталась в усмешку и врача. . .
Там задували демоны причалы
И след берегового скрипача. . .
Не выплакать бемолям этой кары.
Там жизнь сходилала. . . Аполлон, ты где?
Такой глушняк. Не вяжется Эллада.
Я там ловил бамбуковых детей,
Я там вбирал первопричины ада.



Цирюльника летающая скрипка...
О.М.

Фиолетовый цвет Феодосии – сумерки... Свет
Симпатичной кофейни вблизи айвазовского моря.
Бесноватые чайки кричат с передышками бред,
Белопенные волны подобны осколкам фарфора.
В Киммерии нетрудной так правильно пить не спеша
Эти красные вина за жёлто-блакитные гривны,
По глотку поднимайся по строфам поэтов, душа,
Обретавшихся здесь, сочинивших нескучные гимны,
А вернее – упрятавших в слово живинку-тоску,
Обогретые камни, да бьющие колером степи,
Чебуречную жизнь, да цирюльника скрипку... Смогу
Что припомнить ещё? Ну какие искусные сцены?
Этой улочкой брёл фантазёр и обманщиков брат,
Самый светлый алкаш, мореход сухопутных видений –
Молчаливый Гриневский в свой парусный солнечный ад:
Галерейная 10, где только четыре ступени...

Этой улочкой шёл, видел эти густые кусты,
Фиолетовый цвет, может самый спокойный на свете...
Наливайся, стакан, опрокинем за буквы-труды,
Нищету к нищете, понимающий музыку ветер
И случайную жизнь, и считающий денежки порт,
За пустое кафе побелевшей акацией Каффы,
За сливовое море: медузы, актинии, йод,
Да пиратские клады, где золото, жемчуг, аграфы!

ФОТОСНИМОК

... ну конечно припомню: дыра, захолустье, отшиб,
Впрочем, море всё скрасит, всё станет на место при звуке
Недосолённых волн. Фотография – мыс Казантип
В обедневшем посёлке на юге.

Ну конечно припомню: гостиница, наш недосып
(Казантип – казанок – в переводе с какого? – забылось).
Всё казалось любовью, читалось, равно манускрипт,
И глагольной рифмой светилось...

INDIA ВЧЕРА

... цвета последнего вздоха жакo – осень. Простудно и тихо.
Это вчера сочинялось легко, жадно мерещилась книга
Странствий, пропахших солёной водой, жиром зелёного мира,
Плавилось сердце амурной игрой, падало в дырочку сыра.
... позавчера – Ришикеш, Харидвар, запах чапати в кафешке,
Бронзой и медью ослепший базар и – саподилла в тележке
Весёлоглазого, что на урду всё перешёптывал что-то...
(Сколько чернил засыхает во рту, сколько наития-мёда?)

Тмин, кардамон, кориандр и ваниль, пряность мешая со смрадом,
Жизнь окуналась в капуровский фильм рядом с краснеющим садом.
... пальцы оближешь, смакуя барфи: лакомство из парадиза,
Это признание в блеснувшей любви (в паспорте блёсткая виза).
... без барабанов и «ласковых» змей как-то теперь бестолково,
Слушай, сагиб! – сорок капель налей, вспомни *факирово* слово...
«Старым монахом» натешится стих (вязкий напиток, индусы).
Полночь вдохнула чернил золотых, к Шиве отправились музы...



ГАНЕША

Этот город – ну? – «молодой» Ганеша,
 Обещает манго, удачи хвостик,
 На быках везут (проезжай, тележка)
 Золотой обман, шепелявит додик.
 Этот город – змей и корова слева,
 Королевский дух поравнялся с нами,
 Разливает смысл голубого неба
 Грамотей-монах (говорит стихами).
 Этот город – ну? – с головой слоновьей:
 Сиротой торчит одинокий бивень,
 Снаряжает сны, подсыпает в кофе,
 У брамина, глянь, не стило, а грифель.
 Этот город – шрам на лице лангура,
 Попрошайки бред в малолетнем платье,
 У молельни, что в тишине пурпура,
 Инвалидный круг в налетевшем смраде.
 Ганапати – бог (и один из шайки),
 Фаворит всех каст, маета Парвати.
 ... Полумраки пьют из колодца байки,
 Точно призрак форт подступает сзади...
 Этот город что превзошёл и понял?
 Раскурил мозги агарбатти, что ли?
 И никто, никто, ну никто не помер?
 И течёт любовь в непростом глаголе...
 И компот из тьмы вышивает выси,
 Желатин луны на холсте жасмина.
 И божок сметливый сидит на крысе:
 Ореол ушей, озорная мина...

ВИНО

... как в масть эта полночь примятому взморью,
 «Омара Хайяма»¹ закушай фасолью
 И взглядом лагуну приметъ.
 Луна сургучом нависает над пальмой,
 С которой совсем не рифмуется дальний
 Пейзаж, что венчает мечеть.

Эль Гунна вдали шевелится огнями,
 Смотри, минарет прилепился к рекламе,
 Буквальнее – наоборот.
 Смешай эту полночь с кебабом, тагином,
 Как воздух сошёлся с неместным жасмином,
 Как многое жизнь раздаёт...

Захочешь – пиши на папирусе строфы
 (На пылком востоке не тешились профи!)
 Зато – превратились в вино,
 В пустынную повесть – волынку ребаба,
 Который смекает, как ухо араба
 Пленять: и пленяет давно.

Блуждают (незримо) затейники-джинны,
 С кальянами кайфа засели мужчины,
 Вкуснее инжира слова.
 Из розовых листьев напиток горячий
 Спешит наливать мусульманин невзрачный –
 Хасан? Мухаммед? Мустафа?

Возьми настоящее в крепкую память,
 Когда приключится в досадное падать,
 Войди в эту полночь опять,
 Пускай Аладдином покажется лето
 В стихах, на которых везучая мета,
 Верблюжьих миров благодать.

¹ марка вина

ВОСПОМИНАНИЕ ПОД МУЗЫКУ СЕНТ-КОЛОМБА

Колыбельного места осенний надлом
 В жёлтых жалобах мокнет листва.
 Из бороздок пластинки опять Сент-Коломб,
 С этим галлом в печаль голова
 Окунается, ровно в густой кальвадос,
 Зарывается в молодость так,
 Что опять и разлука, и страсти всерьёз,
 И в кино – фантомасами страх,

И прощанье с которой? Какой сатана
 Разберёт в проходном октябре,
 Что там было, когда растекалась весна,
 Просыпались в неброской норе. . .
 Что там было?.. И видится Гайсин, Тульчин,
 И сквозистый ладыжинский свет
 Возникает и смотрится в ультрамарин
 Переливчатых высей. . . в сюжет

Этих мест колыбельных. . . Строфу за строфой
 Так и вытяну родину, как
 Сент-Коломб меланхолию-музыку (Строй
 Этой музы в искусных руках).
 Что там было?.. Всё рядышком: Винница, Бар
 И Вапнярка, и Шаргород, так?
 Говори-перешёптывай, будто бы дар
 Можно выщептать в этих стихах?..

Сколько прошлого, быстрого, как выпивон
 В побелевшем от яблок саду.
 Золотым захолустьем я будто прощён?
 Позабыт в позабытом году?
 Ибо – Бершадь, Немиров, Ладыжин, т.д.
 Столько видели всяких таких
 Перебежчиков (мать их. . .) Мерцай в пустоте,
 В метрополиях незолотых,

Пропадай в Сент-Коломбовой струнной тоске
 (В жёлтых жалобах мокнет листва),
 Не спеши приближаться к подземной реке,
 Где Хароном легенда жива,
 Где химера – змеёй с рубцеватым хвостом. . .
 Замолчи. Не пугай сам себя.
 . . . колыбельного места осенний надлом,
 Станционные ветры трубят.

«МЕГАФОН»

В первом номере «Южного Сияния» мы публикуем интервью с известным писателем Кириллом Владимировичем Ковальджи, родившимся в бессарабском селе Ташлык (ныне Каменское Арцизского района Одесской области) в 1930 году, в юности жившим в Одессе, а позже переехавшим в Москву и ставшим учителем для многих современным поэтов и прозаиков. В прошлом году Кириллу Ковальджи исполнилось восемьдесят.

В рубрике «Мегафон» редакция и в дальнейшем намерена печатать интервью со знаменитыми поэтами, прозаиками, деятелями культуры.

ВЫХОДЕЦ ИЗ ЮГА, УЧИТЕЛЬ СЕВЕРА...

интервью с Кириллом Ковальджи

С.Г.: Кирилл Владимирович, мы знаем, что Вы родом из нынешней Одесской области, долгое время жили в Одессе. Что ещё связывает Вас с нашим городом? Каковы самые яркие воспоминания о нём? С кем Вы дружили в Одессе, каких поэтов ценили и знали?

К.К.: В Одесской... Но тогда (в 1930 году) бессарабское село Каменское было в Румынии и называлось Ташлык. А Одессу я увидел в июле 1941 года — отец меня с матерью отправил туда — «подальше» от фронта. То есть, в самое пекло. Всю осаду Одессы я там и пробыл, о чём рассказано в моём романе «Лиманские истории» (в новом издании — «Свеча на сквозняке»). А потом, в 1947-ом году я поступил на судомеханический факультет Одесского института инженеров морского флота. Но вскоре из-за ареста отца пришлось вернуться в Белгород-Днестровский и окончить там физмат Учительского института... Потом, правда, осуществил свою мечту и поступил в Литинститут... Первая моя журнальная публикация была как раз в Одесском альманахе в 1949 году, общался я и «шапочно» дружил я с Рядченко, Уваровым... А ярких воспоминаний много — в основном лирических. То есть про любовь. Но об этом лучше стихами...

С.Г.: Каково Ваше отношение к термину «одесская литература»? Имело ли место быть такое явление в прошлом и имеет ли место сейчас?

К.К.: С улыбкой... Сами понимаете, есть русская литература, она неделимая. Но это по большому счёту — историческому. А практически — центры русской культуры были, есть и будут без сомнения. К одному из таких значительных центров относится и Одесса (достаточно заглянуть в её литературный музей). Бабель, Катаев, Кирсанов, Багрицкий... Быговало даже выражение «одесская школа»... В Одессе, несомненно, есть и теперь творческая энергия. Значит, от неё можно ждать многого, своего, неповторимого — на радость нашим литераторам!

С.Г.: Расскажите, пожалуйста, о наиболее перспективных российских изданиях, посвящённых современной поэзии.

К.К.: Это прежде всего «Арион» (гл. редактор А. Алёхин), «Журнал Поэтов» (гл. редактор К. Кедров). Есть ещё «Воздух» (издаёт Д. Кузьмин) и «Поэзия» (издает МГО СП России), но, виноват, последние два давно не читал...

С.Т.А.: Какие из давно известных Вам «толстых» журналов сегодня публикуют наиболее близкие Вам, новаторские или просто достойные внимания произведения?..

К.К.: По-прежнему для меня важны «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Звезда», «Дети Ра», «Юность» (хотя последние два не очень «толстые»...)

С.Т.А.: Вы — главный редактор интернет-журнала «Пролог», регулярно отдающего свои виртуальные страницы всё новым и новым талантливым молодым авторам русскоязычного мира. Приведите, пожалуйста, пример талантливого нового поэтического творчества...



К.К.: Выпускает «Пролог» Фонд СЭИП (президент С. Филатов), я – руководитель этой программы, на основе которой издаются и ежегодники из лучших произведений за год. . . . Талантами страна не скудеет, но всё-таки жаль, что нет нового поэтического поколения, какие бывали после войны, в шестидесятых и даже в восьмидесятых. . . . Сейчас наблюдаются отдельные талантливые явления, но они не делают «погоды». По отдельности же я бы отметил имена талантливых сегодняшних поэтов – молодых и сравнительно молодых: Елена Лапшина (Москва), Александр Кабанов (Киев), Мария Матвеева (Симферополь), Анна Матасова (Карелия), Ирина Евса (Харьков), Мария Малиновская (Гомель), Вика Чембарцева (Кишинёв). . . . Я уже не говорю об одесситах, которых люблю.

С.Г.: Из Вашей литературной студии вышли апологеты русской литературы конца XX – начала XXI веков. Каков рецепт? Какая царил атмосфера на Вашей литературной студии?

К.К.: Главный «рецепт» – обретение внутренней творческой свободы, верность себе. На студии я поощрял все поиски, даже чуждые мне. Старался создать такую культурно насыщенную атмосферу, которая сама и возвышает, и очищает. . . . И приучал ребят к откровенной критике, отучал от зависти. Опирался на тех, кто любит поэзию, а не себя в ней. . . .

С.Т.А.: Вспомните, какая книга или отдельное произведение произвели за последние пять лет на Вас наибольшее впечатление?

К.К.: Трудно ответить. Наверное, всё-таки это книга «Сумерки» Александра Яковлева.

С.Т.А.: Какие качества нового литературного журнала вы считаете определяющими для его успеха у «тонкого» читателя?

К.К.: Своя ниша. Своё лицо. Непохожесть на собратьев. И такое оформление, которое отвлекает от интернета, составляя особое эстетическое единство с текстом. . . .

С.Т.А.: Расскажите о своей последней книге, которая была выпущена.

К.К.: Это «Литературное досье. Кирилл Ковальджи». Своеобразная книга, выпущенная к моему юбилею, где попеременно тексты мои и обо мне, стихи и воспоминания, очерки и статьи. . . . Жаль, что тираж мизерный и до Одессы не дойдёт. . . .

С.Г.: Расскажите о той Вашей книге, которая грядёт в будущем.

К.К.: Сдал в издательство второй том «Моей мозаики» – первый был включён в книгу «Обратный отсчёт». Тоже вряд ли дошло до Одессы. . . . А ещё подготовил сборник новых стихотворений, но не нахожу издательства, готового рискнуть и выпустить нечто нерентабельное. . . .

С.Т.А.: Поделитесь опытом касательно дневника писателя, в этом жанре прославлены и Ф.М. Достоевский, и Жюль Ренар, и ранняя Анастасия Цветаева. Вы тоже ведёте дневник?.. Ваши прозаические книги дают право сделать такое заключение.

К.К.: Веду дневник, но спорадически, не систематически. Жаль, многое пропущено и забыто. . . . Однако стараюсь закрепить значительное из случившегося, а не всякие мелочи. До сих пор удивляюсь, что Николай II после отречения записал в дневник: «Спал крепко. . . .»

С.Т.А.: И, в заключение, философский вопрос – в чём, по-вашему, духовная суть таланта?..

К.К.: Талант – это возможность творчества. И только. Остальное зависит от личности, от характера, от времени. То есть, талант может не наполниться никаким духовным содержанием, пострадают и читатели, и сам автор. Например, Александр Тиняков. Был от природы талантлив, но личность оказалась мерзкая, кончил плохо. . . . Да, в мире талантов происходит тоже свой жестокий отбор. Исполать тому, кто обрёл свою духовную цель и смысл.

Беседовали Ст. Айдинян и С. Главацкий

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

Русские большевики
были разных кровей,
Поляк – не поляк,
грузин – не грузин,
еврей – не еврей:
красные –
знамя нового мира:
кто палач,
кто жертва,
кто донор –
спросите вампира!..

МОЯ КАРТИНА

– В последнем зале есть ещё картина,
она висит одна. Для вас откроем дверь,
вы – наш почётный гость. Мы вас так долго ждали. . .

. . . И я вхожу: освещена закатом
картина на стене в знакомой с детства раме –
сидит отец вполоборота к маме,
стол, скатерть с кисточками, три прибора,
печенье, чайник, помидоры,
на патефоне замерла пластинка
и – стул пустой с плетёной жёлтой спинкой.

– Родные ваши с вас не сводят глаз,
идите к ним, садитесь, стул для вас. . .

. . . Шагнул и оглянулся: жаль другую,
откуда я уйду, – картину в раме
снежинок, звёзд... дождей и яблок, звёзд. . .

БАЛЛАДА О ДОМЕ

– Как я жил? Я строил дом
на песке. Волна смывала. . .
Только в детстве горя мало,
если можно всё сначала
и не важно, что потом.

Шёл по жизни с другом рядом,
с женщиной встречался взглядом,
оставался с ней вдвоём:
занят был одним обрядом –
возводил незримо дом.
– Не поэты строят дом,
а поэт рождён бездомным,



одержимым, неуёмным,
жить он призван под огромным,
под вселенским колпаком. . .

– Но война повинна в том,
что всю жизнь я строил дом.
Шла война стальным парадом
по садам и по оградам,
двери высадив прикладом,
сапогами, кулаком. . .
Что я мог? Я строил дом,

спорил с холодом, огнём,
снегопадом, бурей, градом,
смертью, голодом, разладом,
одиночеством и адом:
что б ни делал – строил дом,
чтобы дети жили в нём,
чтобы женскою улыбкой
он светился день за днём. . .

Стены дома в жизни зыбкой
я удерживал с трудом.
– Хороши снаружи стены,
изнутри – нехороши,
и чреваты чувством плена
одомашненной души.
Парадоксы – аксиома,
это женщине знакомо,
той, что за и против дома,
что бунтует и в тоске
молча делает проломы
в стенах и на потолке;
а ещё – взрослеют дети
и мечтают на рассвете
дом покинуть налегке. . .

– Я любим и ты любима,
злые ветры дуют мимо,
но душа неизъяснима,
все мы строим на песке. . .
Я меняюсь вместе с домом,
он просвечен окоёмом,
мировым ночным объёмом -
дом висит на волоске,
он спасётся – невесомым,
рухнет, если – на замке.

Я хожу теперь по краю,
ничего теперь не знаю,
но перед любым судом
буду прав.
Я строил дом.

Малограмотным был, постигая постель,
И несъгтым уйду, при прощанье жалея:
жизнь прошла без эротики Эммануэль,
что под музыку Фрэнсиса Лея.
Впрочем, что ж я. . . Эротика всё же была:
вороватая – в послевоенных развалинах . . .
Репродуктор про славные наши дела
докладал со столба, – про великого Сталина,



а под ситцем нащупывали бедро
мои пальцы – в разведке той своевольный
был важнее и слаще, чем зло и добро,
плод запретный от Евы – подружки школьной.
Продолжается жизнь в мельтешении лет,
перед временем плоть отступает в бессилии,
не падит и Кристель. В миллионах кассет
наслаждается та – без теперешней Сильвии . . .
Но спасибо, что в образе Эммануэль
её голая правда в подарок оставлена,
чтобы гол был король, попиравший постель, –
без мундира товарища Сталина!

Суждено горячо и прощально
повторять заклинаньем одно:
нет, несбыточно, нереально,
невозможно, исключено . . .

Этих детских колен оголённость,
лёд весенний и запах цветка . . .
Недозволенная влюблённость –
наваждение, астма, тоска.

То ль судьба на меня ополчается,
то ли нету ничьей вины; –
если в жизни не получается,
хоть стихи получаться должны.

Комом в горле слова, что не сказаны,
но зато не заказаны сны, –
если руки накрепко связаны,
значит, крылья пробиться должны.

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

ХРОНИКА ОТНОШЕНИЙ С ДАВАРИЕМ БУХЕНФОРДОМ

рассказ

Понедельник, 18 августа.

Его зовут Даварий Бухенфорд. Я не знаю, что с ним делать. Звонит в половине первого, спрашивает:

– Какой у тебя код? – и кладёт трубку.

Какой код? На всякий случай ответила:

– Двадцать один.

Что теперь будет? Двадцать один – это очко.

Вчера еду, вдруг на капот падает ворона. Мёртвая? Торможу, высказываю, а она приоткрывает глаз и вежливо так:

– Будь любезна, дорогая, Даварий... – и абзац. Полный.

Чего – Даварий?

Появился он в моей жизни, не вспомню, когда и как. Сразу! Смотрю, а он уже сидит на кухне, пьёт друилок и втюхивает мне про вегетативное размножение диетилтринилитураторных вивекирибариев. На что мне это?

– Ты кто такой, – спросила, – а он губы трубочкой, воздух втянул и пошёл диван пылесосить с недовольным урчанием. Больше у меня нет дивана. Спылесосил.

– Верни диван, гад, – говорю.

Он бровки к ушам отвёл и отвечает:

– Претворил! И бутылку с друилоком протягивает:

– Оттянемся?

Попробовала. Девятые сутки наяву вижу сны последних ночей, проведённых на светлой памяти диване.

Ни смысла в этой истории, ни красоты. Ни конца...

Среда, 3 сентября.

Даварий пожаловался на президента:

– Понимаешь, он у меня парторгом был, ходил интеллигентно, в очках, с дипломатом. А теперь в цилиндре. На что ему цилиндр, он же к нему пиджак носит и галстук в крапинку.

– А ты внимания не обращай.

– Да я машинально. Утром он в лайковых перчатках был и брошка как у тебя. Твоя где? Я дом перерыл – не нашёл. – И, удивляясь:

– Ты что-нибудь понимаешь?

А что мне понимать, я у президента своё платье с брошкой вчера сняла.

Даварий сообразил, брови к ушам отвёл и спросил:

– А домой ты в чём вернулась?

Как ему сообщить, что я ещё не вернулась?

Четверг, 4 сентября.

– Даварий, где у тебя парторгом был президент?

– Ты ещё про зарплату спроси, – рявкнул Даварий.

– Даварий, а где ты сейчас получаешь зарплату?

– Ты что, уже вернулась? – Бухенфорд стоял в моей ночной рубашке и подщипывал брови рейсфедером.

– Хорошо, – примирительно сказала, – про зарплату можешь не говорить, но вот зачем ты в мою постель залез?

– Кто, я? – Бухенфорд откинул одеяло...



- Ты спал на животе, и рядом лежал мигающий ноут...
 – Даварий, – сказала я растерянно, – ты бы ещё президента рядом положил.

Воскресенье, 15 сентября.

Работа у меня – благотворительность. Мне и на жизнь хватает, и на брошенных девчонок с распухшими животами, что таят будущую угрозу для обидчиков. Излишки составляют мой прожиточный минимум, остальные деньги отдаю брошенным, с детёнышами.

Даварий Бухенфорд, поддерживая в трудную минуту, говорит мне душевные, эротические слова:

– Ты пока не состарилась, тебе полвека, и волосы у тебя до попки, и сексапил, как у нейтронной бомбы, в радиусе двухсот километров. И ты могла бы работать топ-моделью, но зарабатывала бы меньше. Их работа эротика, а они её путают с сексом. Ты же занимаешься ею, как занимаются аэробикой. Из удовольствия от красивого тела и любви к искусству!

Раздражает меня этими разговорами невероятно. Никак не пойму, кто такой Бухенфорд?

Вечно выуживаю его из кабинетов, гостиниц, погранных семейных спален – где он мстит за каждую обиженную выпуклость и впадинку. Одержимый раздвижными ногами, Даварий притворно – нежен, добивается встречи то с очередным членом на вырост, то с внезапным бюстом... для трибуны, неизбежно вновь попадает в кабинеты, гостиницы, погранные семейные спальни – где мстит... Вечно выуживаю его.

– Даварий, ты кому мстишь?, – спросила за чаем.

А он в ответ:

– Я не кому, я – за кого!

И не понять, сам-то – кто?

Четверг, 12 декабря.

– Сфокусированное в понедельник изображение к воскресенью расплывается... Напоминает процесс опьянения. Обострённая ясность восприятия в начале процесса, ну а в конце (в тяжёлом случае) – изображение как минимум двоятся, – сказал Даварий.

– Ты что, выпить хочешь?

– Ничего я не хочу, я наоборот, хочу!

– То есть?

Но Бухенфорд вдруг выгнулся, вздрогнул, искры пустил из ушей. И сказал – быстро! Быстренько дай мне гуталин и столовую ложку!

... Он ел гуталин столовой ложкой и смотрел в пространство. Скорую вызывать, или что? – соображала я. Бухенфорда лихорадило.

– Не надо скорой, – вдруг сказал он голосом моей бабушки, – вообще ничего для меня не надо. Сообрази, чего тебе хочется.

Я сообразила, захотела увидеть бабушку, но Даварий головой покачал. И вместо бабушки за столом, напротив меня и Давария, оказался человек невзрачный, глаза умненькие, нос уточкой. Выправка та ещё... Владимир Владимирович, сказала я спокойно, это не вы. Исходя из этого, мы и поговорим... .

Владимир Владимирович вроде как с усов крошку смахнул, жест у него такой часто повторяющийся, как слово-паразит. И тоже спокойно ответил – да отчего же, Ильза Сергеевна, давайте со мной, как со мной, разговаривайте, а не с дублем номер восемнадцать. А я повернулась к Даварию.

Даварий заёрзал и говорит – ну, все до восемнадцатого заняты. Страна большая, и международная жизнь напряжена, ну что ты выкобениваешься, считай, что повезло тебе, не всякому вообще выпадает.

– Выпадает что, с дубль восемнадцать перемигнуться за чайком?

– Ильза Сергеевна, – сказал Владимир Владимирович, – вы меня за кого-то не того принимаете. Я, собственно, только после 14 стану собою, а пока я Кумча... ммм – Игорь Витольдович. А вы что подумали, что я Пуфин Иван Васильевич, да?

Даварий фыркнул пренебрежительно, глотнул друилок и спылесосил – и Кумчу Игоря Витольдовича, и Пуфина Ивана Васильевича – претворил их, как мой светлой памяти диван. Так что друилока нам на неделю теперь точно хватит... .

Вторник, 24 декабря.

– Даварий, пошёл бы ты к чёрту.

– Не груби.

– Даварий, ты притомил меня.

– А ты абстрагируйся.

– Даварий, ну нет у меня больше слов, и вообще!

– Понял! Ты меня полюбила. И нечего переживать, мы не расстанемся с тобой!

О, Господи, – поняла я, – ситуация безнадежна. Что он вообразил?

– Ты что вообразил, что мы станем вести общее хозяйство, делить радости и горе, и разговаривать в

свободное от жизни время?

И тут Даварий мне всё объяснил.

После этого я написала о том, как убила своего сына Андрия, когда была Тарасом Бульбой, и сына Ивана, когда была Иваном Грозным, и когда Любовью Яровой, а потом Марией, помните «Сорок первого»? – своих любимых убила! И во всём была виновата идея.

Вот тут-то обалдевший критик Илья объяснил мне про Тренёва, Лавренива, Гоголя и знаменитого художника, написавшего общеизвестную картину. Но мне отшибло на нервной почве, которую добросовестно создаёт Даварий Бухенфорд, и я забыла имя художника. Илья объяснил мне, как я глубоко заблудилась насчёт своего авторства, я расплакалась, я сказала:

– Даварий, ты нехороший. . .

А критик сказал, что он – Илья, а не Даварий. А художника фамилия Репин.

И тогда я плакать перестала. Потому что – не хороший кто? Человек же – не скажешь о Бухенфорде. А – как? И я спросила у критика Ильи, который меня уличил:

– Вы его знаете? Вы видели Давария?

– Да, – ответил Илья. Даварий Бухенфорд – это диравитанир бикарамуд фарокидер.

С этих пор я опасаясь критиков, Давария Бухенфорда и передвигников, и ещё классическую литературу, в том числе советского периода. И вообще, у меня есть лимонка. На всякий случай.

Четверг, 12 декабря.

– Сфокусированное в понедельник изображение к воскресенью расплывается... Напоминает процесс опьянения. Обострённая ясность восприятия в начале процесса, ну а в конце (в тяжёлом случае) – изображение как минимум двоятся, – сказал Даварий, – а сегодня уже четверг!

– Ты что, выпить хочешь?

– Ничего я не хочу, я наоборот, хочу!

– То есть?

Но Бухенфорд вдруг выгнулся, вздрогнул, искры пустил из ушей. И сказал – быстро! Быстренько дай мне гуталин и столовую ложку!

Он ел гуталин столовой ложкой и смотрел в пространство. Скорую помощь вызывать, или что? – соображала я.

Бухенфорда лихорадило.

– Не надо скорой, – вдруг сказал он голосом моей бабушки, – вообще ничего для меня не надо. Сообрази, чего тебе хочется.

Я сообразила, мне бабушку хотелось увидеть – живой и тёплой, рядышком! Но Даварий головой покачал. И вместо бабушки за столом, напротив меня и Давария, оказался человек невзрачный, глаза умненькие, нос уточкой. Выправка та ещё. . . Владимир Владимирович, сказала я спокойно, это не вы. Исходя из этого мы и поговорим.

Владимир Владимирович вроде как с бровки крошку смахнул, жест у него такой часто повторяющийся, как слово паразит. И тоже спокойно ответил – да отчего же, Ольга Сергеевна, давайте со мной, как со мной, разговаривайте, а не с дублем номер восемнадцать.

И я повернулась к Даварию.

Даварий заёрзал и сообщил, что все до номер восемнадцатый – заняты. Страна большая, и международная жизнь напряжена, ну что ты как неродная, считай, что повезло тебе, не всякому вообще выпадает.

– Выпадает что, с дубль восемнадцать перемигнуться за чайком?

– Ольга Сергеевна, – сказал Владимир Владимирович, – вы меня за кого-то не того принимаете. Я, собственно, только после 14 стану собою, а пока я Кучма. . . ммм – Игорь Витольдович. А вы что подумали, что я Пуфин Иван Васильевич, да?

А Даварий фыркнул пренебрежительно, глотнул друилок и – спылесосил! И Кумчу Игоря Витольдовича, и Пуфина Ивана Васильевича – претворил их, как мой светлой памяти диван. Так что друилока на неделю теперь точно хватит. . .

Я его спросила – зачем? Зачем ты посиделки на моей кухне устраиваешь, а потом – друилок из них гонишь? Люди ж всё-таки.

– Зы – поперхнулся Даварий, плеснув друилока мне в чайк. Где ты людей видишь?

– Видела! Вот тут – оба двое сидели! Только что!

Бухенфорд сказал долгую фразу на непереваемом языке, смысл сведя к одному понятному слову: «холоймис». И, свернув из салфетки белянький гробик, упокоил его в мусорном ведре.

– Даварий Бухенфорд, – спросила я строго, – кто во гробе?

Даварий кряхтя полез в мусорное ведро и вдумчиво развернул гробик. Рядком-ладком лежали два президента – ну ты чё, сказал Бухенфорд, президентов не видела? Маленькие, чистенькие, как микробы. Микроба тварь нежная, в грязи жить не будет – и захихнул, скомкав, салфетку опять в мусорное ведро. Я, чтобы он не передумал, тут же вынесла ведро и высыпала в «альтфатер». Так эта грустная история и завершилась – сначала он их перекинул на друилок, потом во гроб положил. Потом в мусорное ведро, потом в «альтфатер», потом я включила телевизор, и мы увидели, как два президента в нормальную



величину и здравии отличном договаривались о двойном гражданстве граждан своих. И очень мне захотелось, чтобы у них получилось. Но это гад, Бухенфорд, всё испортил. Он спылесосил их прямо с экрана. Он их вновь претворил в друилок. И мы впали с Даварием в дурную бесконечность — не просыхали сутки, пока на друилок не пошли и Дума, и Верховна Рада, и тётя Муся консьержка из нашего дома, и Ванечка с хитрой рыжей мордой, и Иванушко Чубайчис, шипящий на нас по вечерам (за то, что неправильно смысл власти государственной понимаем), как сухая электрическая кошка, сбрызнутая последними каплями друилока.

1 января последнего года.

Даварий определил это утро — как первое утро последнего года.

Я расстроилась и закрыла день — как несбывшийся. Через пять минут Даварий Бухенфорд исчез из моей жизни навсегда.

Я поискала друилок... но друилок испарился.

И я поняла, что новый, 2004 год не задался. Год и вправду оказался високосным.

АЛАН ОСТАНИН

ОБРЕТАЯ ЛЁГКОСТЬ

рассказ

*Светлой памяти
моего деда, К.А.В.,
посвящается.*

Сергей Николаевич всегда боялся неприятного слова «крайний». В его мироощущении «крайний» — это тот, кого не посвятили в сущность дела, но при этом заставили нести полную ответственность за происходящее именно здесь и сейчас.

И когда приходится, преодолевая необъяснимую нервозность, свойственную большинству офисных работников долго сидящих на одном месте, занимать какую-нибудь очередь в какую-нибудь кассу, Сергею Николаевичу становится особенно не по себе.

Сегодня это досадное событие произошло с ним в огромном здании железнодорожного вокзала.

Становясь крайним, Сергей Николаевич чётко для себя отметил, что все стоящие впереди него субъекты ему глубоко неинтересны и, местами, даже отвратительны. Особенно: деревенская бабка с пустыми корзинами; зачуханный мужик в затемнённых очках с приклеенным ярлычком; парень-метросексуал в дорогих джинсах и куртке, с потёртым довоенным рюкзаком, непонятно откуда появившимся у него; полная женщина с двумя детьми, уставшая уже и от детей, и от своей жизни; а также все остальные участники очереди. Впрочем, всех других очередей тоже.

Но вот за ним занимают две девушки-студентки, и он уже не крайний. Маленькое бытовое переживание позади. Впереди — касса, где или не будет билетов, или сломается компьютер. У них всегда что-то не так. Впрочем, рядом с очередью всегда присутствуют молодцы, готовые в любой момент предложить решение любых проблем. Кидалы. Те, у кого билеты есть всегда.

Вот один из них, кстати, подходит к мужику в затемнённых очках, и предлагает помощь. Второй стоит сзади на дистанции в шесть шагов и делает вид, что он — не он. Контролирует ситуацию.

— Билеты не нужны?

«Потрясающий по глубине вопрос! Вы что, не видите, он за молоком стоит!» — мысленно сострил Сергей Николаевич, в глубине души радуясь тому факту, что подошли не к нему.

— Да, — медленно, самоуверенно отвечает мужик, всем видом демонстрируя, что он — не лох. — А что?

— Есть билеты по нормальным ценам. Без накрутки. Киев? Харьков?

— Киев! — громко ответил мужик.

«Ещё громче крикни, — продолжал мысленно язвить Сергей Николаевич, — гордится так, словно не в Киев, а в Монте-Карло едет! Вся очередь должна это слышать и завидовать! Вот за это сейчас тебя и разведут. По полной программе. Интересно, как они сразу вычислили, куда лошочек едет? Профессиональная интуиция?»

— Сколько? Один? Туда, обратно?

— Один. Только туда, сегодня.

— Ну, есть билет, — голосом старого знакомого сказал разводящий, увлекая мужика за собой, — идём за мной.

Мужик поднял свои вещи и пошёл следом.

— Ну, там всё нормально, без обмана? — на ходу спросил он.

— Конечно, те времена давно прошли . . . — дальше слышно не было.

«Классически сделали. С одной стороны — беспредел. Но! С другой стороны, очередь стала на одного меньше».

Касса работала довольно быстро, и люди недолго задерживались в ожидании билетов. Когда к окошку подошёл метросексуал, Сергей Николаевич уже мог его расслышать. Парень говорил сбивчиво, медленно и с трудом подбирая слова.

— Мне нужна станция Помощь . . . — произнёс он.

«Скорая помощь тебе нужна, а не станция».

— . . . щ . . . йе . . . стынц . . . чно. . , — раздалось из динамика.

— Я точно не помню, где-то посередине . . . Может, Помощница . . .

«Наркоман, что ли? Куда тебя несёт? Сидел бы дома».



– ..шн....

– Да, похоже, Помощная! А в котором часу приходит поезд?

– ... ноч... цать....

– Да, точно, она. А на какой поезд надо сесть?

– ... петровский... жирск... цать...

«На мой поезд. Наркоманов ещё не хватало».

– Спасибо, – медленно сказал парень, получив билет, и отошёл в сторону.

Бабка быстро подскочила к окошку:

– До Вынныци.

– ... летов..., – затрещал динамик.

– Як нэма? А шо робыты?

«О, ещё клиент для молодец».

– ... спетчер... чалница... пенс....

– А дэ цэ? Посвидчення в мэнэ е.

«Давай быстрее».

– ...ш...зл....

– Добрэ. Тара-а-ас! – завопила бабка и, схватив корзинки, убежала прочь.

Сергей Николаевич аккуратно, словно выдержав после грязной бабки паузу, подошёл к окошку.

– Днепропетровск, один сегодня туда, завтра обратно, – резко и по-деловому.

Кассирша поманипулировала с компьютером и заговорила через трещащий динамик:

– .. тались только плакатные боковые полки.

«Без проблем», – мысленно обрадовавшись наличию билетов в принципе, Сергей Николаевич положил деньги. Снова чётко и быстро, без лишних слов и движений.

Он во всём любил краткость и ясность. Пунктуальность и педантичность входили в число самых главных его добродетелей. При этом его тяжело было назвать снобом. Скорее *уставшим*. Человеком, уставшим от *пустословий* и *зрядживений*. Его напрягали бессмысленные разговоры на работе и вне её. Даже если необходимо было поддержать светскую беседу, он предпочитал отшучиваться и как можно скорее исчезать из общества. В последнее время раздражение вызывало практически всё: от телевидения и интернета до мяуканья котов и шума дождя. Причём дождь раздражал сам по себе. Раздражал, заставляя постоянно думать о не вовремя помытой машине и заляпанной новой обуви. Модные занятия в фитнес-клубах и йога не спасали ситуацию, а только усугубляли её, навевая мысли об абсурдности самого существования городского жителя.

Сергей Николаевич взял билет, сдачу и направился в зал ожидания. Спассти время до посадки на поезд должен был глянецовый журнал. Должен был, но не спас. Читать ничего не хотелось, и журнал пришлось отложить для поездки или для ланча в офисе партнёров.

Партнёры по бизнесу. Стратегические партнёры. Примечательно, что в деловых отношениях с партнёрами у Сергея Николаевича царил общая гармония и взаимность. То есть ему было наплевать на них. Им было наплевать на него. Всем друг на друга было наплевать. Люди бизнес-эпохи достигли удивительных вершин в тотальном безразличии, довели его, можно сказать, до совершенства и обволокли себя его упругой непроницаемой плёнкой. И теперь, чтобы тебе улыбались, чтобы тебя уважали или хотя бы не игнорировали, ты должен быть здоров, вынослив и находиться на гребне успешности. Одна оплошность – и ты уже не интересен, отступился – и твоё место уже занято. И поэтому расслабляться нельзя. И даже размышлять об этом не стоит. Сейчас любой продвинутый менеджер знает, что мысли материальны, а значит, думать надо только о хорошем, качественном и дорогом. А от нездоровых и ранимых мыслей есть огромное количество заменителей в телевизоре, компьютере. . .

Да, к чёрту их, эти мысли, тем более, что на центральном вокзальном табло загорелась надпись, оповещающая о подаче поезда на Днепропетровск.

Зайдя в вагон, Сергей Николаевич практически сразу увидел метросексуала из очереди. Парень сидел на одном из боковых сидений и безучастно смотрел в окно.

«Похоже, это тот наркоман. Так. Деньги и документы у меня в нагрудном кармане. Хорошо. Дипломат придётся положить под голову».

– Место сорок восемь здесь? – глядя в свой билет, машинально спросил он.

Парень оторвался от окна и рассеянно уставился на него. Потом выдал из себя: «Наверно», и вернул взгляд в прежнее положение.

«Наркоманы нам не друзья!» – мысленно проговорил жизненное кредо Сергей Николаевич и уселся напротив парня.

Ему предстояла очередная плохосонная ночь в поезде, в придачу рядом с неадекватной личностью. А после ночи ужасное утро с больной головой и очередью в туалет, причём с дипломатом, от греха подальше. Тут Сергей Николаевич вспомнил, что его попутчик брал билет до какой-то промежуточной станции.

«Помощная, если не ошибаюсь. И слава богу. Хотя утром поспокойней будет. Интересно, что он за»



был на этой станции. В модном наряде, в дорогой обуви будет месить грязь в деревне? К родственникам едет. К бабушке и дедушке. Родители заставили. Сам бы он никогда не поехал. Стоп. Он, кажется, не знал даже, как правильно называется станция... Совсем мозги затуманил».

Поезд незаметно тронулся. Теперь надо придумать, чем себя занять хотя бы на полчаса. Сергей Николаевич окинул взглядом пассажиров и снова посмотрел на парня.

«Оделся бы хоть по-спортивному. Едет, не знает куда... Интересно, что ж он там забыл? Впрочем, это не моё дело».

Сергей Николаевич попытался отвлечься и мысленно проиграть завтрашнюю встречу с клиентом.

– Ваши билетки, – раздался голос проводника. – Постель брать будете?

– Да, – ответил Сергей Николаевич и достал бумажник.

– Это обязательно? – вдруг спросил парень.

– По желанию! – недовольно ответил проводник. – Заставлять никто не будет. Так будете или нет?

– Нет, наверное... Боюсь пропустить станцию.

– Где вы выходите? – проводник посмотрел в билет. – Помошная. Тогда можете не брать.

– Если можно, предупредите меня минут за двадцать. Хорошо?

– Хорошо, хорошо, – быстро бросил проводник и пошёл дальше, – билетки показываем...

Теперь попутчик уже не казался Сергею Николаевичу неадекватным наркоманом. И ему снова стала интересна цель поездки на станцию Помошная. После недолгих колебаний он решил прояснить ситуацию.

– Я прошу прощения, – начал он, – вы едете до Помошной?

Парень удивлённо посмотрел на попутчика.

– И что?

– Ничего, ничего... Мне просто стало интересно узнать, к кому вы едете... Вы ведь там никогда не были.

Ещё большее удивление повергло парня в полный ступор.

– Не хотите, можете не отвечать, – продолжил Сергей Николаевич.

– Откуда вы... знаете это?

Сергей Николаевич мысленно похвалил себя за свою наблюдательность и сказал:

– Не хочу вас смущать. Я стоял в очереди за вами, когда вы покупали билет. По тому, как вы это делали, об этом было не сложно догадаться.

– А, вот оно что... Да, я еду в первый раз, – задумчиво произнёс парень. – И в последний.

– Там что-то случилось? – неуверенно спросил Сергей Николаевич.

– Там?! Ничего.

– Почему же *первый* и *последний*!

– Вряд ли вам будет интересно, – парень явно был не намерен говорить.

Сергей Николаевич пожалел, что начал этот разговор, быстро достал из дипломата журнал и погрузился в чтение.

– Хотя... – вдруг сказал парень, – я могу рассказать.

Сергей Николаевич отвлекся от журнала.

– Не знаю, как получится... ещё никому не рассказывал... Я вообще-то люблю общаться... Но сейчас... Меня, кстати, Артём зовут. Вот...

Он вдруг позвал проводника, заказал бутылку пива, и когда её принесли, не останавливаясь, выпил до дна. Потом заказал ещё.

– Выполняю волю деда... – совсем тихо сказал он.

– А-а-а... Дело нужное. А в чём воля состоит?

Артём промолчал. Он долго смотрел в окно, потом перевёл взгляд на столик, потом невпопад начал говорить:

– У меня был дед... Жил какое-то время... Он, там, на войне был, потом у меня... У вас есть дед?

– Умерли оба. Давно уже.

– А мой... вот... – произнёс Артём, прикладываясь ко второй бутылке.

«Паренёк что-то совсем расклеился...», – подумал Сергей Николаевич, глядя на собеседника. Артём выпил на этот раз половину, взял бутылку между ладоней и принялся медленно крутить, как будто пытался высечь огонь пещерным способом.

– ... умер. Но сначала он приехал ко мне. Месяца два назад. Позвонил, сказал, что заедет перед госпиталем, и приехал. Отношения у нас уже много лет были дальнородственными. Я мог с родителями заехать к нему на пару дней, он иногда приезжал в госпиталь, я навещал его. Знаете, как сейчас общаются родственники? Без эмоций. Как в бизнесе – ничего личного. У меня своя жизнь. У него – своя. Я – в Одессе, в квартире в спальном районе. Он в райцентре, далеко от нас, в своём доме.

И вот он приехал. Обычный приезд. В тот момент я был занят выяснением отношений со своей мамой, и поэтому сильно не обрадовался. Дед, видимо, понял, что он не вовремя, и как-то очень быстро выпил чай, попытался развеселить мою маму, потом позвал меня и сказал, что ему нужно оставить у меня свою сумку, и если я не возражаю – а мне в тот момент было до лампочки – то после госпиталя он заедет ко мне поговорить. И уехал. О его приезде я сразу же забыл. Сумка осталась в коридоре. Я занимался личной жизнью.

Артём сделал глоток. Сергей Николаевич молча смотрел на попутчика. Особого интереса рассказ не вызывал, но спать ещё не хотелось, поэтому он готов был слушать.

Артём продолжил:

— Дед несколько раз звонил и спрашивал, как у меня со временем, чтобы приехать в какой-нибудь вечер. Сначала я находил всевозможные причины для отказа, а однажды, когда мы вдрызг разругались с моей подругой, я сам позвонил в госпиталь и пригласил его. Он приехал очень скоро и был в очень хорошем настроении. На ходу рассказывал байки про госпиталь, про весёлых медсестёр, как он за ними ухаживал, в общем, создавал настроение семейного вечера. Из сумки он достал небольшую жестяную коробку, старый рюкзак — я тогда ещё не обратил на них внимания — и несколько бутылей домашнего вина собственного производства. Он сам накрыл стол, мы сели, выпили вина, начали говорить о погоде. . . Представляете? О погоде! словно чужие люди. Впрочем, меня в тот момент интересовали только мои личные проблемы и больше ничего. . . Я варился в своём котле. А тут какой-то дед со своим госпиталем и какими-то болезнями. . . Я раньше не обращал внимания, что вино и вина — созвучные слова.

— В каком смысле?

— В прямом. Я это понял. Тогда. После второго стакана. Вместе с вином в меня влилось чувство вины. Вины перед родным человеком, который меня в детстве воспитывал, а я даже не знал причину его приезда в госпиталь. Я резко прервал наш гидрометеоразговор, и спросил деда о болезни. Он тогда ответил: «Да ничего страшного, давление. Уже два инфаркта было. Врач сказал, что надо пролечиться, чтоб не было третьего». — Артём вдруг начал говорить быстрее. — Меня тогда как молотком ударили. Оказывается, у деда уже было два инфаркта! А я и не знал, и не утруждал себя думами на эту тему. Дед начал утешать меня: «Ты, — говорит, — не сникай. Это нормально в моём веке, мне за восемьдесят. Люди рождаются и умирают. Женятся и разводятся — это нормально». Я помню, начал нести страшную чушь про заботы, про суету сует. . . Он спросил меня о личной жизни, и я охотно рассказал про мои любовные страдания, про «пора жениться», про. . . ну, в общем, ерунду всякую. Дед выслушал меня, предложил ещё выпить и рассказал о себе.

Артём сделал паузу, как-то посветлел и начал говорить ещё быстрее.

— После войны дед сразу женился. Красавец, офицер, не калека. Сразу карьерный рост, горком, служебная машина, квартира. Верный друг-фронтовик. Подъём страны, много работы. Родился сын. Болезненный, правда, но сын. Короче, состояние счастья советского человека, пережившего войну. Беда пришла откуда не ожидал. После шести совместных лет жена ушла к другому. И не просто к другому — к тому фронтовому другу. Они ещё и работали вместе. На работе все знали об их романе. А дед. . . он не заметил, не обратил внимания, не уследил. Доверял и ей, и ему как себе. . . Состояние шока прошло не сразу. Тряслись руки, болело сердце. Через время пришёл к другу спросить о долге и чести. А узнал о любви и судьбе. Попытался понять, есть ли на земле верность и дружба. А выяснил, что на свете главное — это настоящие чувства. Не выдержал. . . сорвался. . .

Друга того скорая увезла. Бывшая жена пригрозила судом. Вещи свои собрал и уехал в другой город. Новая работа, новые друзья. Бабушку мою встретил. Говорит, влюбился страшно. . . Много о ней вспоминал. . . Сильно переживал, что пришлось пережить её на четырнадцать лет.

Артём замолчал. Допил пиво, ушёл с пустой бутылкой, вернулся и продолжил:

— Потом рассказывал о своей жизни, о людях того времени, о трудностях, о том, как перебивались от зарплаты до зарплаты, но ничего не говорил о войне. Я пытался спрашивать, ведь у него было много орденов и медалей, и как мне казалось, должны были быть интересные истории, но он начинал вспоминать о каких-то людях и как-то сразу переводил тему на их дальнейшую судьбу: что происходило в мирной жизни, где учились их дети. Я даже начал посмеиваться, что, мол, деду политиком надо было работать, что, мол, от прямых вопросов ловко увиливать получается. Он тоже со мной смеялся. А когда я уже перестал спрашивать о его боевых подвигах, он вдруг сказал, что на самом деле очень не любит вспоминать войну, потому что очень больно. В душе очень больно. И время ничего не вылечило, и, видимо, это невозможно никак вылечить, нельзя спокойно вспоминать этот ужас, страх ежеминутной смерти, вонь трупов, обгорелые тела. . . Но один эпизод он, сказал, должен мне рассказать.

Артём остановился и долго смотрел в тёмное окно. Молчание затянулось, но Сергей Николаевич не торопил его и терпеливо ждал. В какой-то момент глаза Артёма заблестели, и, словно на него что-то нашло, он, слегка переменявшись в голосе, начал говорить от первого лица, да так неожиданно, что Сергей Николаевич не сразу понял, что Артём говорит словами своего деда.

— «Тот случай навсегда в мою память врезался. А в последнее время вспоминаю его особенно часто. Это был сорок четвёртый год. Мы наступали. Бои шли около станции Помошная, — никак не запомню это название. — С утра и до полудня. Наш танк первым ворвался в очередное село. На одном из загибов я не справился с управлением и въехал в низенькую хату. Застрели мы. Пришлось отстать от основной группы. Пока мы ждали помощь, я вылез воздухом подышать и услышал звон стекла в подвале за хатой. Мы с командиром осторожно открыли крышку и начали кричать в темноту, кто, мол, там, выходи, сдавайся. Там тишина. Я думал гранату бросить, но меня такой страх взял, а вдруг там старик какой или раненый, слова произнести не в силах. И точно, снова кто-то по стеклу начал бить, легонько так, еле-еле. Я набираю смелости, беру фонарь и спускаюсь. А там, у самой дальней стены, за пустыми бутылками мальчонка лежит. Меня не видит, а только палкой по бутылкам елозит. Я спрашиваю — ты кто такой, а он шурит, привыкнуть к свету не может и только шепчет: «Наши. . .». Я его аккуратно взял — и наверх. Там мы ему



водички, а он глаза открыть не может, солнца давно не видел, за руку меня держит и повторяет: «Наши, солдаты русские. . .». Я одежду его снять хотел, а рубашка к коже прилипла, не отстаёт, проклятая. . . Вижу, раны у него большие, гнойные. Да и сам дышит через раз. Спасать дитя надо, а танк наш ни вперёд, ни назад. Помоги нет. Короче, я взял его на руки и на своих двоих побежал назад, к нашим, чтоб в госпиталь отвезли. А бежать далеко. . . километров двадцать. Я бегу, а он меня обнимает и тихо так рассказывает, что его Коля зовут, что он один остался, давно один остался. Кого фашисты расстреляли, кто сам от голода помер. А он не умирал, он ждал наших. И дождался. Спросил, возьмут ли его теперь в Красную Армию. Я пообещал, что обязательно возьмут, такого героя. Дышал он всё хуже и хуже. Потом ещё раз спросил, точно ли его возьмут в солдаты, и замолчал. Навсегда. . . Принёс я его уже неживым. Не успел. . . Похоронили его в поле, вместе с погибшими, как маленького бойца. Который дождался своих.

Потом на стволе танка я краской написал: «Привет от Коли». Я парень был незлой, простой, крестьянский. . . Но после этого. . . Злость сама внутри вскипала, готов был рвать фашистов голыми руками. Жалко, что ранили под Будапештом. Там моя война и закончилась. До сих пор немецкую речь слышать не могу. Сразу Колю вспоминаю. Как бежал с ним, как хоронили. . .

Артём жадно слотнул подкативший ком к горлу.

— . . . «Я, — сказал дед напоследок, — прожил тяжелейшую жизнь. . . В ней было всё: война и мирное время, любовь и предательство, счастье и разочарования. . . Я испытывал разные чувства. Разные, кроме одного. . . Чувства лёгкости. И только сейчас я начал ощущать его. Это значит, что мой путь пройден. Я скоро помру. Не хочу, чтобы это событие стало для кого-то обузой. Не перебивай меня. Я помру в госпитале. Спокойно, под присмотром врачей. Не хочу никаких панихид и похорон. Никому не сообщай об этом. Не хочу отпеваний. Я никогда не был верующим и не собираюсь становиться им сейчас. Из госпиталя позвонят только тебе. И вот, что я попрошу. Выполни мою последнюю просьбу — тело кремировать, прах сложить в коробку и потом развеять по ветру. Но только в одном месте. Там, где мы нашли и похоронили Колю. В поле, где шли наши танки. Там, где мы ковали победу. Там, где нас ждали. . .»

Артём замолчал, и из его глаз покатались слёзы.

Потрясённый Сергей Николаевич не мог произнести ни слова. Мощным молотом слова парня разбили омертвевшие жалюзи равнодушия, отгораживающие сердце от эмоций.

Ему тоже хотелось плакать. Он хотел выразить парню слова соболезнования, но понял, что звучать сейчас они будут предельно пошло. Сейчас любые его слова будут звучать пошло. Стало плохо от осознания того, что уже привык жить в условиях подмены понятий о добре и зле. Что оценивает людей не за человеческие качества, а за умение делать деньги. Что давно уже не говорил с родителями о простых вещах, о том, что их волнует, о том, как они прошли свой путь, чем жили, о чём думали, что чувствовали. Что и он, и жена заняты карьерой, престижем и самовыражением в мире, где никому это по большому счёту не нужно.

И, в конце концов, что он не может написать со всей яростью «Привет от Коли!» Некому! Все в костюмах и с благородными проектами! Но ведь так же убивают! Убивают не тела, а души. Вынимают из тебя всё человеческое, пропагандируют лживые смыслы, делают офисным рабом, сжигают твои эмоции, утоняют твои таланты.

Где теперь свои? Где наши? У телевизоров? Разжижают мозги винегретом из телешоу и новостей? А утром бояться опоздать на работу? Корпоративный дух аккуратно заменил боевой?

Где армия, которая спасёт наши души? Где наши танки? На чём самой яркой краской вывести «Привет от Коли». На чём?! На своём дипломате? На ручке «Паркер»? На ноутбуке? И потом угрохать этой «железкой» своего работодателя? Поставщика «мяса» для финансовых господ. . .

И если душа изранена, истерзана и болит, то куда её нести на руках двадцать километров? Куда?

— Можно я пойду с вами, Артём? — неожиданно спросил он.

Артём непонимающе посмотрел на попутчика.

— Я не знал ни одного, ни второго своего деда. . . Они оба прошли войну, но я даже не знаю, где их награды. На похоронах одного из них я присутствовал, но. . . но и всё. Раньше я хотел узнать о них больше, но потом всё затёрлось, и это желание растворилось в пустых заботах. Сейчас я чувствую свою вину. . . Мужскую вину. . . С прошлым — связи нет, а о будущем — боюсь думать.

— Помошная через десять минут, — раздался негромкий голос проводника.

Сергей Николаевич посмотрел на уходящего проводника, затем на Артёма, и продолжил:

— И самое ужасное, что у меня нет настоящего. Настоящего занятия, настоящей жизни, настоящих целей. Я сам — не настоящий. Ваш дед. . . он был настоящий.

Артём достал из-под сидения потёртый довоенный рюкзак и сказал:

— Идёмте.

Глубокая ночь. Станция, освещаемая несколькими мощными прожекторами. Холодно и страшно.

Артём сразу направился по дороге в темноту. Сергей Николаевич поспешил за ним. Видимость была плохая, они то и дело спотыкались, вязли в лужах, но шли дальше. Молча. Долго.

Как только забрезжил рассвет, вдалеке показалось несколько деревенских домиков.

— Что за селение? «Полный Бред»? — вглядываясь в облупленный дорожный указатель, удивился



Сергей Николаевич.

– Нет, «Песчаный Брод». Почти пришли. . .

Ещё до восхода солнца они вышли на огромное пшеничное поле, простирающееся по всему горизонту.

– Нам нужна башня, – коротко бросил Артём.

– Башня? Здесь где-то старинная крепость? – поинтересовался Сергей Николаевич, но ответа не получил. Он присмотрелся и с трудом заметил водонапорную башню, одиноко стоящую посреди поля. Артём, словно хорошо знал эти места, быстро обнаружил тропинку и уже исчезал в высоких колосьях. Сергей Николаевич спохватился и, чтоб не выпустить его из виду, побежал к тропинке.

Поход сквозь поле казался бесконечным. Башня упорно не появлялась. Когда Сергей Николаевич уже был уверен, что они заблудились, точно из ниоткуда выросла гигантская кирпичная бочка с лестницей на боку и неприметной надписью «1925г».

Артём остановился.

Вокруг валялись разбросанные тракторные колёса, карданы, обломки моторов и механизмов. Из земли поднимались и исчезали в башне толстые трубы с ржавыми поломанными вентилями.

Обхватив нижнюю перекладину лестницы обеими руками, Артём подтянулся и встал на неё ногами. Сергей Николаевич, поставив дипломат на землю, тоже попытался подтянуться, но получилось у него только, дёргая ногами, нелепо повиснуть в воздухе. Артём одной рукой обнял страховочное ограждение, а свободную руку протянул Сергею Николаевичу. Через несколько секунд тот примостился на нижней перекладине. Они начали подниматься по скрипучей лестнице, вызывая громкие глухие раскаты и вибрацию.

Поднявшись на верхнюю площадку, Сергей Николаевич с горечью посмотрел на свои чёрные руки и измазанный костюм.

– Немного испачкались? – спросил Артём.

Сергей Николаевич глубоко вздохнул.

– Да пустяки.

Они подошли к перилам и стали спиной к ветру. Солнце приподнялось над горизонтом и ярко осветило поле.

Артём снял рюкзак, развязал и достал из него жестяную коробку с прахом.

– Я не знаю, что говорят в таких случаях. А вы?

– Зачем что-то говорить.

– Ну, да. Он не любил пустых слов. . . – Артём открыл коробку. – Прости, дед, если что не так, – и начал аккуратно высыпать пепел.

«Мир праху твоему».

Ты заслужил покой. Покой, к которому стремился.

«Мир праху твоему».

Весь мир принадлежит тебе. И ты принадлежишь миру.

«Мир праху твоему».

Твой путь больше ничто не тяготит. Ты обрёл лёгкость.

ЕФИМ ЯРОШЕВСКИЙ

ИЗ КНИГИ «ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР ЮГА»

РАЗГОВОРЧИКИ С НЕБОЖИТЕЛЕМ,
или Прощание с текстом

И.Б.

Я тебе подражаю только сегодня.
На тебе, должно быть, печать Господня.
Всем известно: Муза – большая сводня.

Невозможно дважды – и в ту же реку.
Эта жизнь превращает меня в калеку, –
помогите увечному человеку!

Там, где каждый твой сокамерник – смертник,
где закат над Нарвской заставой меркнет,
там тамбовский волк тебе не соперник,
лишь балтийский ветер тебе напарник,
только звёзды одни и ты – Коперник.

Там того и жди, что ворона каркнет
да товарищ в сердцах за решётку харкнет.
Там свободой уже давно не пахнет.

А когда в небесах разверзнутся хляби,
скажет дядя Исак (он мудрец и рабби):
«Время близко, поздно кричать о драме.
Ибо самое время вспомнить о маме.
Ибо самое время кричать о потопе.
Жаль, что нет кипы в твоём гардеробе:
ты надел бы – и жил бы себе в Европе...»
Там сосед твой с утра не вяжет лыка,
в двух шагах от Петра не услышишь крика,
там с утра в стране назревает драка,
там опасно жить и любить вне брака
(вижу слабый свет в глубине барака).

[...]

Так и будешь писать, как в отчизне плохо:
дескать, нет там выдоха, нет и вдоха,
и стоят дома со времён Гороха,
на дворе зима – такова эпоха.



это тайна моего говорения
 это заговор твоего молчания
 тихо входит в стихотворение
 небывалый опыт мычания

в этом смысл моего влечения
 языка моего одичание
 звук таинственного речения
 и неведомых слов звучание
 если строчка полна значения
 значит слов золотое свечение
 чьё-то высшее поручение

в небесах идёт совещание
 о путях земного вещания
 о новейших путях изучения
 поэтического излучения

значит, тайна стихосложения
 неземного происхождения

СТАНСЫ ВРЕМЕЧКА

Там где в рощах танцует виагра,
 где от крови намокли штаны, —
 улетает правительство в Гагры,
 разрывается сердце страны

где шумит подо мною Арагва,
 там в далёкой отчизне видны
 у Тургенева злая подагра
 и у Чехова комплекс вины.

Где убогая армия турка —
 (злые сабли криви не криви) —
 обнажаются дети Панурга,
 осыпается Спас-на-Крови.

Но поднимется ссученный урка —
 и на свежих наколках видны
 вислоухая армия турка
 и рука долгоруккой Москвы.

Значит, снова в объятых придурка
 мы окажемся в пятнах вины...
 О, туманные сны Петербурга
 на обломках берлинской стены!

Где остатки гнилого окурка
 там сквозь пламя пожаров видны
 воспалённые сны демиурга
 и лампы великой страны.

... Но синий декабрьский денёк,
 но нежность оттуда,
 где горем залитый белок
 горяч, как Иуда.



Покуда чеканят гроши
над гробом событий,
играют в лапту латыши
в предгорье наитий.

Пока голубеет река
в тазу, как в лазури,
играет поллитрой рука
в предчувствии бури.

ЛЕТО 1952 ГОДА

Авианосец «Миссури», корейская длится война.
Шоколадные пляжи в песках синим спиртом облитого лета.
Обливаются потом купальщицы спелого цвета,
Обнажаются мальчики цвета цветущего льна.

Ледяные фужеры небес, мутно-алого моря дурная волна,
Профиль греческой девы сквозь горячую прорезь
ночного прицела отмечен,
где промеж городов разлеглись раскорячась
Харибда и Сцилла, Бригелла и Стелла,
где дантова печень, —
молодая Брунгильда дымится на солнце, черна и вольна.

ПЕРЕХОД

Через четыре границы,
через кордоны морей
я пробираюсь к столице,
маленький тихий еврей.

Я оккупировал гетто,
проволоку приволок,
выступил в сумерках лето
и побелил потолок.

Тихо в просторной каморке,
свечи спокойно горят.
Чехов, Скиталец и Горький
между собой говорят.

... Осени лёгкое бремя,
вечер в закатной пыли.
Медленно движется время,
вечность мерцает вдали.

ПОЭТ И ДОЖДЬ

Свидетель певчих птиц обласканный богами
насмешник, и мудрец, и чтец ненужных книг,
он в тайны бытия задумчиво проник,
он химик, он поэт, он физик, он ботаник,
он скрылся от царей, он убежал от нянек,
весёлый властелин, таинственный изгнанник,
незримых городов окаменевший странник,
обрызганный дождём, он страшен и велик!

Как первый летний дождь, он прошумел над садом,
как Тютчев и как Фет — над пашнями страны.
Там девушки лесов, печальны и стройны,
покорно и светло ложатся с бардом рядом.



Он понял жизни суть, он знал: век Музы краток,
он в пламенном бреду прекрасно занемог.
(Там молния воды течёт между лопаток
и тёплую струёй стекает между ног.
Там шабское вино – и пробка в потолок!)

Великолепный дождь! Он прошумел над прозой,
над прелестью стиха, над пропастью воды, –
и первый летний гром был первою угрозой,
предчувствием венца, предвестником беды.
Когда в ночной тиши блеснёт шальная гривня
(последняя!) – и бард опять уйдёт в запой, –
на улице, где дождь шумит на мостовой,
он до сих пор стоит, глотая слёзы ливня,
и смотрит в ту страну,
где воля и покой.

ГАЛЯ МАРКЕЛОВА

ПЛАЧ ПО АНЕ ЯБЛОНСКОЙ

*

До-до-до – боли гуд
Дома – дома – Тут...
Деды, деды, принимайте-ка свою язычницу -
Жертва – лучшее всегда, отличное.
Глядь, взметнулось прямо до небес
Золото волос ...остального без...
Здесь, в сенях столетия двадцать первого,
разметнулся портг... аэро,
разгулялись расхождения быта с верой
в До-мо-де-до-во...
Режиссирована не тобой премьера
кро – во – бре – до – ва...
Опоясанная поясом шахида,
зависть тёмная углём зрачка наводит цель -
чёрную дыру встречай пролётом из Аида...
О, Алла Акбар, того ль хотел?
Разве мудрость твоего послания в Коране
Не любовь, а кровоточащая рана?
Может быть не так уж и не прав Рушди?..

*

Карабаса хлыст свистит исправно ли,
призрак кровной мести поднимая из пыли?
Адских кукловодов умысел кручёный –
варвара, язычника в моей крови
завести считалкой немудрёной:
*«вышел месяц из тумана,
вынул ножик из кармана
буду резать, буду бить,*
с кем останусь я...» – здорово вставляет? Но...
С кем о-с-та-ну-ну-ну...но...

*

Пусть мигнут меня
видения пророка из Патмаса,
сказавшего давно, что, встретив человека,
я убегу от ужаса, от стресса,
провидев зверя в сродном лике.



*

Застигнута, зажата между двух –
райской избранностью и рекрутством адовым –
живу не так, пишу не то, что надо,
не вспоминая, что за Слово взыщет Дух.
Ах, девочка, какие там награды?! Что нам призы,
когда слова прощенья
уж никогда не вымолит язык?

*

Как много слов ненужных и не тех
мы ради призрачных несём утех,
А ради красного словца
запутаны в сетях лукавого ловца,
так слов бессмертную основу
утрачиваем в слизи пустословья.
Прости творец и праотец Адам
приверженность к эрзац-словам!

*

Есть натуга ль между Западом – Востоком?
Мир – зеркален, и одна в нём петушится муть:
варварство везде жестоко,
всюду вскармливают мракобесье
вытяжкой из сатанинской смеси,
вольтова дуга искрит между дворцом и хатой,
мир голодных поперхнулся сытостью богатых,
и рождаются у нас, увы, не детки –
донорские органы да стволовые клетки. . .
Жуть! Она же – немощной морали суть!
Вот и политолог подморгнул – «смирись-ка,
новые теперь у жизни риски!»

*

Жуй ириски да живи в крошечном страхе:
вход в метро – вступление в мир инакий. . .
Алчущая зрелища толпа –
дети малые, что вне добра и зла, –
вирус вколотой шизы ей
вакуумной бомбы пострашнее. . .
Фобос – спутник низкого Плутона
и понятно, из какой колоды
и какого тона,
а какой её мусолит шулер
выпадает – жив ты или умер.
Выпадает, падает. . . увы. . .

*

Мы, увы,
мы – мухи мезозоя, влипшие в янтарь,
шебаршимся, увязая в дьявольском отваре,
а не с нашей ли подачи лик врага формировали
внешнего и внутреннего толка
на толчке застигнутого и не только?..
А слюнявый юдофобства флёр,
не родной ли наш фольклор?



*

Что? Икается Вам, выкормыши, Зьжи и Рязани?
Ну, а с площади Тахрир, в Каире,
призрак Че какое шлёт посланье?
Как мне больно, девочка, как стыдно
за «бомбиста» притаившегося в этом мире.

*

До-до-до – над Соборкой – боли гуд. . .
Ангелы и серафимы
Богу бережно несут
рифмы, ритмы, рифы-рифмы. . .
Не статисткою в спектакле изуверском,
а предстательницей света, веры
там поёшь, про то, как жаль коленок. . . .
Что коленки?
Души ведь нетленны. . .
Все миры, что бусины на нитке,
общность – неопознанный каналец,
а поэт – поэт первопроходец и посланец –
выдох губ на флейты полом теле –
жизни выдох – звуки полетели. . .
Подскажи хоть стрелкой на коленке
курс любви во взорванной вселенной.

ИЛЬЯ РЕЙДЕРМАН

СОЛНЦЕ ПОСЛЕ ДОЖДЯ

У живущих во времени – нет бытия.
Бытие у того, кто сквозь гору
времени роет подкоп, не тая,
что подобен он зеку и вору.
Он из времени хочет бежать, из тюрьмы,
соблазняющей сладкой свободой.
И не хочет ни персиков он, ни хурмы,
ни прижизненной славы, ни мёда.
В толще времени – вечности ищет родник,
(с жаждой вечной и вечной отвагой).
Он устами к ладоням любимой приник,
что смогли зачерпнуть эту влагу.
И когда утолят свою жажду уста
и прозреют омытые очи –
где же жизни былой нищета и тщета?
Тайна лиц. Тайна дня. Тайна ночи.
Где все вещи, что в скудной своей наготе
наши взоры смущали напрасно?
Бытие, что во всей полноте, красоте.
Жизнь, что только в любви и прекрасна.

Я паучок. Плету такую сеть,
чтобы ловить в неё отнюдь не снеть,
а то, чего не выпить и не съесть,
но что на свете, слава богу, есть.
Я – на тончайшей нити паучок.
Нить – с облака. Об остальном – молчок.
Не смею ибо рассказать пока,
как я живу, держась за облака.
Пока люблю, и нет любви конца –
качаюсь возле твоего лица,
и, затаив дыханье – не спеши.
Молю – поосторожнее дыши!

Боюсь я, что какой-то рак,
ну а не рак – так просто рок,
жизнь обрывая просто так,
рванёт стоп-кран, нажмёт курок.
Ищи потом среди бумаг,
в пустых пробелах между строк:
что мог сказать – сказал не так,



а что хотел — сказать не смог.
 Ветшает плоть и крепнет дух,
 и взгляд всё больше смотрит ввысь,
 и ловит ослабевший слух
 тишайшее: поторопись!
 Пока, как глину, мнёт рука
 слова, чтоб смысл явить. Пока
 строка, что пишется, — твоя.
 Пока в ней голос бытия. . .

А ночь просторна, а душа упорна, —
 и нужно штопать времени дыру.
 Чтоб истины, никем не зримой, зёрна,
 быть может, проросли, когда умру.
 Так сон влечёт! Но лишь прикроешь веки —
 провалишься в захламленный подвал.
 И, хоть уснул, конечно, не навеки,
 но книгу не дочёл, но мысль — проспал.
 Нас усыпляет индустрия бреда.
 А жизнь живая — выделки ручной.
 Тот, кто не спит — дотянет до рассвета,
 он свет во тьме, — не ступок тьмы ночной.
 Евангельское слышу слово «бодрствуй!»
 Будь в мире духа — вечный космонавт.
 Чтоб красота была среди уродства.
 Чтоб правда ожила — средь полуправд.

Эти крупные, яркие звёзды в Крыму!
 Эта влага, что светом оденет плоть!
 Вот и счастье, которого я не пойму.
 Вот и ночь, что её даровал нам Господь.
 И волна не шумит — замирает волна,
 всё застыло торжественно, словно в мольбе.
 Открывает свою глубину тишина,
 та, что в жизни, и в смерти, и в нашей судьбе.
 . . . То, что скажешь ты мне — знаю я наперёд.
 Утаим это слово — хоть смысл его прост.
 И лежит оно тайной на губах этих вод,
 и трепещет в извечном молчании звёзд.
 Это слово — не им ли Вселенную Бог
 сотворил (красоту — до Добра и до Зла)?
 И его я всей жизнью сказать тебе смог.
 И его ты — всей жизнью — произнесла.
 К изначальному Слову мы причастны с тобой
 в эту ночь. К изначальному духу Творца.
 Даже море притихло — не плещет прибой.
 Есть начало всему — да не будет конца. . .

Памяти Михаила Каца, кинорежиссёра

Трудней всего увидеть мир в лицо.
 У камня есть лицо. У человека.
 А мир без лиц — всего лишь колесо,
 что вертит спицы дней от века и до века.



Слепых причин и следствий череду,
 бессмыслицы круженье до упада,
 добро – в себе таящее беду,
 и зло в одеждах ангельских. И стадо
 людей, безумье толп, безликость масс.
 Бог, лица их лепя – не долепил их?
 И не увидеть мысли – в щёлках глаз.
 И губы – правду высказать не в силах.
 Увидеть мир в лицо. И стать – Лицом
 всего, что жаждет сквозь тебя сказаться.
 И человеком быть – не подлецом,
 всё честно видеть, слышать, отозваться,
 ответить. И – за всё держать ответ.
 Горенье духа. Истин постоянство.
 И свет. Сквозь нашу тьму – слепящий свет.
 ... Экрана белоснежное пространство.

Солнце после дождя. Солнце после дождя.
 Счастье – оно не сразу. Но всё же – чуть погода.
 Может, за тёмными тучами скрылась твоя душа –
 всё же к чему-то лучшему прислушивается, не дыша,
 всё же на что-то надеется, верит (во что – бог весть).
 Знает, должно быть, истину: солнце на свете – есть!
 Солнце после дождя – это природы закон,
 или каприз погоды, случай, прекрасный сон?
 Если б не эти сны, если б не луч случайный,
 пасмурной жизнь была бы, скучною и печальной.
 Хмурая хмарь разойдётся, схлынут унынье и страх,
 свет из глубин пробьётся и засияет в глазах.
 Это – закон природы? Мир – изначально хорош?
 Чудо – дитя свободы, приходит, когда не ждёшь.
 Чудо – бога причуда, дар тому, кто готов
 жизнью своей ответить на любой из его даров.
 Солнце после дождя. Солнце после дождя.
 Счастье – оно не сразу. Но всё же – чуть погода.

Вере Зубаревой

Ну а книга стихов – это книга
 открываемая наугад.
 Траекторию краткого мига
 вдруг улавливает взгляд.
 Но внезапно кончается время,
 и его не удержит рука.
 Ибо жизни прекрасное бремя
 обрывается, как строка.
 Вот приходит волна – и уходит.
 И ракушка пустая лежит.
 Только память по берегу бродит,
 каждой мелочью дорожит.
 ... Подниматься над уровнем моря,
 над волной, словно птица, паря.
 Подниматься над уровнем горя,
 никого и ни в чём не коря.
 А стихи – обнимают пространство,
 всем на свете подвластны ветрам.
 Хоть не свойственно им постоянство –
 тяга к вечности прячется там.

АЛЕКСЕЙ ТОРХОВ

СЕВЕРНЫ СКАЗЫ ПРО МАКСИМКУ БОГА шорт-повесть, однако

М. ожетАКСИМУ Б. ЫТЬ ОРОДИНУ?

ПРО ЖЕЛЕЗНУ ВАРЕЖКУ

У Максимки бога по варежке на каждом пальце – и все как есть разны. Вот на среднем – варежка железна, а про остальные нам не ведомо. И когда Максимка бог шибко гневатца начинат, он железну варежку ту снимат, а под ней, значитца, – ноготь самый большой да самый заточенный. Во-о-от такой! И царапат он тогда тем ногтем прям по небу слова непонятны, то ли наказы нам, а то ли ругательства даже.

Да так царапат – от скрежета зубы сводит. А небо крошитца да с руки его осыпатца, от снега не отличишь. А потом обратно железну варежку одеват.

И слова те подолгу висят, как узоры на белых совах над головой зависших – уже ни прочитат, ни отвернутца...

Однак отходчив Максимка – забываетца, губами вослед шевелит. И оживат кажно слово! А потом вниз падат, а потом как есть – кому волосами отросшими, кому шапка мехова, а кому и мыслями. Один раз оленями даже...

И народ тогда тоже оживат, пляшет про это всё. Говорит:

– Оу-у!

Говорит:

– Ай, спасибо, Максимка бог! Пешы исчо!

ПРО ЛУНУ-ПРОТАЛИНУ ДА ЧЁРНЫЙ ВОЗДУХ

Луна – это проталина така. Её Максимка бог выдуват на морозном небе.

И тогда смотрит в неё подолгу своим глазом жёлтым. И всё как есть в ту проталину видит! И тебя, и меня видит. И того, кто от всех схоронитца не прочь, того же вращку...

А если луна белеть начинат, люди шепчутца:

– Вай, Максимка опять отвернулся от нас – чёрного воздуха жди теперь, однако!

И тогда, в самом деле, чёрный воздух напозлат и проталина затягиватца. И тогда надо ближе быть, за руки взятца. И глаз с огня не сводить. И старатца не спать подольше. Да чёрный воздух помаленьку в себя вдыхать, не шибко. И выдыхать тут же, иначе осадок начинат скапливатца. А в ком осадок, тот храпеть начинат точно баруси-демон. И снитца ему, что и вправду баруси он – одноногий, однорукый да одноглазый. А тогда надо ему колотушкой в голову постучатца:

– Вай, не спи, совсем почернеш! А то ум короткий станет, сила короткой станет. А потом и тебя не станет. Лучше с женой играй, народ делай...

А ежели все уже захрапели, даже тот, кто с колотушкой – тогда беда. Тогда баруси – тут как тут, сам явитца. Но я про то не буду, а то сердце забойтца...

Лучше скажу, сколько-то потом Максимка бог всё равно про нас вспоминает. Приходит на старо место:

– Оу! Всё затянулось уже, опять дышать надо!

И уже в другом месте на небе луну продышит и к нам заглядыват.

И тогда плывёт по небу Максимки бога глаз жёлтый. Каждому внутрь заглядыват. И сердце у того боитца перестаёт.

Это не сказка, это старых шаманов рассказ. Тако только в тёмну пору бывает...

ПРО НАРОДНЫ КОМЕНТАРИ

Всяк бог такой народ заслуживат, какой создать смог.

Максимка бог на этот счёт не переживат. Максимку его народ устраиват. Так, поворчит для порядку, не шибко. Буркнет вполголоса:



– Националисты хреновы . . .

Или:

– Глобалисты хреновы . . .

Или:

– Поэты хреновы . . .

Потом скажет:

– Ай!..

И рукой так. Тишиной исполнитца. И давай по небу всяку визуальну поэзию развешивать.

Народ внизу сопит, впитывает. Всякий комментарий пишет, выкрикивает даже.

Тот комментарий, што от души, он как молитва вверх подниматца, до Максимки долетат. Максимка его тогда читат, радуется:

– Ай, какой народ создал! Шибко хороший . . .

А тот комментарий, што от худого места – тот не летит. Камнем падают на соседский чум. И тогда уже народу не до Максимки – сосед соседа комментирует. Чёрный воздух, каким за ночь надышался, выплёвывают. Измажутца, смотреть неохота. Максимка бог и не смотрит . . .

А если бы смотрел, то сказал:

– Соседи хреновы . . .

А только молчит Максимка. Не повод это от поэзии отвлекатца . . .

ПРО ЗВЕРЬ-ХОМЯК И СЛОВА

А то пришёл к Максимке богу зверь-хомяк и давай молчать. День молчит, два . . .

То по пятам ходит и молчит. А то в уголку примоститца и продолжат. Только глазёнками зыркают.

Не выдержал тогда Максимка:

– Тебе штоли, зверь-хомяк, помолчать не с кем?

А тот продолжат.

– Тебе штоли помолчать негде?

А тот продолжат.

– Тебе штоли . . .

А тот . . .

– А может у тебя, зверь-хомяк, и вовсе языка нет?

А тот возьми да и высунь язык-то – на! смотри, Максимка бог . . .

Нехорошо получилось, дразнитца будто. Максимка бровь заершил, а тот – и вовсе, хоть и раньше молчал, теперь как онемел.

Така молчальня и длилась. Сколько-то дней прошло.

А надо сказать, раньше, когда Максимка бог ещё простым максимкой промышлял, был у него Научитель. А потом перестал. Говорит:

– Всё, максимка . . . Может чего и не рассказал, а тебе хватит, а меня наверху ждут. Звони ежели што.

И бубенчик оставил, максимка его в шапку зашил. А тот жердь приставил, на небо ещё выше полез. Там и живёт, не слазит.

– Вай . . . – думат Максимка бог.

Сам себе говорит:

– Однако, мой Научитель что-то мне скажет. Надо к нему звонить. Выпытать про зверь-хомяк как есть.

Бубенчик из шапки достал, связатца пробует.

Сколько-то прошло, отозвался Научитель, объяснят:

– Зверь-хомяк не потому молчит, что вредный. А потому как «закомплексованный», так у нас на Верхней земле говорят. Слова-то у него есть, и много он их знает, а выговорить опасатца. Ему всё кажетца – вот расскажет он и всё! Улетят слова. Потому носит во рту, бережёт. А то ли запасливый он, а то ли жадный. Отсюда нехорошо видно, беда как высоко . . .

Всё как есть тогда Максимка бог про зверь-хомяк понял!

– Вот тебе, – говорит он, – двойны щёки. Будешь туда самы ценны слова складывать, штобы выговорить их не боятца. Беда просторны щёки, сам бы носил.

Зверь-хомяк лапки так на груди склал, ладошки потират, благодарит. Глазёнками поблёскиват. Щёки берёт, к мордочке прикладывает, радуется.

А только Максимка бог по делам отвернулся, он за своё. Продолжат!

А щёки под еду приспособил. Набил впрок, как мешки. И опять молчит, слова бережёт.

– Ай! – осерчал Максимка бог, махнул на него. – Иди. Здесь тебя не надо!

Тот и пошёл.

Такой вот ушлый зверь-хомяк. Беда какой находчивый! Теперь мне и карманы даже не нужны, так себе думат. Еда-то важней будет. А слова што? Не шибко я важный зверь, можно и помолчать . . .



ПРО ТОЛМАЧА И ТАЛДЫЧА

А вот скажи — богу библиотека зачем? Даже если он Максимка бог, который запросто. Так запросто, даже кажется — он неподалёку живёт и как есть всё про тебя понимает.

Раньше так и Максимка сам думал. У него даже полка была пуста. Полка висит, а он ничего не ставит. Висит, а он не ставит! Разве што зверь-хомяк придёт — его размещал. Чтобы лучше видеть, как он молчит, а тому, штоб удобней. А в зверь-хомяк што прочиташ? А услышишь што? Молчок один...

Тогда задумал Максимка бог: нову тварь создать — книгу! Штоб размножилась потом в библиотеку, тако слово Максимка загодя придумал.

И вышла у него сперва — Толмачь-книга. Та, котора всё на свете разъяснят. И про тебя разъяснят, и про меня. И про того, кто от всех схоронитца не прочь, того же еврашку. А если никто у неё не спрашивает — она молчит. Как зверь-хомяк. Стоит на полке и молчит. Правда, и не размножатца. И слово, полчатца, придумано без пользы — кака така библиотека?

Спрашивают тогда Максимка. У самой книги и спрашивают. А та возьми оживи да толмачит ему:

— Паря нужна, однако! Ещё одну тварь впарь. Штобы говорила-талдычила. Тогда игратца будем, библиотеку делать.

— Вай! — думат Максимка. — А ведь верно.

Впарил. И вышла у него тогда — Талдычь-книга.

А разговорчива кака вышла! Не захлопнешь — не умолкнет. А капризна кака. Да ещё с изъясном, не доглядел Максимка бог — червий завёлся в этой Талдычь-книге. И в соблазн большой ввёл её — говорить не по писаному, а то, што он, червий этот, узорами выгрыз.

Взялись Толмачь и Талдычь за руки, обчаютца. Вроде как и Максимка им уже не нужен, сами во всё разобрятца.

Осерчал тогда шибко Максимка бог, прогнал обоих. Сбросил с полки вниз — на Нижню землю.

А эти оба два отряхнулись, пошли куда глаза, как люди.

Букроссинг какой-то, подумал Максимка. А потом — ай! — махнул рукой. Он некоторые слова как будто наперёд знал, а нам это не нужно. Што за слово тако — букроссинг?

Так те оба два — Толмачь да Талдычь — и бродят меж нами. А им навстречу разны попадаютьца. И люди с шитыми лицами попадаютьца. И те, што дикими промышляют. И которы в тёмну пору молчат страшно, куда там зверь-хомяку!

А как истолмачить то, што в любом человеке наталдычено? Они же разны попадаютьца. И слова у них не совпадают. И много их, как лес. Кому нужна така библиотека?

А вот когда они, Толмачь и Талдычь, воедино в одно сходятца — тогда с них шаман полчатца. И талдычит. И толмачит. И в голове будто прояснятца.

А только сам шаман, когда камлать начинат и в бубен бьёт — всё голову запрокидыват, всё наверх смотрит на ту полку. Как будто проситца. А Максимка бог всё одно обратно не зовёт. Верно гневатца до сих пор.

Про то нганасаны талдычили. А я вам толмачу. Может чего и напутал...

ПРО СУХУ КАПЛЮ

Максимка бог беда как любил дождь делать! Сначала с земли на небо воды натаскат-натаскат. Только не мешками кожными, а как-то по-своему поднимат. Шибко много воды у него полчатца! И как она там помещатца вся? (Ум-то у меня есть, а понять не могу, буду ещё думать).

Сколько-то потом, когда подготовитца Максимка — народ зовёт. Беда людей сколько, как комара! Максимка сверху им кричит, разъяснят:

— Оу! Я вам сейчас дождь говорить буду.

— Как так, дождь говорить? — сомневатца народ.

— А вот так. Дождь — те же слова. Это просто я вам водой говорю. Теперь меня всем лицом слушать надо, однако. Кажну капельку как есть слушать!

— Ну ладно, как не слушать, послушам.

Колотушкой помашет Максимка бог, постучит в небо, как в бубен. Три раза крикнет:

— Хук! Хук! Хук!

И начинатца!

Как в старом дырявом чуме — отовсюду на голову вода льётца. Вай!

Каждый думат: «Небо штоли прохудилось? Почему Максимка его не латат, не зашивает?»

Сколько-то потом думат: «А может это Максимка водой говорит, не словами? А зачем не словами?»

— Эх-хэй! — слышит их ум Максимка. — Так вы словами только ту часть меня, котора «Максимка», поймаёте. Ту, котора тоже словами. А ту, котора «бог», как поймаёте? Слушайте лучше, я вам уже столько дождинок сказал!

Потом надоест ждать Максимке:

— Э! Как-то неладно молчат. Пойду, спрошу любого.

Подходит к любому человеку. Человек ему и отвечает:



— Лицо в морщины собрал, жду пока ум дождинки поймёт. Шибко мокро, однако. Ничего пока не понятно.

— Ай! — машет на него рукой Максимка. — Не услышал, иди. Тебя здесь не надо!

К другому подходит, тот отвечает:

— Лицо в морщины собрал, жду понять. Шибко мокро, однако. . .

— Ай! — машет на него. — Уходи куда попало.

К другому другому подходит.

— Шибко мокро однако. . .

— Ай!..

Всех других обойдёт, устанет ходить Максимка бог, сядет.

Теперь так говорит:

— Мой ум совсем рассердился! Все, кому шибко мокро — уходите. Попейте варёной воды. Буду себя сам слушать, вас не надо.

Сколько-то посидел. Поговорил с собой. Встал на ноги и, в какую сторону было лицо, в ту и пошёл. Смотрит, а один человек не уходит. Лицо раскрыл, замер. Дождь впитывает, не шевелитца. Как будто умер, только лечь забыл.

Подкрался к нему тогда Максимка. Спрашивает шёпотом:

— Ты почему такой тиховатый?

— Как тиховатый не буду? — шепчет человек в ответ. — Суха капля на меня упала! Моим глазам тесно теперь. Так тесно, што заместо них щуц у меня раскрылся. Вот не двигаюсь, щущенье спугнуть боюсь. . .

— И што тебе твой щуц показыват?

— Беда как много показыват, слов таких не знаю. А только знаю теперь: даже если шибко мокро будет — ум сухой остаётся. . .

— А смыслы смутны ощущаш?

— Как не ощущат? Даже сердце забоялось!

— Во-о-от! Я же говорил! — обрадовался Максимка бог. И на месте запрыгал-заплясал. И человек тот встрепенулся. Не отстаёт, пляшет.

Как будто ум у них испортился. Прыгают, поют под дождём:

— Ий! Эхэхэйро — радуется Максимка.

— Хокой, хокой! — не отстаёт человек.

А народ думат: «Вай!». И больше слов не находит.

А того не знат — всё дело в сухой капле! Их всего три быват. Про то Максимка народ когда-то вперёд ещё научит. Одна суха капля перед первой мокрой падат. Друга суха капля — за последней мокрой падат. Однако, ещё одна суха капля есть — сама важна. Она внутри дождя, это его суть. Её шибко слушать надо. Тогда щуц открыватца!

Тот, кто её слышат научитца — про того Максимка бог специальным словом думат, но вслух не произносит. Слово то — «поэт». А что оно точно означат, нам не ведомо вовсе. Только, думаю, не будет Максимка бог с кем попало чай пить! А человек тот, которого он внутри себя поэтом обозвал, подолгу теперь у Максимки бога гостит. Чай пьют, матёрого чиря строгают, юколу и варку едят. . .

А если бы народ то слово знал, обязательно подумал бы: «Зачем поэты, когда шаманы есть?».

А так только плечами народ пожимат, и в одно лицо сливатца. И лицом этим вверх смотрит — ждёт. Чего ждёт, сам знат?

Теперь рассказ уходит от них. Теперь всё. . .

ПРО РАНЬШЕ И ПОТОМ

Пока не родишься, про тебя кто знат? А откуда начнёшься, кто скажет?

Даже Максимка бог всё это одним непонятым словом называт — Раньше.

Совсем-совсем Раньше нигде ничего не было. И не знал никто про нигде. И сказать никому не мог про ничего. И земли не было. Только тёмна вода. А над ней висит светло облако — Свягоместо.

Из того облака Максимка и родился. По сторонам смотрит, привыкат.

Тёмна вода его спрашиват:

— Ты кто?

— Я-то? — отвечает он. — Максимка, штоли не знаш?

— А Раньше ты где был, Максимка?

— А я за Раньше не отвечаю. Только за Потом.

Так вот Потом и началось. А потом — продолжилось.

Потом Максимка стал мальчиком двенадцати лет.

Потом дальше рос.

Потом у него щуц открылся. И тогда много всего напридумывал он. Землю придумал, устал по воде ходить. Всяко друго тоже.

Потом придумал стать ростом прямо с амбар. Шибко шалить любил. Когда бежит, така пурга подниматца — чума быват не видно. Когда увидит дерево, не обходит, а прыгат через него, держит совсем прямой путь.



А потом надоело. Громко вслух думат:

— Эхей, меня кто слышит? Или видит кто?

Тишина. Слышать кто будет? А видеть кто? Нету же никого, это, по-вашему, ладно? И ничего непонятно, што происходит?

Сделал тогда Максимка из льдинок себе другие глаза — пенсны. Вставил поверх прежних, штоб по-другому про себя узнать. Отошёл, смотрит совсем со стороны, така картина открыватца. На льду стоит ледяной чум. В нём один человек, зовут его Максимка. У этого человека всё белого цвета — руки, ноги, волосы. Глаза и те белые. Товарища у него нет, жены нет, собаки нет. Только имя Максимка и то — непеводимо. Вай, как живым тут быть?

Залез на облако обратно, а глаза не менят, сверху смотрит. Пока так смотрел, совсем зима стала. Смотрит: бредёт внизу Максимка по пояс в снегу. (Зима если стала, как иначе, снег разве не выпадет?).

Подумал тогда Максимка бог с облака вниз: «Этот Максимка, который человек, видно, што-то знат, если идёт куда-то. Пусть, штоб ему не скучно, люди заведутца, штоли зря землю делал. Пусть их станет, как комаров. И каждый пусть от чего захочет, от того и родитца, я не вредный».

И стало так. И люди стали как вода прибывать, и землю собой затапливать.

И назвал всё это Максимка бог — Великий Потом. А про то, что у каждого Потом своё Раньше бывает — никому не сказыват, даже не проси...

ПРО ЕВРАШКУ

Подслушал как-то еврашка чужу пословицу: «Не свисти — денег не будет!» — шибко расстроился.

— Вай! — думат. — Делать-то што? Неладно это. Служба у меня така — смотреть в оба глаза да свистеть.

Свисток-то зря штоли выдали?

А потом спохватился:

— А деньги-то што будет?

Не знат.

— Пойду к Максимке богу, спрошу.

(Нет, ну как повадились к нему, гостят без устали!)

Пошёл. День идёт, два. Потом куда-то там дошёл. Смотрит — не туда. В другу сторону, может, идти надо было? Пошёл в другу, однако. Сколько-то там прошло. Совсем в пусту землю ушёл, насилиу вернул-ся.

А того не знат, што к Максимке вверх надо идти, в том месте, где дыра в небе.

Ходит туда-сюда, свистеть забыл.

А денег как не было, так и нет.

Ещё вариант есть:

Максимка бог, как и еврашка, в норе живёт. Только нора та в небе, а дыра колючим воздухом заросла. Если бы еврашка мог всё вверх ногами переставить, в ту нору Максимки зайти бы у него получилось. Или хотя бы возле неё постоять. А так откуда он знат, всю жизнь под землёй живёт? А откуда переставлять умет?

Пришлось ждать, пока забыл и про деньги, и про пословицу. Опять свистеть начал.

Вот и пусть. Вот и Максимка бог думат: зачем слушать чужое, если смотреть поставлен?

ПРО АСТЕРКЛАС

Там, далёко на небе, в насилиу видных отсюда местах — астеры живут. Видиш, как мерцат над головами? Они.

Максимка бог про астеров так сказал:

— Эти шибко мудрёные... С ними молчать лучше. На лебедей штоли они похожи. И кричат так же, пока горло совсем узким станет: «Эюёй! Юй! Юй!»... Так кричат, пока слово их не оставит и к тому кто дальше не уйдёт. И слово их теперь — свет. Его надо слушать да впитывать. Если он на вас ложитца — это лучше чем кожа...

Для того Максимка бог сколько-то раз в году людям астерклас устраиват.

Вот когда самые матёрые астеры в темноте проступят — самое время для астеркласа!

Соберёт Максимка охочих под открытым небом, тундра большая — все помещаютца! Подождёт пока рассядутца. Потом постучит в небо, как в бубен. Тривжды крикнет:

— Хук! Хук! Хук!

И торжественно объявят:

— Говорит и показыват Максимка бог! Начинам...

И тут же берёт — включает небо на полну громкость. И больше ничего не говорит. И не показыват больше ничего. Как будто в себя уходит. Будто внутри у него такой большой чум, што даже от самого себя спрятатца можно. А все на него молчат. Думают, если даже Максимка запрятался — нам и вовсе лучше потерятца. Так сколько-то сидят. Потом перестают. Постепенно обнаруживаютца.

А напоследок Максимка опять словами говорит:



– С вами был, есть и будет Максимка бог. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Встретимся после...

Со стороны может показатца, што астерклас – это просто с Максимкой богом помолчать. Но так думают те, кому баруси несвежий ум принёс.

А сам Максимка сколько-то потом про астерклас так объяснят:

– Разве я могу вам умнее сказать, чем што из меня молчит или што светом опускаетца? Могу только автограф написать, штобы пребывать с вами.

А автограф-то што, кто знат? Люди с ноги на ногу переминаютца, из тишины ни шагу ступить не могут.

Иногда по-другому объяснят Максимка:

– Оно или совпадёт, или затопорщитца. . . Сначала помолчи о своём. Потом о моём помолчи. А потом уже помолчи про всех. И слово твоё будет – тишина. А там и свет астеров до тебя дойдёт. . .

И точно! Кто до этого места доживает, у него астеры над головой как-то по-другому мерцать начинают: «Эв-в-ва! Эв-в-ва!» И одновременно: «Юй! Юй!» Но уже тоньше и тише. А кожа – теплеть начинают и светитца. . .

Чуть не забыл совсем, от чего Максимка бог предостерегат.

Бывает так. Человек какой-нибудь себя астером возомнит. Соберёт всех кого сумет в свой чум, и давай его классом обзывать. А чум – он чум и есть, сколько вверх не смотри – ничего не мерцат, всё шкурами завешано. И человек тот им – не светом, а словами:

– Я! – говорит.

– Так думаю. . . – говорит.

И говорит-говорит. Даже больше, чем в нём помещатца.

– Я вас научу. . . – настаиват на своём, настырный такой! Перечислят – всё он знат и умет, вроде как Максимка бог! И обязательно не удержитца – скажет таки слова:

– Стихи писать тоже научу!

Вай! Тут его можно сразу в лоб колотушкой бить, как в бубен. Потому што даже баруси последний знат: такому как научши? Ежели от астеров тебе света не сказано, ежели щущ у тебя не открылся, ежели суха капля не упала, ежели Максимка бог тебя поэтом не назвал – каки таки стихи?! Иди оленей паси, да диких промышляй. Да хоть и траву еш, лишь бы молчал подольше.

И человек тот, скажу вам, никакой не астер, а вовсе даже – грашаман. Есть таки невозможные люди, совсем ум у них хворат. Грашаманы! Они только в бубен колотить могут да слюной брызгать. Хотя, с виду от шаманов по-первах не отличиш. Но их только комары любят. И глаза постоянно сухой травой зарастают. И дождя вокруг них никогда не бывает! Откуда суха капля-то упадёт, сами бы подумали? Ум-то есть у вас, почему не пользуетесь?..

ПРО ЗВЕРЬ-МЫШ МАЛЕНЬКО

А то, немного раньше, откуда-то зверь-мыш пришла, говорит:

– Мне как живой быть? Все меня одолевают. Что-нибудь мне посоветуй, Максимка бог.

А Максимка сидит, как раз старатца Время придумать. Не шибко и получатца. Нервничат.

А тут ещё эта зверь-мыш. Говорит будто скребётца:

– Мне как живой быть? Что-нибудь мне посоветуй.

– Ай! – Остро посмотрел на неё Максимка бог. – Неладно как-то говоришь! Какой ты зверь?

– Зверь-мыш средних лет! – отвечат. – Ты хоть и бог, глаза-то есть у тебя? Смотри, не видишь?

– Кака така зверь-мыш, не помню такую зверь?

– А я приبلудилась.

– Ну, раз так – садись, чай пей. А то словно болезнь гостиш, надоедаш.

Раз так, села зверь-мыш. По сторонам зыркает, чай ищет.

– А где чай-то, нету?

– Ну, раз нету, не пей. Просто сиди, на сухой живот.

Не сидитца зверь-мыш. Надоедат.

– Мне как живой быть?

– Ещё сколько-то скажеш – никак не будеш! – сердитца Максимка. – Ты сама одолеш кого хош!

Не униматца зверь-мыш, будто сердце грызёт.

Видит Максимка бог: не шибко получитца сегодня Время придумать.

– А умеш-то ты што, зверь-мыш? – спрашивают сколько-то потом.

– А терятца умею. Смотри. . .

Пересмотрел Максимка всё в чуме, все кули, все одеяла – и правда, нет зверь-мышы. Думат:

«Потерялась штоли, нету?»

– Как нету, вот я! – обнаружила зверь-мыш. – Я ещё обнаруживатца умею.

– Ай, нам тако умение вовсе без пользы. Вот если бы ты насовсем потерялась!

Теперь так думат Максимка бог:

«Незначительный какой зверь. Шибко мелким умом про этот мыш думать надо, где такой возьму? Пусть лучше народ скажет».



Взял Максимка бог кусок белой кожи. (Откуда знаю, где взял? Оторвал от кого-то!)

Теперь так делат – по ней пишеть: «Как нам обустроить зверь-мыш».

А ниже таки слова: «За самозванный характер и настырность – зверь-мыш следует пресекать. Но не шибко, штоб живой ей быть».

А с другой стороны – другу надпись делат: «За мелкий ум и незначительность – снисходить. Но не шибко, штоб по чужому не кружала».

– Вот! – говорит Максимка бог. – Трахтат. Иди, почитай. А потом собирай народ. Пропустим тебя через референдум!

– Вай! – запричитала зверь-мыш. – Ты хоть и бог, а туда же? Я, может, зверь незначительный, а всё ж таки средних лет. Отродясь никаким паскудством не занималась. Ничего подумат не могла, што будешь меня к своему референдуму склонять, на людях позорить.

– Ай! Што за неладный зверь! – сердитца Максимка. – Референд-ум – это когда один большой ум на всех. Только штобы им пользуетца, его сначала в одно место собрать надо. Вот и ходи, собирай подписи: кто как думат. А потом этим общим референд-умом и будем знать, как тебя обустроить. И всё! Иди. Больше тебя здесь не надо. Даже не извиняюсь, времени нет. Ни у меня нет. Ни вообще его нет. Ни придумал ещё. . .

(А надо сказать, ещё в непридуманы времена сверху было видней, но незначительные вопросы, для виду – у народа спрашивали).

А только задумался про то Максимка бог – опять зверь-мыш обнаружилась:

– Вот это место шибко непонятно! – и протягиват трахтат Максимкин.

Вай! А он весь – в мелку дырочку! Ни единого слова – все буквы выгрызла зверь-мыш средних лет.

– Так я ж по-вашему читать-то не обучена! – оправдываетца. – Мы, зверь-мышы, по своему читам. Зубами. И один раз всего. А потом в себе носим, правда, недолго. Но сколько-то успевам запоминать, в особо вкусных местах.

– Ну, зверь-мыш. . . – позеленел Максимка как мох. – Твой ум совсем для меня чужой! Ничего не думал я, что ты так сделаши, не думал. Такой трахтат в первом чтении утробить! То ли баруси тебе голову приделал, шибко мало ума помешатца! А расписываетца люди шголи на тебе будут? Иди куда попало, сама себя теперь изучай да обустраивай! А то ли к геологам сходи на мышинно-тракторну станцию. Пусть они в тебе отвёрткой поковыряютца, апгрейд тебе сделают. Может и доживёш до времени своей смерти. . .

И дальше таки непонятны слова стал говорить – потупила настырны очи зверь-мыш, совсем за голову взялась. Тихо так по жерди спустилась, ушла куда-то. Даже снег не помяла.

Эта зверь-мыш до сих пор где-то кружат, по людям скребётца. Выгрызат буквы по памяти, как Максимка писал. На чём попало выгрызат – на шкурах, на стенах. . . На съестных припасах, особо, – читайте, люди, расписывайтесь! А люди што? Они зубами-то читать не обучены. Так голосуют, што от крика голос срыватца да всё по зубам норовят расписатца. Со всех сил на чём попало и чем попадут расписываютца. Одолевают, одним словом. Как тут живой быть? Лучше уж паскудством занимацца, чем таким референдумом, так себе зверь-мыш думат на бегу.

Да и Максимка с той поры беда не любит, если кто про зверь-мыш напоминает. Особо про ту особю мышского полу, што до средних лет доживат. Как-то не шибко сложились у них отношения.

Ну вот, хотел про зверь-мыш маленько сказать, а вышло беда много. Вы уж Максимке не сказывайте. . .

ПРО ФЕШКРЦМ

В наших местах всяко случатца.

Быват ходит человек давешний такой, будто проснутца забыл. Будто там, на Верхней земле, никто про него сказать не хочет. А в Нижней, наоборот, сразу все – до самого плохонького баруси! – вспомнили, заговорили. Худо от такой неладной известности! Тогда и руки тому человеку зачем – всё из них валитца. Тогда, человек тот, ни одного дикого на поколке не возьмёт. А с кем-нибудь поговорит – уже следы товарища из глаз уходят и лицо травой заростат. И сколько хрунликов в воду человек тот не кидат – ни один не всплыват пузырьком. И даже кажетца ему, ежели сзади баруси подкрадётца и его самого в воду кинет – пузырьков тоже не будет! О, как. . .

Приходит такой человек за советом к Максимке богу. Смотрит на него глазами давними. Всё равно што бодырбо-мертвец на солнце. А Максимка тоже не в себе, будто сколько-то вперёд живёт, не совпадат с ним. И говорит всяко непонятно, словами как землёй ум забрасывают:

– Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, однако, о великий, могучий, правдивый и свободный – ФЕШКРЦМ!

А потом тягостно подумат и добавлят:

– ЫАШТЛЫ. . .

А потом и вовсе:

– У! АЙНЭЙ! ЛДНФ333333333. . .

И по всему лицу пятны, а по небу – трещины!

Вай! Лучше бы колотушкой того человека по лбу ударил, он бы хоть как-то это понял!

Человек даже сомневатца начинат – может и вправду он уже бодырбо, только на ледовку свезти забыли. С опаской спрашивают:



– Максимка бог, а с кем это ты сейчас разговаривал? Шибко непонятно, даже сердце забоялось?

– А што тут понимать – ФЕЩКРЦМ!

– Как так ФЕЩКРЦМ?!

– А вот так! – разводит руками. – Он самый случился.

– А што ФЕЩКРЦМ значит? – думат человек.

– То и значит – КОДИРОВКА сбилась! – молчит Максимка, а слова на его голосе самостоятельно вылетают, на морозе чернеют.

«Шибко умный Максимка бог! Надо же слово невозможное выдумал – КОДИРОВКА! Где столько ума взять? Лучше уж пусть будет этот – ФЕЩКРЦМ! Напоминает, как лёд под ногами трещит...» – это человек тот дальше думат.

– Лёд, говориш... – молчит ему Максимка бог. – А пусть будет лёд, штоб понятней. На вот, пиши своё имя!

И льдину человеку протягиват. А разве человек тот Максимка бог, писать он разве умет? Так, царапат... .

– Вот и царапай! – соглашатца Максимка. – Всё што про имя своё думаеш, то и царапай.

– Ну, попал в дело! – сердце у человека инеем покрылось, не шевелитца.

А куда деватца – царапат. А потом смотрит – вай! Хоть и читать не обучен, сам видит – таки неладны кривы царапины только одно означать могут:

– ФЕЩКРЦМ... – выдыхат из себя человек, будто с жизнью прощатца.

– Он самый... – подтверждат Максимка. – И што бы ты теперь ни писал, ни царапал – всё одно ФЕЩКРЦМ получитца. Такой вот мохнатый зверь-песец, штоб не сказать страшней... (Это така поговорка у Максимки была!)

– А делать-то што теперь с этим ФЕЩКРЦМ?

– А ничего ты уже не сделаеш... – говорит Максимка бог. – Теперь на меня вся надежда, а мне спешит некуда. Пока найду причину, пока ум перемену – так и будет ФЕЩКРЦМ... .

А бывает и вовсе.

Слово человек сказать захочет, а во рту вместо него – камень. Только он камень выплюнет – язык змеёй в горло уполз, оттуда молчит. Смотрит человек тогда из себя наружу, а в глаза ничего не видно, как испортились. Вытащит глаза, пощупат – а может тоже камни? Ничего понять не может (как поймёт, глаза-то вытащил?). А с именем и того хуже – не помнит на што отзываетца. Ум свой спрашивает, а там только одно слово – ФЕЩКРЦМ! (А ФЕШКРЦМ разве имя?)

Забойтца тогда сердце у человека, шерстью начнёт покрыватца, изнутри царапат, как лапой.

Тогда к Максимке богу опять бежит, кричит издалека:

– Вай! Никак опять ФЕЩКРЦМ?!

А у того уже чемодан годовая в сани уложена, да и сам съезжать наладился!

– Отнюдь – говорит. – Много хуже – ПОЛНЫЙ ФЕЩКРЦМ!

Вздохнёт так, будто последний воздух из него вышел. А потом обернётца издалека, губами пошевелит, будто разжевать чего хочет.

А до человека того сколько-то потом доходит. Как свет астеров опускатца на лицо.

– Это Поэза из жизни нашей ушла. Немогаеш. Теперь лицо к голове покрепче пришивай, штоб не утерялось. Да огонь последними словами неспорченными корми, штоб не погас. А имя – глубоко-о-о в себе молчи, носи без упоминания. Оно ещё само себя скажет. А я отбываю, может получитца Поэзу уговорить назад вернутца. Ежели што – не поминайте всуе. А само главное – ЛДНФЗ! ЫАШТЛЫ... .

– ЫЕЩ? – запоздало спрашивает человек.

– ЫЫ-ЕЕ-ЩЩЩ! – отзываетца темнота. – ЩЫДЩМШУ... .

«Северны сказы про Максимку бога» Алексея Торхова создают самодостаточную псевдофольклорную, абсурдную, но трогательную и интимную микро-мифологию с её формами, языком, материалом и сюжетами, играя на контрасте огромности божественного и краткости, непосредственной фамиллярности сказа как многократного пересказа одной и той же знакомой всем истории...»

Организационный комитет
Третьего австралийского фестиваля русской экспериментальной
и традиционной литературы «Антиподы-Иной глобус»
(г. Сидней, Австралия, февраль 2011 года)

МАРИНА САВВИНЫХ

«НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ ПО ОТЧЕСТВУ...»

НЗ НА ЗАВТРА...

Спалив НЗ до капли – налегке,
Едва живая и почти немая,
Я выхожу из длинного пике,
Всё-всё об этой жизни понимая –
О том, что даль – темна, а высь – ясна,
Что снизу вверх – Сизифова дорога,
Что воля знать – не каждому дана,
Но за незнание спрашивают строго,
Что самое надменное чело
Ничуть комка земли не плодородней...
– Тепло ли тебе, милая?
– Тепло.
– Свободно ли?
– Куда ещё свободней!
Как тень – легка. Как летопись – права.
А главное, так счастливо открыта:
Из сердца моего растёт трава.
Во лбу – грохочут крылья и копыта.

Не называй меня по отчеству:
На публику уловки эти.
Я обживаю одиночество,
Как взрослость обживают дети.

Его суровая методика
Правдива, как кардиограмма,
Но огнедышащая готика
И здесь вздымается упрямо...

Что в нас меняется? По совести
Такая оторопь и стужа –
Узнать в конце любимой повести
Игру не мальчика, но мужа.

Сентябрь уступает ночные радения вьюгам.
Не можешь уснуть: чьи-то тени кругом и мольбы.
Не плачь. Не впервой ты оставлена ветренным другом.
Давно ль научилась, любя, отпускать без борьбы?
Не плачь! Посмотри, как над этой последней могилой
Из мёртвой листвы под дождём воздвигается храм,
И в нём херувимы поют с небывалою силой:



«Осанна . . . Осанна . . . и аз, погибая, воздам . . .»
 Лети, моя осень, сквозь это закатное небо
 Туда, где не плачут, не мстят и прощенья не ждут.
 Вкуси, моя осень, и этого скорбного хлеба,
 Взойди и на этот, врагом подождённый, редут.
 Без страсти и слёз – по стеклу и расплавленным плиткам,
 Как девочка Ева, смеясь, пробегая босиком
 И ветхую душу отдай очистительным пыткам
 Космическим льдом и подземным крутым кипятком . . .

К ВОПРОСУ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ДИАЛОГА

Бьющийся о стекло, конечно, не понимает,
 Что боль и холод не свет ему причиняет,
 И возвышает гнев на желанный свет,
 Уверенный, что стекла между ними нет.
 Если бы знать, увериться – на мгновенье! –
 Что причиняет боль не свет, а само стремленье,
 Если б открыть отчаянья благодать:
 Изнеможенье звать и невозможность – вспять!
 Стало быть, разговор – кристалл беспощадной тверди
 И достигается только ценою смерти?!
 Стало быть, весь твой свет – только в конце тоннеля?
 Поговорим едва ль . . . или же – еле-еле . . .

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Постольку, поскольку мы жертвы июля,
 Песков и растений немые рабы,
 В нас мысли уснули, и страсти уснули,
 Как спят восклицания в горле трубы.

Как яблоко, облако зноя упруго –
 В ладонях катай или зубом кусай . . .
 В янтарную мякоть, вместилище юга,
 Малиновый клюв, не стесняйся, вонзай!

Пушай, возникая с коротким шипеньем,
 Кропя и пятная горячий песок –
 И дальше, пунктиром по пыльным ступеням,
 Прерывисто капает розовый сок!

Вся речь бытия – лишь младенческий лепет,
 Который ещё не смешит и не злит . . .
 Но мастер, что к пёрышку пёрышко лепит,
 Всё чаще и гуще на небо глядит . . .

Обвитая ветрами ледяными,
 Апрельских переулков пустота –
 Пугающе пространна и тверда
 И кашляет октавами больными . . .

Мы можем быть родными и чужими –
 Сейчас – и никогда – и навсегда . . .
 Так клавиши при лёгоньком нажмем
 Срывают бури с нотного листа,

Чуть видимого на рояльном лаке . . .
 Душа томилась в лоскутке бумаге,



Пока её на свет не извлекли –
И вот она смелеет постепенно,
И белые созвездия Шопена
Восходят в небо чёрное с земли...

Как хочется жить романтической верой,
что в завтрашних сумерках – свет, а не мрак,
что город с утра золотой, а не серый,
что люди – не звери, а Бог – не дурак,
который отдал на распятие Слово,
как будто не ведал, что жертвует – зря...
что в будущей жизни мы встретимся снова,
беспутные чада Его декабря!..

Лене Тимченко

Невозможную, как её можно найти?!
Но не верьте наветам лунов!
Никакой Джомолунгме не встать на пути,
Если сердце услышало зов!
Пусть скулит твоя плоть обездоленным псом,
Пусть упорствует: «Проще живи!» –
Может только душа, позабыв обо всём,
Предаваться пространствам любви.
Лишь она отвечает на тайную речь,
Оторвавшись от вязкого гла,
Чтобы тяжкое тело с собою увлечь
Под вселенские колокола;
Только ей и дано принимать забвенье,
Как священную чашу царей!
Горный воздух любви,
ледяное питьё,
искупление Детей и Зверей...

Как светлячок в картонной коробке,
Тоится разум в черепной коробке...
Вся в ожиданье генеральной трёпки,
Вселенная висит на волоске...
Должно быть, завтра грянет Страшный Суд –
Так ощутимо неба содроганье...
Я здесь – но как же тесен ты, сосуд
Вселенной, данной мне для обживания!
И этот неостребованный свет –
О, как он жжёт! Мой смысл... Моё распятие...
Он к чистым звёздам сквозь меня воздет,
Пронзая тело, как дрянное платье...

Пусть остаются леса! Пусть с картинами вместе наброски
Вечно живут... Пусть огня избежит черновик!
Все голоса опираются на подголоски,
Если уж хор в тишине первозданной возник!



Тонкое тело мгновенного замысла – хрупко,
 Но никогда не обманется тот, кто из ласковых недр
 Всебытия и обмана в свой контур втянул, словно губка,
 Очерки проб и ошибок, наивен и щедр...
 Сын отсечёт – внук, любя, соберёт и залечит:
 Небо хранит отдалённых миров чертежи.
 И, как титан, подставляющий вечности плечи,
 Всю его ношу, Художник, прими – и держи!

Здесь узелки беспаятно горят...
 Бесцветные колышутся ресницы...
 Сама себе я предсказала ад,
 И что ему осталось, как не сбыться?

Пророчество – только предлог
 Для самого дальнего хода:
 Сатир восхитительно плох!
 Он пляшет, нагой, как природа.

Он пляшет и жертвенный корм
 Хватает с червлёного блюда...
 Скульптура фаллических форм
 Не есть прославление блюда!

Глумиться станет всякий теремок
 Над бескорыстной бедностью рисунка...
 Поэтому все двери – на замок...
 И ключ – в окно...
 А там Луна – как лунка...

НАТЮРМОРТ

Сухие розы, розовый бессмертник,
 Попробуй слёзы – запихать в конвертик...
 Попробуй затолкать в коробку – вздох,
 Пока он на просторе не заглох!
 Но бронза – величава... глина – дремлет...
 Стекло – судьбе... фарфор – пространству внемлет...
 И чья-то мысль мерцает в хрустале...
 Сухая роза – глиняная ваза...
 Метафора священного экстаза –
 На скромном ученическом столе...

НАТАЛЬЯ БЕЛЬЧЕНКО

«ВЫРАЩИВАТЬ ВНУТРИ СЕБЯ СПАРТАНЦА...»

Иди, иди, дорога будет,
Она на всех запасена.
Её в подошвах носят люди
Или во взгляде из окна.
Мучительнее перерыва
В ходьбе – не зная ничего,
Ты просто станешь молчалива,
Когда проявится родство,
Запечатлённое в пейзаже
Задолго до земных путей.
Воспоминанье о пропаже
Потери будущей сильнее.
Всё потому, что длится, длится
Закольцевавшаяся связь.
Пыгается вместить глазница
Наполненный дорогой глаз.

РАССТАВАНИЕ

Упавший сердцем пристальным – и телом
Поднявшийся, кто, как не я, идёт
Гвоздичками, люпином, чистотелом?
Слова забыли, что такое рот.

Амиго люпус вышел из ворот.
Слабoли перевоплотиться в целом?
За навсегда очерченным пределом
Окажемся зверьками всех пород.

Земля в себя затягивает, что ли,
Когда, как *lupus*, воешь в этой боли?
Зато потом – прививка навсегда.

Не от любви – от тяги раскрываться.
Выращивай внутри себя спартанца
Слисёнком изумленья и стыда.

Как бы так уложить боковое
Зренье, чтобы окольной тропой
Не водило тебя под конвоем,
А придумало способ другой.
Потому что ведь не насмотреться, –
Даже если ты сам нелюбим, –
Оставаясь беспомощней детства
И сильнее всего, что за ним.



А где-то есть медвежий угол
И ангелы обоих плеч —
И сгусток слов, которым туто:
Не удержать и не извлечь.

Личинка, скрытность, анаграмма
И недомолвка тупика, —
Когда не высказаться прямо,
Сверчка меняешь на молчка.

Ведь нет больнее и точнее
Той непритворной тишины,
Которая даёт по шее
Не знающим себе цены,

Но пригодится для обмена —
На слёзы и кривой смешок,
Когда уходишь постепенно,
Уж если вовремя не смог.

В насыщенном мире далёком,
Таким достоверном без нас,
Глядением сердца — стооком,
Но боль отмерявшем на глаз,

Накроет прохожего радость,
Прижмётся ребенком к стеклу —
Минутою раньше казалось:
Я к этому миру сверну.

Мне Выдубичи через реку
Махали сиренью своей:
Приди к незнакомому веку,
Воды потаённой попей.

Оставь мимолётные беды
За тысячелетним холмом.
Утешься: никем ты не предан.
Ведь не отразился ни в ком.

И как же владеет другими
Уменье найтись и совпасть?
Хочу променять своё имя
На ласку, созвучную власть

Любимого. Но не даётся.
Уходит окольным путём.
Из выдубицкого колодца
Неужто вдвоём не попьём?

Упрятавшимся в лоно фонаря, —
Где твой фитиль охватываю я,
Тобой разносклоняемое пламя, —
Какого же имени желать,



Когда на свет слетелась благодать
 И сумрак расступается над нами.
 Так, часть — до целого и пол — до полноты
 Довоплощаешь, проникая, ты,
 И бегство упраздняется по мере
 Прибежища, налившегося в нём,
 Пока не в схватке с нашим веществом
 Отравленное вещество потери.
 А нежность — даже посреди огней —
 Влажна и обступает тем тесней
 Ковчег фонарный, что иной неведом.
 Он сам себе голубка и причал,
 Его, как жизнь, никто не выбирал,
 И никому не увязаться следом.

ХАРЬКОВ

М. Красикову, П. Крючкову

Интимней введения в город
 Немногое можно найти.
 Как вдох продлевается горлом,
 Так город — ходьбой посреди.

Запали фасады фасетом
 В невидимую кутерьму,
 Но нами кусочек разведан,
 И не отвертеться ему,

Когда извлечём из округи
 Настой, запечатанный в ней,
 И чем-то похожим на руки
 Обнимемся, только тесней.

Вот так и волхвы проходили,
 Наверно, дорогой другой,
 Втроём посвящённые силе,
 Какую не тронуть рукой.

ПОХОД

1

Тяжёлый и лёгкий разом,
 Взлетающий над тобой,
 Пока ты к земле привязан
 Горой и по ней ходьбой,

Где сердце гонимо в шею,
 Но помнит про водопой.
 И что я теперь посмею
 Сквозь топот его слепой?

Да лучше ни сном ни духом
 В кругу десяти друзей —
 Быть камнем ли, корнем, дубом,
 Заправской дорогой всей,

Чтоб море, за нас в ответе,
 То спешно, а то врастяг
 Прильнуло, одно на свете,
 И стало тебе костяк.

Всегдашней виною опознан,
 Не назван, но не аноним,
 Вдохнёшь то ли Крым, то ли воздух,
 Чтоб выдохнуть бегством самим.

Легко ли бежится украдкой
 В просвете татарских имён?
 С хребтами и балками схваткой
 Путь звёздами определён.

Залепит под дых Междуречье¹,
 Как будто бы Тигр и Евфрат
 Своею интимною встречей
 Здесь вывели вавилоняг.

Свернет котелок-самобранку
 Огонь, отзовется родник,
 Земля и ходьба спозаранку
 По локоть войдут напрямик.

¹село Междуречье в Сулакском районе, ранее Ай-Серез

Сильнее сильного прижались,
 На нет друг дружку извели.
 Но даже боль была как радость
 С проточной стороны земли.

В секундный ход ресницы малой,
 Во всхлип из самой глубины
 Какая рыба заплывала —
 Ловцы доднесь удивлены.

За рыбой медленной янтарной,
 Зияющей в бродяжких снах,
 Следит ловец, и год угарный
 Его удачею пропах.

Так, меж дорогой и рекою
 Впаду в земной круговорот,
 Но силы притяженья стою —
 Через меня она идёт.

МАРИНА МАТВЕЕВА

ЖЕНЩИНА – КРИСТАЛЛ

... А когда невозможное станет похожим на зло,
не на радость, не на воплощенье мечты идиота,
всё равно проявлю о душевной квартире заботу:
я закрою её на ключи, непонятно зело
для чего, ведь останется только идея замков,
зам[ыкающих]ков, замыкающих наши оковы,
только знаю: разбить их ни я, ни она не готовы,
хоть она и душа, ей положено, белой, легко
воспарять над землёй, ни минуты не ведать земли,
ни минуты не ведать, ни часа, ни дня и ни года. . .
Но она уже знает: чуть-чуть этот мир разозли –
он ответит тебе невозможностью всякого рода.

Невозможное. Нет. Никогда. Ни за что. Не тебе!
Ты ещё помечтай, а на большее и не надейся.
Все желания – будто попытка немого индейца
доказать дяде Сэму, что прерия, горный хребет
и леса – территория предков не Сэмовых, а . . .
Впрочем, что объяснять: дробовик объясняет доступней.
Невозможное. Руки в крови, измозолены ступни. . .
Невозможное. Мертворождённое. Спи-отдыхай.

Но когда невозможное станет похожим на зло. . .
Невозможное зло – вот тогда и откроются души
и глаза заблестят, у таких безнадежных старушек
заблестят, заискрятся, и – вспыхнет родное село,
что стояло века, не меняясь ни на и ни над,
что давно заскорузло под ногтем грязнули-планеты,
вдруг – пожаром! закатом над пропастью! Все наши неты,
никогда, ни за что, невозможности – в солнечный ад!

Ведь когда невозможное. . . Только оно суть добро.
Невозможно добро без расплаты за каждую каплю,
потому без него и спокойней, и проще, не так ли?
Хорошо без добра, – ты спроси у бездомных сирот. . .

Не сотвори себе кумира –
Не полюби.
Желанием земного пира
Не оскорби
Небесные святые очи.
Не променяй
На грешные земные ночи
Небесный рай.



Не сотвори себе кумира —
 Источник зла.
 Не пожелай звонка в квартиру
 И рук тепла.
 Не зажигай в алькове свечи,
 Не ставь цветы —
 Тем образ храма изувечить
 Посмеешь ты.

Не сотвори себе кумира —
 Душе соблазн.
 Чтоб не смотреть — зияют дыры
 Пусть вместо глаз.
 Костру — уста, ресницы, кожу, —
 Но не врагу!..
 ... Ты видишь... я стараюсь, Боже...
 И... не... мо... гу...

В этом доме спасутся исключительно вещи,
 ибо жители дома — в прегрешеньях по лиши.
 Наши дети — подонки, нам с тобою не легче
 с этим миром бороться, не уродуя души.

И уж точно не кошка с засметанным вкусом,
 не скучающий кролик, развращённый от Бога, —
 в этом доме спасётся исключительно мусор,
 да и в нём недостойного этого много.

Не глазливая люстра, освещавшая радость,
 не кровать, исскрипевшая от желаний, —
 в этом доме спасётся исключительно стадность
 всех вещей, как в начале веков христиане,

друг за друга держась, уходили на небо...
 Так же наши букеты, бокалы и свечи
 с тихим трепетом смотрят в пучину Эреба
 и мечтают о рае предметном и вещном.

Мы сидим за столом и вкушаем от водки,
 столь же равноапостольны, сколь и трусливы.
 В этом доме спасётся исключительно сводка
 новостей, что с экрана так неторопливо

изливается в жизнь. И не хочешь, а будешь
 понимать: что тот рай, если мы ещё живы!
 В этом доме спасётся всё, но только не люди —
 индугенции их изначально фальшивы.

Потому что уходят — так, «на век» не прощаясь.
 Потому что уносят больше, чем им по силе.
 В этом доме спасётся исключительно счастье,
 что зачали мы, только вот не доносили.

Сломали сливу ветры ноября.
 И хочется пожить, да алыча
 невкусная, по правде говоря,
 поэтому дорубим, и с плеча.



Руби, топор! За рублю ни рубля
никто не даст, так хоть потешим мы-
шцы. В этом пониманье: тела для
работают и души, и умы.

Что слива! — нам бы дубушек снести,
да не один. Нас Павлов на рефлекс
такой не проверял, и где постичь
ему вокупе с Фрейдом: даже секс
сравненья не имеет с топором,
которому позволено рубить.
Позволено! И рухнул старый дом,
и две старухи перестали жить,
и Достоевский прячется в гробу,
решив, что это он всему виной. . .

Не плачь, ворона, на своём дубу —
сегодня плохо не тебе одной. . .

Не пишутся стихи.
Любовь молчит.
Счастливая — зачем ей распинаться?
От счастья абсолютного ключи
на полочке лежат, числом двенадцать.
Банальностей немислимый обвал,
о том, что первый мне откроет это,
второй — другое. . .

Вряд ли сознавал
избранник, что меня-счастливой — нет.

Он
едва ли понимал, что счастье — гроб
души, живущей только в крестных муках,
едва ли знал, что по блаженству в лоб
шарахает, что катапульта, скука,
едва ли понял, с кем связался. . .

Да,
ему устроят Трою с Фамагустом!
А ключики от счастья схватит та,
что, как дикарка, выживает — чувством,
что жаждет быть рабой и госпожой,
эсэсовкой и лагерной еврейкой,
что стала лучшей из возможных жён
Батью или адмиралу Дрейку,
де Сад и Чикатило морды бы
друг другу били за такую жертву,
ей скальпы скальпелем сдирать с судьбы —
как пыль стирать иному с этажерки,
ей. . .

Лень.
Ей просто лень.

Она лежит
в уютной не пускающей постели,
медлительно сквозь мозг ползут ужи
мгновений прошлой жизни на пределе. . .
пересечённом.



Взятом,
как Памир –
в безумном восхожденье инвалидов.
Она лежит.
Её закончен мир.

И не продлить –
ни болью,
ни обидой. . .

Интернет – интернаты
беспризорных душ.
От зарплат до расплаты:
кукиш, а не куш.

Интернет – интервенты
вскроенных голов.
На обрывочке френдленты
провисает шов

между буквою печатной
и судьбой самой.
Я люблю тебя, мой чатный,
неначитный мой. . .

Квадратноголовый даун
ластится в глаза. . .
Интер-нет не интер-да, он
просто так не за–

-лечит, -гладит, -рубит, -травит,
-грузит, -ворожит,
он потребует управы
на самоё жи–

знеутробные запасы,
психовиражи.
Милый, ты ль не асьный ас и
ты ль не Вечный ЖЖид?

Интернет. . . Из интердевок
в интерпацаны. . .
Яблоко для интерЕв от
интерСатаны.

Он, лукавый интERTиXрист,
предлагает торг,
чтоб любить тебя, мой тигр из
ru.ua.net.org.

Интернет – интРоверты
экстравертОгра–
да. Возлюбленный, поверь, ты –
лучшая игра

в прятко-салко-догоняло–
во по всей сети.
Интернет – инферналы. . .
Господи, прости. . .



Мне не о чем стало царапать ножом по стеклу.
 Мне не о чем стало кричать — а шептать не умела...
 ... Пришла, повязала глаза и вручила мне плут —
 «теперь не порхать, а пахать!» — незнакомая зрелость.

Сидит, подпирает рукою щеку, будто зуб
 болит, а в глазах её — сплин мирового вокзала...
 Я было хотела из пальцев ей сделать «козу» —
 чуть-чуть рассмешить — но она мои руки связала.

«Зачем возмущаться? — рекла, — ты не сдвинешь его,
 в нём всё постоянно и тупо равно единице.
 Он был до тебя, и когда вознесёшься под свод
 небес, он помашет тебе и, помуслив страницу

твою, отвернёт. Навсегда. Чтоб другие читать.
 Зачем возмущаться? Всё правильно, всё неизменно».
 Пришла, повязала глаза, отобрала тетрадь
 и что-то покорно-тупящее впрыснула в вены.

«Надрыв — это фи!» — я теперь говорю с томнею,
 и сотни распахнутых глаз эпатажных малявок
 на миг застывают... И мигг забывают. И в бой —
 неравный — бросаются вновь, пузырясь, будто лава...

И скучной меня называют, и косной чуть-чуть,
 горластая молодь затишливых строк не «заценит».
 ... Да если я крикну — то сотни вас перекричу!..
 Вот только зачем, если крик ничего не изменит?

... Пришла, завязала глаза, запечатала рот.
 Стоит и молчит. И слова рядом с нею нелепы.
 И только меж пальцев травинку колючую трёт —
 последнюю дань уходящего намертво лета.

Мне десять лет. Я — женщина-квадрат.
 Я только начинаю видеть книги...
 Пока ещё не ношены вериги...
 Пока ещё никто не виноват...

Мне двадцать лет. Я — женщина-зигзаг.
 Я только начинаю видеть лица...
 Пока ещё не хочется отбиться
 От граммофонья од, баллад и саг...

Мне тридцать лет. Я — женщина-овал.
 Я только начинаю видеть будни...
 ... На парусном я не ходила судне...
 ... Меня ещё никто не рисовал...

Мне сорок лет. Я — женщина-кристалл.
 Я только начинаю видеть воздух...
 А мир — он для меня, наверно, создан.
 И даже Тот, Кто мне его отдал.

Мне сотни лет. Я — женщина...

ВЕРА ЗУБАРЕВА

ДРЕВНИХ МОРЕЙ МЕМУАРЫ

Я живу вблизи океана – дикого зверя.
Он срывается ночью
и пенится гривой лунной,
Прогибаясь до впадин,
где рвутся морские артерии,
Выгибаясь до хруста
коралловых позвонков со шхунами.
Я живу в лагуне печалей – тёмных энергий,
Там, где чайки стучат по утрам
железными клювами,
Отдирая моллюсков,
приросших к жемчужницам нервами,
И пузырятся крабы,
Сплавливаясь с медузами бурями.
Там шторма накрывают строку
в направлении непознанном.
Хлещет соль из пробоев
попавших в крушение раковин.
За пределами ветра
покой расширяется звёздами,
И, как купол, расписана в центре
тетрадь Зодиаком.
От тебя до меня
только адреса взлётные полосы.
От меня до тебя
быстро скомканный лист в междометиях.
Продвигаюсь к тебе
по его измятому Мёбиусу,
Где пространство в изломанном времени
тянет ляжку бессмертия.
Мне туда,
где всё за полночь, заживо, заново,
Где начало страшнее конца,
и к свободе зависимость,
В ледниковый период страницы,
где в белом всё замерло,
Ожидая, чтоб ноль растопила
священная письменность.
Мне туда,
разбиваться о скалы – о прошлые памяти,
И откатывать
к тёплому, сонному. . . Берегу? Берегу.
Он поклонник наплывов моих.
Но ему не объять меня.
Я живу вблизи океана, дикого зверя. . .



А у кромки воды,
 Там все люди становятся птицами,
 И вдыхает Лузановка
 Солью пропахшее небо.
 Этот берег – в ладони песок –
 Снова снится мне,
 И кольшутся жизни
 В сплетениях памяти-невода.
 Побережий пески –
 Словно древних морей мемуары.
 В склепах раковин,
 Тёплой водою подсвеченных,
 Только тени усопших моллюсков
 Да йодистый траур,
 Да личинки как мумии
 Между прахом и вечностью.
 Я иду и иду
 По осколкам закатного зарева.
 Волны катятся, словно пустые бутылки.
 Это я их сама с побережья другого отправила,
 А теперь вот встречаю у сна на развилке.
 Прямо двинусь – проснусь;
 Влево – встретит жужжанье сирен,
 Мидий лодки подводные в тине
 На тлеющих горках добычи;
 Вправо – полые крабьи доспехи,
 Да солнце, давшее крен,
 И оборванный след на песке
 То ли твой, то ли птичий...

Дети не знают,
 что происходит глубокой ночью,
 Куда летишь вместе с городом
 под разрывы оставшихся связей
 Со скоростью темени,
 относительно которой всё прочее
 Измеряется по ту сторону
 человеческой фантазии.
 Видишь то, что раньше было не велено,
 Когда зажмурился, в надежде подсмотреть,
 Что происходит в момент её наступления,
 Как из жизни пытаются подглядывать в смерть.
 А теперь вот закрыть бы глаза,
 чтобы миновало
 Это зрелище опрокинутых
 в безмолвие мыслей,
 Где собственное одинокое начало
 Пребывает, заглушённое до пианиссимо.
 Где эта не придуманная никем колыбельная
 Для ума, который давно всё уже понял?
 Кто бы так сумел нашептать: «Не велено!»,
 Чтоб уснуть, лишившись собственной воли?
 Как укрыться под то спасительное одеяло,
 Под которым никаких разногласий с душою,
 И превратиться в прежнее малое,
 Просто и радостно вливающееся в большое?



Утечка летней благодати, и дождь,
 Срывает небо в приступе истерик,
 А ты идёшь, идёшь, идёшь, идёшь —
 Как одинокий движущийся берег,
 Минуя погрустневшие дома,
 Стоящие всю жизнь свою на рейде.
 Мечта уплыть — навек погребена
 В фундаменте как мавзолее смерти.
 Всё мимо, мимо — чьих-то окон, глаз,
 Планет, сосущих млечности созвездий...
 Ты движешься, и сохранён баланс
 Между чередой стремлений и бездействий.
 Ты порождаешь цели бытия —
 Его извечный вектор, центр и фокус.
 И предназначен постигать тебя
 Вокруг располагающийся космос.

Памяти отца

И никакой человек, и никакой дух,
 Похожий на тебя или с вестью о тебе,
 Не пришёл. И я говорила вслух
 В комнате, где ни-ко-го. И шум голубей,
 Сорвавшихся с крыш и полетевших вниз,
 Куда их влекло притяжение ядра,
 Прозвучал приглашением на «бис».
 Но тот, кто сказал «пора!»,
 Не поднимает занавес жизни дважды...
 Непреклонны законы этой драмы.
 Вот фантазия и выписывает пилотажи,
 Ошиваясь у пустой оркестровой ямы.
 Где-то есть ты.
 Какие-то связи, нити,
 Хромосомы, космические хризантемы
 Царствий Божиих, в чьей бесконечной свите
 Раскалённые звёзды, и осколки миров, и все мы.
 Где-то есть ты.
 Во мне ли, вовне — всё едино
 В этой домне бушующих звёздных энергий,
 На которых замешана первородная глина.
 Где-то есть ты —
 в той точке схождения к Омеге,
 Где опять расхождение в пространства, в потери,
 В бездейную полу-анархию множеств
 Или в вихри небулярной материи.
 Я ловлю эти знаки.
 Горизонтом границы возможного
 Безвозвратно похищены.
 Может, вернёшься ненадолго,
 Сказку расскажешь о том,
 как там духу в космических нетях?
 Прямо над садом моим — шаткая радуга.
 Если сбежишь на минутку, там никто не заметит.
 Или я к тебе? Хочешь? Гравитация тени
 Манит как чёрная дыра
 Возможностью свободных падений.
 Но ты не позволил и шепнул: «Пора!»
 И в глубинах памяти похлопал меня по плечу —
 Мол, всё образуется,
 как пропасти между лавинами бытия.



Затянулся окурком – как раздул свечу,
И направил в сторону,
обратную от себя.

Я здесь живу,
В разном языке городе.
Сюжеты жизни уловив едва,
Иду по слуху, но теряюсь вскорости
И становлюсь предметом чьей-то повести,
Переводящей не мои слова.
Здесь, кажется, все собраны – как сорваны
С единого стола, но вопреки
Разметкам улиц, ускользают в стороны,
Неся в глазах, как будто номерки,
Рождений даты. Старый гардеробщик
Прочтёт их номер из каких-то общих,
Глобальных представлений о числе.
И что в его таится полномочьях,
И как тебя он отличит от прочих –
Суть размышлений о добре и зле.
Но чувствуешь, что сам себе хозяин,
Когда подходишь к тишине окраин,
И остается позади поток,
И нужно осознать, что ты – случаен,
Но в сотворенье обитает Бог.
И ты пойдёшь, как музыка по струнам
Иль в океан качнувшая ладья.
А тот старик, он был тобой придуман
Для оправдания смысла бытия.

СТАРУХИ

Старухи вклиниваются в день
Подбородками и носами твёрдыми от старости.
Солнце выхватывает фрагменты их лиц,
Покрытых корой с глубокими трещинами.
Велосипедисты со звоном,
Как просыпанные монеты,
Катятся по улицам.
Дети падают,
Потому что они привыкли летать
До того, как спустились в свои дома.
Старухи их терпеливо учат,
Что надо делать, чтоб забыть о полётах.
Старухи пустили глубокие корни,
Они не падают, а уходят в землю,
И глаза их всё больше теряют зреньё,
Оттого что земля не впускает свет,
А старухи глядят всегда в глубину.
Дети ещё ничего не знают.
Они трогают лица старух руками,
А потом убегают, смеются и падают,
И плачут, и не знают, почему им никак
Не удаётся подняться
В воздух, синий и тёплый, и лёгкий.
И старухи тогда подают им руки.

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

ЮРИЙ МИХАЙЛИК

(напечатано в альманахе «Дерибасовская – Ршпельевская», №45, 2011)

Эпоха уходит как поезд –
гремит и дымится.
И в окнах, как в рамах, по пояс
плывут очевидцы,
петлицами, лицами рдея
шинельного кроя, –
плывут – уплывают злодеи,
страдальцы, герои.

И все ликованья, рыданья
за три поколенья
отправились в область преданья,
затмения, забвения.
И все заблуждения, искания,
победы, невзгоды, –
в беззвучье, во тьму тараканью,
в бесследную воду.

Что ж делать – на скудном подзоле,
на спуске, на склоне,
качались мы в общем позоре,
как в общем вагоне,
в том медленном, грязном, проклятом,
в бреду, в суматохе,
в пятьсот-развесёлом, в двадцатом, –
в ушедшей эпохе.

Но в узком вокзальном ущелье
гудит вслед за нами
презрения, прощанья, прошения
угрюмое пламя. . .
Ещё б ему стыками хлопать,
навёрстывать скорость,
и сеять над рельсами копоть,
и темень, и морось. . .

Улетайте, улюлю, улетайте,
с острова Врангеля через полмира перелётный след.
Подвернётся попутный пассат – хватайте,
ибо аэропортов нет, и отечеств нет.

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ ЕВГЕНИЯ КРАСНОЯРОВА

TEMPLA NON GRATA

трагедия существования миров в пяти актах с прологом и эпилогом

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как правило, писатели, создав произведение, желают того, чтобы читатель, не размениваясь на мелочи и не откладывая дела в долгий ящик, сразу принялся за поглощение текста. Чтобы он, преодолев первые страниц десять подготовительной информации, как можно быстрее запомнил имена героев и, уже не отрываясь, с трепетом в душе следил за развитием сюжетной линии. И чем сложнее и необычнее текст, тем сильнее и непреодолимей это желание. Поэтому писатели не любят предисловий. Предисловия отпугивают читателей, особенно хороших, потому что, как мы успели заметить, все хорошие читатели страдают острой нехваткой свободного времени. Некоторые писатели всё же относятся к предисловиям с уважением. Некоторые заводят крепкую дружбу с послесловиями. Большинство не пользуется ни тем, ни другим.

Мы, как соавторы, имеем полное право утверждать, что прилагаемый ниже текст необычен и сложен. Мы предполагаем, что уже первые страниц десять вызовут множество вопросов у читателя. Можно было бы, конечно, проявить терпение и дождаться того момента, когда читатель, дойдя до последней точки, раздраемый изнутри вопросами и сомнениями, доберётся до послесловия. Но... Мы не будем ждать милостей от природы. Мы будем бить на опережение. Включая воображение, мы предполагаем, что вы захотите спросить.

Поэтому мы сразу ответим на наиболее распространённые и наиболее каверзные вопросы.

Вы спросите, чем обусловлено жанровое соотношение данного произведения. Почему – ТРАГЕДИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ. Почему не просто – драма. Оглянитесь вокруг. Снимите очки (неважно какие – розовые, зелёные, с тёмными стёклами, для коррекции зрения). Разве ВСЁ ЭТО не трагично? Разве правильно? Разве справедливо? Спасибо, в этом вы нас поняли. Почему трагедия существования МИРОВ? Скажем честно, одного универсума нам не хватило. Для двоих авторов необходимо хотя бы два. А если учесть, что миры, создаваемые демнургом человеческого со– знания и подсо– знания, будут иметь больше сходств, чем различий, то можно смело предположить, что тиканье бомбы, заложённой в основании одного из них, будет явно слышно и в остальных. Поэтому хорошо не будет ни в одном. Ни в одном не будет благополучно.

Не считаем ли мы, что Данте должен был бы перевернуться в гробу, узнав (каким-то образом), во что мы превратили его Ад. Ответим: Данте, как настоящий человек эпохи Возрождения, был бы не против того, что мы отнесли к нему, как он когда-то отнёсся к Вергилию (конечно же, с некоторыми поправками на наш XXI век), и увидел бы в этом великую преемственность поколений. Кроме того, с чьей помощью ад смог бы эволюционировать, как не с помощью писателей?

На вопрос формалистов о недопустимо большом для пьесы количестве страниц и героев, мы заявляем, что в данном случае форма полностью соответствует содержанию и задана самим жанром, если брать во внимание не литературоведческий, а метафизический аспект термина.

Большое количество вопросов будет вызвано подбором героев. Спешим вас уверить, что он не случаен. Наряду с персонами явно вымышленными (хотя не факт, что их не существует на самом деле), мы воспользовались репутацией реально существовавших людей. Мы далеко не историки и даже не претендуем на то, чтобы называться этим гордым именем. Однако все исторические факты, приведённые в тексте – достоверны и подкреплены авторитетом исследователей. В том, что нам не пришлось безжалостно замахиваться на историческую достоверность фактов, виноват наш консультант по вопросам, связанным с историей как наукой во всех её проявлениях – г-н А.Ф. Самойлов.

Почему у героя нет ни имени, ни фамилии? Потому что на его месте может оказаться любой из вас. Является ли он главным героем? Этот вопрос мы выносим на суд широкой общественности. Если вы решите, что главный герой здесь всё-таки есть, и это именно тот, кого мы подозреваем, у вас может возникнуть вопрос о Беж. Что это за имя? И почему она какая-то не такая? Да и вообще – кто она такая?

Честно: вините во всём героя. Мы считаем, что герой имеет полное право самостоятельно придумать себе героиню. Мы лишь немного (совсем чуть-чуть) ему в этом помогли.

Вопросов может быть legion. И пусть не в предисловии, но мы ответим на все. На все, кроме унижительного вопроса критика Латунского, кто нас надоумил написать ВСЁ ЭТО. На этот вопрос мы отвечать не будем, и это наша принципиальная позиция.

Если вы, споткнувшись на предисловии, забросите текст на антресоль и навсегда забудете о нём, это будет печально. Если же вы прочтёте его, и у вас не возникнет ни одного вопроса – это будет ТРАГИЧНО.

ПРОЛОГ. АД

ХАРОН
РАБОЧИЕ 1, 2, 3
ТОЛПА
ГЛАВАРЬ
АЛХИМИК
ИХТИОЛОГ

Плотина, берег Стикса. Трое рабочих в высоких резиновых сапогах, стоя на плотине, измеряют уровень воды в реке и плотность тумана над ней. На берегу Харон конопатит лодку.

РАБОЧИЙ 1 (*Харону*). Эй, Харон! Зачем ты возишься с этой лодчонкой? У тебя же теперь есть великолепный паром.

ХАРОН. По привычке. Эта лодка мне служила так долго, что стала частью меня, частью моей души, и если она придёт в негодность...

РАБОЧИЙ 2. Эй, слышите! У Харона, оказывается, есть душа! (*Смеётся*)

РАБОЧИЙ 3. Не трогай перевозчика. Спустит на тебя своего друга Цербера, тогда узнаешь, у кого есть душа, а у кого нету. Лучше молчи.

РАБОЧИЙ 1 (*Харону*). Эй, Харон, а у тебя душа ранимая?

РАБОЧИЙ 3. Сумасшедший... Разве можно связываться с человеком, проклятым богами Анда?

РАБОЧИЙ 2 (*Харону*). Эй, Харон! Много у тебя монет? Поди, хватит, чтобы пол-ада купить!

РАБОЧИЙ 3 (*Рабочим 1 и 2*). Да что вы к нему пристали? Харон отработывает долг.

РАБОЧИЙ 2 (*улыбаясь*). В карты проигрался?

РАБОЧИЙ 1. Заложил душу, а теперь пытается её выкупить.

РАБОЧИЙ 2. Да он о рае мечтает?!. (*Смеётся*)

Харон делает вид, что не замечает насмешек. Он протирает фонарь, находящийся на носу лодки.

ХАРОН. У меня душа – как у меня, а у тебя заблудшая, не то разве ты оказался бы здесь? Все мы здесь – души, духи, привидения. Плоть и кровь наши – всего лишь иллюзия, которая...

РАБОЧИЙ 2. Иллю... что?

Несколько резких подземных толчков. Рабочий 2 срывается с плотины в реку. Неясный шум доносится со всех сторон.

ХАРОН. Не нравятся мне эти толчки. Что-то странное творится вокруг. Огни на западе становятся тусклее. Станный запах носится в воздухе. Запах, которого здесь, сколько я себя помню, не было никогда...

РАБОЧИЙ 2. Чёрт побери! Какая холодная вода. Ноги сводит.

РАБОЧИЙ 3. К берегу гребни, к берегу!

РАБОЧИЙ 2. Что-то тянет меня на дно! Мамочки!

РАБОЧИЙ 1. Там что-то огромное под тобой! Что-то тёмное! Оно живое!

Над поверхностью реки появляется голова чудовища, которое пытается проглотить Рабочего 2.

РАБОЧИЙ 3. Чудовище! А вон ещё одно! Плыви быстрее! На берегу оно тебя не достанет!

ХАРОН. Рыбы Стикса... Верные стражи границы. (*Рабочим на плотине*) Оставьте его, он всё равно обречён.

Рабочий 2, борясь с чудовищем, подплывает к берегу. Харон отталкивает его от берега веслом прямо в рыбью пасть.

РАБОЧИЙ 2. Харон, ты что? Какие рыбы? Что я сделал такого?

ХАРОН. Упавшему в воды Стикса вечно да пребывать в них. Таков Закон.

РАБОЧИЙ 2 (*умирая*). Харон, всё, что я тебе наговорил – всего лишь шутка! Помоги мне!..

ХАРОН (*отворачиваясь*). Не в этом дело. Душа, глотнувшая этой воды, прекращает своё существование. Навечно. Рыбы Стикса глубоководны и неприхотливы, но иногда им тоже нужно чем-то питаться, кроме тех порошков, которые изобретают Алхимики.

РАБОЧИЙ 1. А я думал, зачем они всё сыплют что-то из мешков в реку и наполняют пробирки водой!..

Раздаётся душераздирающий крик Рабочего 2. Рабочие 1 и 3 остаются на плотине. Рабочий 2 исчезает в пасти чудовища.

РАБОЧИЙ 3. Сколько работаю здесь, на плотине, в первый раз вижу этих тварей.

РАБОЧИЙ 1. Алхимиков?

РАБОЧИЙ 3. Чудовищ.

ХАРОН. Тихо! Слышите? Сюда кто-то идёт. (*Прислушивается*) Нет, бежит. И не один. Их много, очень много.

На сцену выбегает толпа с криками «Долой!», «Не потерпим!», «Вперёд, ребята!». Один из них держит в руке плакат «Свободу – утопающим в реке!».

ТОЛПА. Переплывём эту проклятую реку! Что мы, управы на всех не найдём, что ли! Давай, ребята, не робей! Ура!

РАБОЧИЙ 3. Стойте! Постойте! Туда нельзя, в воду. Там чудовища! Они всех вас растерзают! Остановитесь!

ТОЛПА. Да мы сами – чудовища! Что ты врешь там, прихлебатель чёртов? Да не слушайте его!

РАБОЧИЙ 1. Да пусть лезут, пусть сами убедятся. Что их отговаривать? С ума все посходили сегодня.

ХАРОН. Кто вы такие? Что происходит? Кто вам позволил явиться на эти священные берега? Почему вы не на местах?

Из толпы на руках выносят Главаря.

ГЛАВАРЬ. Всем молчать. (*Толпе*) В эту воду действительно нельзя соваться так просто. Эти ребята на плотине говорят правду. С рыбами Стикса не шутят.

РАБОЧИЙ 1. Да уж одного сожрали пять минут назад.

ГЛАВАРЬ. А переправиться через реку можно. Вот и паромщик собственной персоной. (*Харону*) Готовь свой флот, адмирал. Сегодня тебе придётся потрудиться.

Бунтовщики хватают Харона и тянут его к парому.

ТОЛПА. Купанье отменяется! К парому его!

ХАРОН (*отбиваясь*). Стойте! Куда вы? Вам нельзя через Стикс!

ТОЛПА. Всё теперь можно! Тащи его!

РАБОЧИЙ 1. Эй, вы там, на берегу! Что происходит?

ТОЛПА. Революция!

ХАРОН. Вы не переплывёте через Стикс! Это граница. Через неё нельзя перейти. Вас вернут обратно. Вас накажут.

Кто-то из толпы хватает весло и бьёт Харона по голове. Тот падает в лодку.

РАБОЧИЙ 3. Вы что, очумели? Это же сам Харон! Хранитель границы!

ГЛАВАРЬ (*забирается на плотину*). А мы разрушим границу! Мы вырвемся отсюда. За нами весь Ад идёт к этим проклятым берегам! Лучше присоединяйтесь к нам, а не то останетесь без работы.

РАБОЧИЙ 1. Что же вы собираетесь делать?

ГЛАВАРЬ. Перебраться на тот берег и убраться отсюда к чёртовой матери!

ТОЛПА. Мы вычерпаем Стикс! Выпьём его! Вытопчем! Выпарим!

РАБОЧИЙ 1. Звучит неплохо.

ГЛАВАРЬ. Молчите! Мы разрушим плотину. Стикс обмелеет. Мы перейдём его вброд!

Толпа ликует. Харон приподнимается из лодки.

ХАРОН. Не трогайте! Не делайте этого! Граница между мирами должна оставаться неприкосновенной!..

Рёв Толпы заглушает Харона.

ГЛАВАРЬ (*Харону*). Готовь паром.

ХАРОН. Добирайтесь сами. Я плевать на ваши революции хотел. Есть порядок, заведённый раз и навсегда, и я не позволю. . .

ГЛАВАРЬ (*Толпе*). Заткните его!

Трое из Толпы бьют Харона, и он умолкает.

ГЛАВАРЬ. Пльвём сами. Кто может управлять этой деревяшкой?

РАБОЧИЙ 1. Но только Харон и может им править.

ГЛАВАРЬ (*Толпе*). Тогда привести Харона в чувство!

РАБОЧИЙ 1 (*В сторону*). Иzo дня в день торчать на этом проклятом берегу, глядеть на эту проклятую реку. А я вообще не выношу воды. И Главварь это дело говорит. Надо сматываться отсюда. (*Главварю*) Не думаю, что вы можете на него рассчитывать. Харону не стоит доверять. Вывезет паром на середину реки и затопит вместе со всеми вами. Он такой. . .

ГЛАВАРЬ. Да, суровый старикан. . . (*Толпе*) Отставить приводить Харона в чувство!

РАБОЧИЙ 3. Даже если вы переправитесь через Стикс, что невозможно для всех нас, то на том берегу вас ожидает встреча с Цербером.

ГЛАВАРЬ. А, античный пережиток! Цербер рассчитан на одиночек, а нас – миллиарды! (*Толпе*) Эй, все, кто здесь! Подайте голос!

Оглушающий рёв.

ГЛАВАРЬ. Слышишь? Цербер убежит от нас, поджав хвост.

РАБОЧИЙ 3. Но есть ещё Те. . .

ГЛАВАРЬ. Им не до нас. Они занимаются своим измерением, а не теми, кто его населяет. И вообще, может бытъ, мы восстаём даже против них!

ТОЛПА. Долой! Долой! Даёшь революцию!

РАБОЧИЙ 1. Стикс – это вам не банка с мухами!

РАБОЧИЙ 3. Не говори о мухах. Или ты хочешь, чтобы их повелитель. . .

ГЛАВАРЬ. Действительно, лучше замолчите оба.

РАБОЧИЙ 3 (*Главварю*). А вы не боитесь. . .

ГЛАВАРЬ. Мы – не боимся!

РАБОЧИЙ 3. Я не говорю об этой толпе. Я говорю о вас.

ГЛАВАРЬ. Ты хочешь сказать, что я – трус? Попридержи язык.

РАБОЧИЙ 3. Как бы там ни было, а вам всем обеспечены огромные неприятности.

ГЛАВАРЬ. Это вам, ребята, обеспечены неприятности!

РАБОЧИЙ 1. Почему?

ГЛАВАРЬ. Потому что в очень скором времени вам обеспечена безработица. Этого всего не будет через пару часов. Это революция, работяги. Революция!

Толпа оглушительно ревет. К берегу приближаются Алхимик и Ихтиолог на ладье. Ихтиолог высыпает в воду порошок из мешка, Алхимик наполняет большую стеклянную колбу, находящуюся в лодке.

РАБОЧИЙ 1. Глядите! Алхимик и Ихтиолог! Опять химичат что-то с проклятыми рыбами.

ГЛАВАРЬ. Ага, вот и ещё одно средство передвижения!

ИХТИОЛОГ (*ошалело смотрит на толпу, стоящую на берегу*). Батюшки! Мы не заказывали столько корма.

ТОЛПА (*отдельные голоса*). Шиш вам, а не корм. . . Хватайте их и в реку! . . . Наразводили тут на нашу голову! . . . Два часа волынку тянем! . . . Революция! . . . Только подняли всех зря. Давайте уже перебираться как-то! . . . На волю хотим!

ГЛАВАРЬ. Эй, ребята, гребите к берегу! Мы убираемся отсюда на вашем корытe!

ИХТИОЛОГ. Но у нас есть определённые обязанности. Мы должны. . .

РАБОЧИЙ 1. Пока мы здесь отбывали трудовую повинность, революция случилась. Всё, закончились трудовни. На волю везите нас, только колбы в воду повывбрасывайте.

АЛХИМИК. Но эта вода необходима для крещения мёртвых. Когда они попадают в ад, каждый обязан, по древнему обычаю, пройти обряд крещения, чтобы освободить душу от тела. Это же все знают. Я ещё не собрал все компоненты для крещения.

ИХТИОЛОГ. И потом, если мы уедем отсюда, кто же будет смотреть за рыбами? Их ещё покормить надо. . .

ТОЛПА (*отдельные голоса*). Юные натуралисты, ей-богу. . . Недаром в моё время таких на кострах сжигали.

ГЛАВАРЬ. Сюда гребите на вашей самоходке, сколько раз повторять надо. И лучше нас не злить.



Своей нерасторопностью вы вызываете в нас страшное негодование.

ТОЛПА (*отдельные голоса*). Мы негодуем... Да, мы очень негодуем.

АЛХИМИК. Но мы не управляем этой штуковиной. Она сама везёт нас по определённому курсу. Мы даже на берег не сходим.

ГЛАВАРЬ. Проклятье!

ИХТИОЛОГ. Может, посоветоваться с Хароном?

ТОЛПА. Сволочь ваш Харон! В отказку пошёл! Он против народных масс выступает!

АЛХИМИК. Есть порошок один. Он усыпляет стражей-рыб. А другие рыбы не опасны. Они здесь для красоты. . .

ИХТИОЛОГ. Зачем ты рассказываешь им об этом? Это же секретная разработка. Вдруг они провокаторы? Ещё раз на аутодафе попасть захотелось?

АЛХИМИК. Да надоели мне эти рыбы пуше философского камня. Я их боюсь. У меня от них неврастения. Я боюсь лодок! Я боюсь воды! Я стекло ненавижу! (*Разбивает колбу*).

ИХТИОЛОГ. А что, это действительно революция? Или это так, очередная проверка приграничных работников на прочность?

ТОЛПА. Революция!

РАБОЧИЙ 3. Или революция, или бедлам.

ГЛАВАРЬ (*протягивает рабочим свиток*). Читайте. Вслух. Да погромче! (*Толпе*) И вы – слушайте! Внимайте каждому слову! Чтобы потом не спрашивать друг у друга, зачем вы пришли вслед за мной на этот берег. И подумайте ещё раз – правильный ли вы сделали выбор. Слабакам не место на этом берегу Стикса. А на том – и подавно. (*Взмахом руки успокаивает разбушевавшуюся толпу. Рабочим*) Читайте!

РАБОЧИЙ 1 (*читает по слогам*). Из заседания Главной Райской Ко. . .

РАБОЧИЙ 3 (*подсказывает*). . . миссии. . .

РАБОЧИЙ 1 (*читает по слогам*). . . комиссии. В связи с образованием в Раю недопустимо огромного количества ва-на. . . ва-та. . .

РАБОЧИЙ 3 (*выхватывает список*). . . вакантных мест приказываем... не считать следующие деяния за грехи вообще: в России воровство личного и государственного имущества, за исключением нанесения телесных повреждений хранителям его; в Китае – наложение на себя рук всевозможными способами; в странах Западной Европы отменить прелюбодеяние, не влекущее за собой разделения семьи на враждующие стороны, в Соединённых Штатах Америки. . . (*Главарю*) Список очень длинен.

ТОЛПА (*отдельные голоса*). А про евреев есть что-нибудь? ...А про Берег Слоновой Кости?

РАБОЧИЙ 3. Продолжать?

ГЛАВАРЬ. Не надо. (*Толпе*) Эй, вы! Поняли, что происходит? Вы несёте тяжкую кару за поступки, которые доньше считали грехами. Смертными грехами! И что же получается сейчас?! Теперь живые могут воровать, вешаться, изменять жёнам – всё равно после смерти им обеспечено хоть последнее местечко – но в раю!

ТОЛПА (*отдельные голоса*). Долой! ...Не потерпим! ...Несправедливо! ...А мы как же?!

ГЛАВАРЬ (*потрясает свитком*). Так почему же мы ещё здесь, если смертные грехи отменили? Пусть мы были наказаны, и наказаны справедливо, но раз не существует более греха, то и кнута более не существует!

ТОЛПА. Правильно! Всё верно!

РАБОЧИЙ 3. Но ведь не всё же отменили! Только самую малость. Да и то по национальной принадлежности. . .

ГЛАВАРЬ. Да не это важно, тупая ты башка! Принцип важен! (*Толпе*). Теперь мы отбываем наказание ни за что! Про нас забыли!

ТОЛПА (*отдельные голоса*). Напомним о себе! ...Ура! Согласно ...требований!

ГЛАВАРЬ. Отныне мы берём наши судьбы в свои руки! Никогда прежде до этой минуты Ад не роптал. Потому что всё было справедливо. Но теперь. . . теперь мы сами восстановим справедливость!

ТОЛПА (*скандирует*). Вос-ста-но-вим спра-вед-ли-вость!

РАБОЧИЙ 3. Это же бред какой-то! Фантасмагория, не иначе. . .

РАБОЧИЙ 1 (*Рабочему 3*). Дурак ты! Если хочешь, оставайся. Я уйду с ними!

РАБОЧИЙ 3. А плотина? А Стикс?

РАБОЧИЙ 1 (*Рабочему 3*). Ты что, не понял? Мы все отправляемся прочь отсюда, налаживая связи на небесах!

РАБОЧИЙ 3 (*Рабочему 1*). Но те грехи, за которые ты здесь, в списках вообще не значились!

РАБОЧИЙ 1. А мне плевать, что там значилось! Я со всеми.

ИХТИОЛОГ. А меня? Меня берёте? Я усыплю рыб. Видите, я уже весь порошок высypал. Он действует почти мгновенно.

АЛХИМИК. И меня тогда тоже. Что я, один останусь здесь, что ли?

ТОЛПА. Берём!

ГЛАВАРЬ (*Рабочему 1*). Назначаю тебя своим помощником. Первым помощником! (*Ихтиологу*) Тебя – вторым. Помощником меня – вождя первой революции. Революции в Аду.

ИХТИОЛОГ. Всё, теперь вода безопасна.

ГЛАВАРЬ. Даёшь тот берег! Даёшь революцию!



РАБОЧИЙ 3 (*Главарю*). Неужели вы думаете, что, убив Харона, соблазнив Алхимика, усыпив рыб, вы выберетесь отсюда? Оставьте эту затею. Я уверен, здесь ещё тысячи преград. Все эти души просто исчезнут, пока преодолеют их. Никому так просто не выбраться из Ада. Кого вы поведёте прочь отсюда? Кого вы поведёте вверх?

ГЛАВАРЬ. Мне достаточно того, что я сам отсюда выберусь.

РАБОЧИЙ 3. Провокатор!

РАБОЧИЙ 1. Отличный парень! Рушьте плотину! Тогда Стикс обмелеет, легче будет на ту сторону перебраться.

АЛХИМИК. А нам что делать? Через три минуты наша ладья поплывет дальше по курсу.

ГЛАВАРЬ. Не поплывет. (*Толпе*) Мы вообще уничтожим границу. Вычерпаем воду! Осушим Стикс. Вытопчем Стиксово дно! Даёшь!

ХАРОН (*издалека*). Нет!

Харона никто не слышит. Над рекой поднимается оглушительный плеск. Одни усиленно поднимают брызги в воздух, другие напирают на плотину. Рабочий 3 падает в воды Стикса. Плотина трещит по швам. Всеобщий хохот, грохот, гвалт. В воздухе разливается жёсткий аромат смерти. Уровень воды начинает подниматься. Теперь он – рабочим по шиколотку. Над плотинной зажигаются лиловые стеклянные молнии.

Занавес.

АКТ ПЕРВЫЙ. АД

РАДАМАНТ
 ЭАК
 МИНОС
 АТТИЛА
 НАПОЛЕОН
 ЛИНКОЛЬН
 МАЗАРИНИ
 ПЁТР I
 АВВАКУМ
 СТАЛИН
 УЧЁНЫЙ ИЗ ГЕРМАНИИ
 УЧЁНЫЙ ИЗ ЯПОНИИ
 УЧЁНЫЙ ИЗ РОССИИ
 УЧЁНЫЙ ИЗ БЕЛЬГИИ
 ДЕДАЛ
 РАВНОДУШНЫЕ
 ГЛАВАРЬ
 ОХРАННИКИ 1, 2
 ПОПЫ
 ОБОРВАНЕЦ

Среди развалин и руин стоит большой стол, покрытый чёрным бархатом. Над ним покорёженный железный плакат с надписью: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Оборванец бьёт по нему молотком, производя грохот. Во главе стола сидит средних лет мужчина в чёрной тунике – Радамант. По обе стороны от него – также мужчины, одетые в костюмы всех времён и эпох. Они спорят, машут друг на друга руками. Мужчина в центре стола звонит в колокольчик. Вместо звона раздаются странные звуки: вой волка, уханье филина, стоны.

РАДАМАНТ. Тихо, тихо. Успокоились все! Мы собрались здесь не для того, чтобы выяснять личные симпатии и антипатии, равно как и не для мордобития. У нас возникла серьёзная проблема. Я бы даже сказал, очень серьёзная проблема. (*Бьёт кулаком по столу*) Серьёзнее проблемы мы ещё не решали, чёрт побери!

Появляется мужчина средних лет в синей тунике – Эак, отводит Радаманта в сторону, они шепчутся.

АТТИЛА. Бросим здесь всё, как есть, и завоюем новые пространства!

НАПОЛЕОН. Ничего мы бросать не будем. Своё место за собой оставим, и за счёт продуманной военной кампании расширим наши земли до невообразимых пределов...

ЛИНКОЛЬН. А вы до сих пор Москвой бредите?..

АТТИЛА. Да пока мы здесь, они там!..



МАЗАРИНИ. Вы отстаёте во времени, друг Аттила. Уже нет свободных пространств, которые можно было бы завоевать. Последние события это доказали. На сегодняшний день пространственно-временные континуумы трёх миров переплетены настолько тесно, что нарушение границ одного повлечёт за собой необратимые изменения в универсумах двух других.

АТТИЛА. Чего?

ЛИНКОЛЬН. Да он не только во времени отстал. Он в умственном развитии отстал. На полтора тысячелетия!

АТТИЛА (*выхватывает меч и прыгает на стол*). Чего?!

ЗАСЕДАЮЩИЕ (*в унисон*). Ничего, ничего. Это шутка.

АТТИЛА. Пошутите ещё разочек! Я уже давно никого не разрубал пополам с одного размаха.

ПЁТР I. Только реформа! Только реформа!

На сцену выбегает Аввакум. За ним бегут Попы и Оборванец с криками «Ловите Аввакума». Аввакум бьёт Петра I по голове.

АВВАКУМ. Вот тебе реформы, кузькину в печёнку мать! Вот тебе!

Аввакума хватают Попы, уводят за кулисы.

СТАЛИН (*Петру I*). На вашем месте я бы расстрелял его ещё до ссылки. Плохо работаете.

ПЁТР I. Только реформа!

НАПОЛЕОН (*обводит руины рукой*). Ну какая здесь ещё может быть реформа?!

Все кричат, перебивая друг друга. Радамант и Эак садятся к столу.

РАДАМАНТ. Ну что, пришли вы хоть к какому-нибудь решению или нет?

НАПОЛЕОН и АТТИЛА. Судья Радамант, только война!

ЛИНКОЛЬН и ПЁТР I. Только реформа, судья Радамант!

Снова появляется Аввакум. За ним мчатся Попы и Оборванец. Один из них хватается Аввакума и бьёт его по лицу. Аввакум выплёвывает зубы с кровью и кричит в зал.

АВВАКУМ. Дураки вы вше, тараканье племя! Молитешь, молитешь, и Гошподь Всемогущий нишпошлет на ваш, шукиных детей, благодать швою. . .

Мазарини тянет руку ко лбу, чтоб перекреститься, но вовремя спохватывается. Радамант сплёвывает на пол и звонит в колокольчик. Аввакума уводят. Все замолкают.

СТАЛИН. Сперва предлагаю найти зачинщиков всего этого беспредела, а равно их родных и близких, и наказать их по всей строгости закона. Показательные процессы над врагами нашего общества оказались бы не лишними в обстановке всеобщего малодушия и ренегатства.

АТТИЛА. Ты на кого это намекаешь, лицо неопределённой национальности? Это какого такого малодушия?

РАДАМАНТ (*Атилле*). Цыц! (*Сталину*) Излагайте.

СТАЛИН. И я взял на себя ответственность за операцию по выявлению элементов, проводивших разрушительную работу на нашей территории. Можно предъявить?

РАДАМАНТ. Предъявляйте.

Два человека в форме НКВД (Охранники) вводят избитого и окровавленного Главаря. От боли и измождения тот падает на колени.

РАДАМАНТ (*Главарю*). Говорите.

Главарь молчит.

СТАЛИН. Пусть молчит! У нас есть протокол допроса, который этот предатель подписал сегодня утром.

ЛИНКОЛЬН. Судя по внешнему его виду, он готов был подписать что угодно ещё вчера вечером.

СТАЛИН. Зачитываю: «Признаю себя виновным в том, что прямым и косвенным путём получал информацию из рая и использовал её. . .»

РАДАМАНТ (*Главарю*). Прямым путём? Это непосредственно от ангелов, что ли?

СТАЛИН (*Главарю*). Говори, покойник, от ангелов?

ЗАСЕДАЮЩИЕ. Говори, от ангелов?!



Охранники пинают Главаря, голова того безжизненно мотается из стороны в сторону.

РАДАМАНТ *(Главарю)*. Или от праведников?

ЗАСЕДАЮЩИЕ *(Главарю)*. Говори, от праведников?!

Охранники поднимают голову Главаря. По щекам того текут слёзы.

ЭАК. Хороши!... Ой, хороши!... Кто и что там, в раю рассказывает и какие тайны кому выдаёт, меня мало интересует. Но наши, наши!..

МАЗАРИНИ. Позор нации!

СТАЛИН. Враги народа!

ЛИНКОЛЬН. Итак, к чему мы его приговорим?

АТТИЛА. К чему захотим, к тому и приговорим.

СТАЛИН. К пяти годам ежедневного расстрела...

НАПОЛЕОН. Через повешенье...

Входит мужчина средних лет в красной тунике – Минос.

МИНОС. Интересная мысль...

Минос садится за стол, что-то вписывает в протокол допроса, ставит печать и звонит в колокольчик. Снова раздаются вой волка, уханье филина, стоны. Охранники уволакивают Главаря.

РАДАМАНТ. Но... Погодите! Виновных обычно находят и наказывают в самый последний момент! После того, как всё восстановлено, приведено в порядок, после истечения энного количества лет.

НАПОЛЕОН. Но не отпускать же его теперь!..

МИНОС. Тоже верно. Итак, мы знаем, что души, смущённые речами бунтовщиков...

ЛИНКОЛЬН. Которые, по сути, были правы...

МИНОС. Не перебивайте меня, а то я выведу вас из зала!

ЛИНКОЛЬН. Который и залом-то тяжело теперь назвать...

СТАЛИН. Руины.

ПЁТРИ. Развалины.

АТТИЛА. Полный крах!

МИНОС *(в ярости)*. Молчать!!! Линкольн, выйдите вон отсюда!

ЛИНКОЛЬН. И вечно я терплю за демократию...

Линкольн уходит.

РАДАМАНТ. Разболтались здесь! Тоже революции захотелось? Вы вообще представляете себе, что произошло? Озверённая толпа взбесившихся душ, за которыми вы, между прочим, должны были следить, решила вырваться отсюда, разрушив границу.

ЭАК. Плотины, обуздывающей воды Стикса, больше нет, и воды его перетекают в верхний мир. Это нарушило равновесие между мирами. У нас произошло землетрясение, а что произошло наверху – никому неизвестно.

МИНОС. В результате землетрясения круги Ада перемешались, остатки душ, не потонувшие в Стиксе, обалдевшие от свободы, бродят по развалинам, и мягко говоря, продолжают бесчинствовать дальше и всячески провоцируют подземные толчки.

РАДАМАНТ. Итого: от Стикса осталась жалкая лужа, от подчинённых – группы невменяемых, от Ада в целом – жалкое воспоминание.

МИНОС. И я спрашиваю вас – что теперь делать?

ЭАК. Иначе говоря, чем занять этих разбойников, чтобы они прекратили это безобразное землетрясение! Потому что таких землетрясений не бывает! Это ж надо: трясёт три часа без остановки!

НАПОЛЕОН. И неизвестно, чем это может закончиться!

ПЁТРИ. Неизвестно, что ещё там, под нами, может оказаться, если твердь разверзнется!

СТАЛИН. Мы думаем, что это вина Сизифа. В конце концов, ему всегда здесь не нравилось.

МАЗАРИНИ. О, Сизиф! Он хитрец известный!

ЛИНКОЛЬН *(из-за кулис)*. Значит, он просто сбросил камень вниз и спровоцировал обвал, который и вызвал землетрясение?

АТТИЛА. Никогда я не доверял этим грекам!

МАЗАРИНИ. О, если бы в Аду остались одни христиане...

МИНОС. Но-но, полегче!

РАДАМАНТ. В этом месте мы оказались пораньше Вас.

ЭАК. И потом что бы вы делали без нашего Стикса?

РАДАМАНТ. Я думаю, не нужно объяснять, почему мы здесь главные?



МИНОС. Как самые справедливые люди в Элладе после смерти, мы призваны были стать судьями душ в Аиде...

ЭАК. И решили остаться здесь, после того, как Гадес и Элизиум разделились на Рай и Ад.

МИНОС. Это для тупых. И если ещё кто-нибудь поднимет здесь национальный вопрос... Вернёмся к делу. У нас – катастрофа. И ваша роль, как властелинов людей при жизни – утомонить теперь эту невменяемую толпу.

СТАЛИН. В течение последнего часа я работал над сбором предложений по этому вопросу. Есть несколько необычных, передовых проектов, которые предложили нам современные учёные и которые, несомненно, не только позволят выиграть время, но и улучшить жизнь наших подопечных.

ЭАК. Странно, у нас ещё есть учёные?

СТАЛИН. Да, но они современные.

РАДАМАНТ. Расскажите подробнее.

СТАЛИН. Они ждут в коридоре.

МИНОС. Их много? Они компетентны? Не знаю учёного лучше Дедала. Правда, иногда он строптив и неуправляем...

РАДАМАНТ. Приведите первого!

Охранники выталкивают на сцену Учёного из Германии.

ОХРАННИКИ. Этот – из Германии.

УЧЁНЫЙ ИЗ ГЕРМАНИИ. Я попрошу без рук. Я всё-таки лауреат. Нобелевский! И вы обязаны это учитывать.

МАЗАРИНИ. Прямо-таки Нобелевский?

УЧЁНЫЙ ИЗ ГЕРМАНИИ. Вас это удивляет?

АТТИЛА. Нет, он ещё и хамит, вы посмотрите!

РАДАМАНТ. Здравствуйте. Давно ли вы живёте в Аду?

УЧЁНЫЙ ИЗ ГЕРМАНИИ. Сколько себя помню... *(Задумывается)* Насколько позволяет мне память...

НАПОЛЕОН. Почему у вас возникло желание предложить нам проект по спасению Ада? Разве вы не бунтовали со всеми?

МАЗАРИНИ *(задумчиво)*. Я думаю, здесь на лицо комплекс спасителя.

УЧЁНЫЙ ИЗ ГЕРМАНИИ. Честно говоря, я плохо понимаю, о чём вы говорите. Бунт? Какой бунт? Я занимался вопросами разрешения пространственных уравнений с неизвестным количеством неизвестных, когда стая разбойников, причём не из моего круга, напала на меня и в ключья изорвала мои бумаги.

АТТИЛА. Врёт он! Он вместе с ними!

СТАЛИН. Любую ложь очень легко проверить. Отдайте этого интеллигента моим ребятам!

МИНОС. Да погодите вы со своими ребятами! *(Учёному из Германии)* Говорите.

УЧЁНЫЙ ИЗ ГЕРМАНИИ. Да, я лауреат, и горжусь этим. Пусть в прошлой жизни, пусть не здесь, но это не меняет дела. У меня уже голова болит от этого шума, от этих толчков мысли вылетают из головы. Невозможно работать! Я хочу восстановить прежний порядок вещей исключительно для того, чтобы работать в спокойной приемлемой обстановке.

ПЁТРИ. Эгоист!

ЭАК *(Петру)*. По крайней мере, он хоть что-то предлагает. А вы что предлагаете?

ПЁТРИ. Реформу!

РАДАМАНТ. Какую?

ПЁТРИ. Прорубить...

МИНОС. Хватит! Нарубили уже! Теперь хоть с этим бы разобраться!.. *(Учёному из Германии)* Ну что ж, расскажите нам, что вы предлагаете. Вы неординарны, но логичны.

УЧЁНЫЙ ИЗ ГЕРМАНИИ. Поскольку каждая причина имеет свою предпосылку, нам необходимо выяснить предпосылку причины недовольства. Представим себе фавна. Разве он бы стал роптать, если его попросили бы делать подножки поездам? Нет. Это очевидно.

ЭАК. А если ближе к делу?

УЧЁНЫЙ ИЗ ГЕРМАНИИ. Труд, труд и только труд. Необходимо собрать всех и заставить работать. Тем более, что существовать-то, в принципе, негде.

РАДАМАНТ. Вы предлагаете восстановить заново крути Ада? Но на это уйдёт неизвестно сколько времени!

УЧЁНЫЙ ИЗ ГЕРМАНИИ. Для начала я предлагаю не разгребать развалины, а сразу начать новое строительство. Грандиозное строительство, на которое можно будет с лёгкостью переключить внимание бунтовщиков. Намного эффективнее повести их на новое свершение, а не на восстановление прежних кругов, которые им порядком поднадоели. Я разработал проект, согласно которому грешники размещаются не в прежнем ландшафте, а в отеле, выстроенном по последнему слову науки и техники. Вместо кругов – этажи, вместо неудобных и опасных подъёмов и спусков – лифты...

МИНОС. Тот же принцип под новым соусом... Неплохо. Только где же его строить?

УЧЁНЫЙ ИЗ ГЕРМАНИИ. Конечно же, на том месте, которое раньше занимал Стикс. А после постройки отеля займёмся и расчисткой территории.



ЭАК. Но неужели Стикса больше нет и его никак не восстановить?

УЧЁНЫЙ ИЗ ГЕРМАНИИ. Существует легенда, согласно которой плотина на Стиксе была построена землянами, чтобы уберечь свой убогий верхний мир от тех плюсов, которыми располагает Ад. А это значит, что плотина нужна не нам, а им. А теперь плотина разрушена. Какие преимущества для Ада это сулит? Во-первых, наши люди получают работу по имитированию восстановления плотины. Во-вторых, Стикс перестаёт быть загнанным в берега, и мы избавляемся от лишней воды, смотреть за которой очень накладно и трудно. Плюс по статистике ежедневно, я имею в виду земное время, с десяток душ исчезает в его водах. Посчитайте, сколько это составит в год. Я имею в виду год по земному времени. Но это неважно. В-третьих, земляне получают реальную возможность сравнить жизнь на Земле и в Аду, а значит, к нам будут приходиться всё новые и новые души. И, в-четвёртых, в конце концов, мы свергнем ненавистный нам режим верхнего мира.

АТТИЛА. Я же говорил! Завоеем новые пространства . . .

ЭАК (*Учёному из Германии*). А потом?

УЧЁНЫЙ ИЗ ГЕРМАНИИ. Потом наступит Абсолют.

РАДАМАНТ (*участникам заседания*). Что вы думаете обо всём этом?

СТАЛИН. Объективные аргументы.

ПЁТРИ. Прогрессивно мыслит.

МАЗАРИНИ. Он – гений.

РАДАМАНТ (*Учёному из Германии*). Мы одобряем ваш проект. Присядьте. (*Указывает рукой на пустующий стул*) После заседания я познакомлю вас с вашим начальником по учёной части, и вы вместе рассчитаете в подробностях все цифры и составите смету.

Учёный из Германии садится.

РАДАМАНТ. И всё-таки это не решает всех наших проблем.

СТАЛИН. Есть ещё второй учёный.

МИНОС. Пригласите.

Охранники жестами приглашают Учёного из Японии. Учёный из Японии входит.

ОХРАНИК. Этот – из Японии.

МИНОС (*Учёному из Японии*). Так что?

УЧЁНЫЙ ИЗ ЯПОНИИ. Я знаю, чем можно занять эти несчастные заблудшие души, смущённые революционной идеей! Один прелюбодей из Франции, недавно весьма скоростно скончавшийся, поведал мне секрет машин, которые называются компьютерами и выполняют на Земле многие функции, помогая людям жить. Вот – схема такой машины. (*Бросает на стол мятую тетрадь*) Жизнь значительно упростится и людям будет чем занять себя. С помощью компьютеров возможно созидать и изменять реальность, играть в громадное количество игр . . . Если построить такие машины и снабдить ими каждого адца, наша юдоль выйдет на новый уровень жизни.

РАДАМАНТ (*листая тетрадь*). Что-то в этом есть. Как думаете? (*Передаёт тетрадь другим участникам заседания*).

СТАЛИН. До меня доходили слухи о подобных приспособлениях. Я ждал того момента, когда у нас в руках появится их схема. Я полагаю, этот учёный станет достойным продолжателем нашего нынешнего учёного совета.

УЧЁНЫЙ ИЗ ЯПОНИИ. Может, не стоит?

МАЗАРИНИ. Вы не хотите работать с нами?

УЧЁНЫЙ ИЗ ЯПОНИИ. Хочу.

СТАЛИН. А у него выхода нет.

РАДАМАНТ (*Учёному из Японии*). Насколько эти машины безопасны? И зачем они для каждого рядового адца?

УЧЁНЫЙ ИЗ ЯПОНИИ. Они будут просто незаменимы при строительстве Отеля. Я слышал, вы уже утвердили проект моего коллеги?

СТАЛИН. Не сомневайтесь в его искренности, судья. Я его проверял. Он чист.

РАДАМАНТ. Ну что ж, дело можно считать решённым! Вы займётесь проектом сегодня же. Мы пошлём глашатаев сделать соответствующие заявления народу! Ваш проект не так срочен. Для начала предписываю вам соорудить одну такую машину и показать мне. А дальше посмотрим.

СТАЛИН. Есть ещё один учёный. На этот раз из России. Пригласите товарища!

Входит Учёный из России.

УЧЁНЫЙ ИЗ РОССИИ. Мы долго размышляли о том, как увеличить территорию ада. Это необходимо на тот случай, если власти примут решение расширить земельные владения рядовых жителей ада. . .

МИНОС. И что же вы придумали?

УЧЁНЫЙ ИЗ РОССИИ. В целях увеличения рабочей площади ада, Мирозданию предписывается ро-



дять трёх планет, спутников ядра Земли, в пределах измерения наших подземелий. Мы получим систему планет. Одну назовем Мраморный Люцифер, она будет рождена из чистого мрамора, другую – жемчужная Лилит, которая, по большому счёту, будет являться огромной жемчужиной. Третья же постепенно превратится в чёрную дыру – вход в новое измерение, назовём её Прозерпиной.

РАДАМАНТ. Я передам Вашу идею Самому, чтобы он подписал распоряжение на создание подобной системы. Но над названиями надо ещё подумать.

ЭАК. А что же будет с ядром Земли? Да и с Землёй что будет?

УЧЁНЫЙ ИЗ РОССИИ. Не беспокойтесь! Всё произойдёт виртуально.

ЗАСЕДАЮЩИЕ. Как?

УЧЁНЫЙ ИЗ РОССИИ. Никто нигде ничего не заметит. Просто вместо ,допустим, того холма появится дверь. За ней будет размещён ещё один мир, но дополнительного пространства для его существования не потребуется. Он просто будет наслаиваться на наш! Мы же, учёные, обязуемся во всём помогать Мирозданию.

РАДАМАНТ. Проект замечательный, если учесть, что по сравнению с раем, наши пространственные возможности просто ничтожны.

АТТИЛА. Во загнул!

НАПОЛЕОН. Тоже лауреат?

УЧЁНЫЙ ИЗ РОССИИ. Да нет. Я так, доцент просто.

МИНОС. Как доцент? Не профессор даже? (*Сталину*) Ты что, Сталин? Пытаешься земляка продвигнуть на неплохую должность?.. Хочешь везде иметь своих людей?

Сталин отворачивается.

УЧЁНЫЙ ИЗ РОССИИ. Да нет! Что вы! Я здесь совсем недавно. Я как раз работал над поисками необходимых компонентов для доказательства моей теории о создании параллельных миров из подручных средств, и вдруг умер. Поначалу я очень расстроился, но потом, когда огляделся по сторонам, понял – всё, что мне необходимо, есть здесь. Может быть, только здесь оно и есть... Поэтому, если всё получится, я думаю, что вы сможете наградить меня и здесь – посмертно. Нет-нет, я не напрашиваюсь!.. Просто, если вас смущает то, что я всё ещё доцент... .

Входит Дедал с самодельными крыльями за спиной.

ДЕДАЛ. А, заседаете?

МИНОС. Тебя-то нам и не хватало! Ты – выдумщик известный.

ДЕДАЛ. Не особо хочется вам помогать, но из-за всех этих перипетий гора, с которой так удобно было испытывать мои новые крылья, превратилась в сплошные руины.

РАДАМАНТ. Уж не та ли гора, на которую Сизиф осужден был вкатывать камень?

ДЕДАЛ. Та самая.

ПЁТРИ. А не видел ли ты, что там произошло?

ДЕДАЛ. Ну, видел.

ЗАСЕДАЮЩИЕ (*в унисон*). И что?

ДЕДАЛ. Что, что? Ничего хорошего! Взял ваш Сизиф пресловутый камень, обошёл с ним вокруг горы и сбросил его с самой вершины в пропасть.

ЭАК. С той стороны, где пещеры?

ДЕДАЛ. Ага.

МИНОС. Я давно говорил, что эту гору надо упразднить. Там же самые лучшие условия для горного обвала!

АТТИЛА. А я вам говорил, что грекам нельзя доверять?

ПЁТРИ (*Дедалу*). А где этот вероотступник Сизиф, знаете?

ДЕДАЛ. Ну, знаю.

ЗАСЕДАЮЩИЕ (*в унисон*). Где он?

ДЕДАЛ. Случайно вслед за камнем свалился в пропасть.

РАДАМАНТ. Слава богу!

МИНОС. Но эта гора без камня как-то не смотрится. Я думаю, нет смысла её восстанавливать.

ДЕДАЛ. Как это? Там всё-таки мой посмертный дом!

РАДАМАНТ. Уж не ты ли его надоумил это сделать, Дедал?

ДЕДАЛ. Что сделать?

ЭАК. Устроить землетрясение?

ДЕДАЛ. Уж не я! Мне выгоды нет.

СТАЛИН. А, позвольте спросить, зачем вам крылья в этом месте? Не сильно здесь разлетаешься.

ДЕДАЛ. Здесь – не сильно.

СТАЛИН. А где сильно?

ДЕДАЛ. Да уж не здесь!

ПЁТРИ (*Заседающим*). Вы на перья-то на крыльях посмотрите! Здесь таких нет. Такие у ангелов толь-



ко, в раю. Уж не ты ли, Дедал...

НАПОЛЕОН. Уж не ты ли, Дедал, распространял у нас в Аду эти райские прокламации?

ДЕДАЛ. Не скажу.

МИНОС. Он может.

ПЁТРИ. Он, конечно! Посмотрите, как у него глаза бегают.

ДЕДАЛ. Это не глаза бегают. Это специальные лётные очки со встроенными алмазными фасеточными зрачками — для полного обзора пространства.

АТТИЛА. Чего?

ДЕДАЛ. Того.

ЭАК. И где они здесь, в Аиде, всю эту ерунду для цапек своих находят? Где ты алмазы взял, Дедал?

ДЕДАЛ. Что вы ко мне пристали? Если вы гору мою из планов восстановления вычёркиваете, то мне здесь с вами вообще делать нечего! Я для полётов и другое место могу найти.

АТТИЛА. Да что вы с ним церемонии разводите? Хватайте его и выберите признание в конце концов!

МАЗАРИНИ. Такого схватишь! Он крылышки свои наденет и упорхнёт, как голубок. Ищи потом ветра в поле!

РАДАМАНТ. Дедал, ты как сторожил, походи, посмотри, подумай, как нам здесь всё в порядок привести побыстрее. Вон там (*кивает на учёных*), на стульчиках, учёные сидят. Вы с ними как-то планчик организуйте по-быстрому.

ДЕДАЛ. А гора?

МИНОС. Слушай ты, изобретатель! Ты про гору пока забудь! Ты лучше о себе подумай! Здесь у нас товарищ Сталин очень интересуется причинами возникновения этого бунта. А с товарищем Сталиным шутки плохи. Он пятьдесят миллионов за двадцать лет в прах превратил, так что с тобой он сильно церемониться не будет. Понял?

ДЕДАЛ. Ладно, ладно.

РАДАМАНТ. Вот и ступай к учёным. Выслушай их предложения, и вместе составьте проект по реорганизации Ада.

МИНОС. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше для вас.

Входят Равнодушные.

РАВНОДУШНЫЕ. Здравствуйте.

ЗАСЕДАЮЩИЕ. Доброй ночи.

НАПОЛЕОН. Вы кто?

ПЁТРИ. Бунтовщики?

МАЗАРИНИ. Пострадавшие?

РАВНОДУШНЫЕ. Мы — равнодушные.

ЗАСЕДАЮЩИЕ. К чему?

РАВНОДУШНЫЕ. Ко всему. Мы из первого круга.

РАДАМАНТ. Замечательно, что ещё кто-нибудь помнит, где находится! И что вас привело сюда?

РАВНОДУШНЫЕ. Равнодушие.

АТИЛЛА. К чему?

РАВНОДУШНЫЕ. Ко всему.

ЭАК. Замечательно. Всё больше убеждаюсь, что самое парадоксальное место во Вселенной — это Ад.

РАВНОДУШНЫЕ. Нам, конечно, всё равно, что происходит вокруг...

МИНОС. Вы знаете, что в Аду произошёл бунт...

РАВНОДУШНЫЕ. Нам всё равно, что произошло.

АТИЛЛА. Не верьте им. Не верьте!

СТАЛИН. Поначалу все прикидываются Божьими овцами...

МАЗАРИНИ. ... Коровами...

АТИЛЛА. Да хоть ослами!

СТАЛИН. ... Но если копнуть поглубже...

РАВНОДУШНЫЕ. Мы не прикидываемся. Нам смысла нет.

ПЁТРИ. Так что вы сюда припёрлись? Не видите что ли? У нас — совещание.

РАВНОДУШНЫЕ. Обстоятельства заставляют нас нарушить наши принципы. Мы пришли просить.

ЭАК. Интересно. О чём?

РАВНОДУШНЫЕ. Мы просим нас из круга первого переместить.

МИНОС. Куда?

РАВНОДУШНЫЕ. В другое место.

РАДАМАНТ. В какое же?

РАВНОДУШНЫЕ. Нам всё равно.

МИНОС. Ну, оставайтесь там же, где и были, раз вам всё равно!

РАВНОДУШНЫЕ. Мы не можем там остаться. Там просто негде оставаться равнодушными.

РАДАМАНТ. А что с первым кругом?

РАВНОДУШНЫЕ. Он исчез.

СТАЛИН. А вы остались?

РАВНОДУШНЫЕ. Да. Именно так.

СТАЛИН. Подозрительно как-то.

РАДАМАНТ. Не важно это! Вы сейчас и этих запугаете своими вопросами. Сколько вас?

РАВНОДУШНЫЕ. Много. Очень много. Больше, чем всех остальных.

ЭАК. Ещё один парадокс. А ведь, казалось бы, нет более неравнодушного ко всему вокруг сплетения атомов, чем человек! (*Кричит за сцену*) Эй, там, посчитайте, сколько у нас равнодушных.

Вбегает Оборванец.

ОБОРВАНЕЦ. Боюсь, сосчитать их невозможно, судья Радамант. По крайней мере, для этого потребуется не одна ночь.

Входит Учёный из Бельгии.

УЧЁНЫЙ ИЗ БЕЛЬГИИ. Я опоздал. Простите. Здесь совещание?..

ЗАСЕДАЮЩИЕ. Вы кто?

УЧЁНЫЙ ИЗ БЕЛЬГИИ. О, я ученый.

АТИЛЛА. Ещё один?

НАПОЛЕОН. Мы оказались в замечательном положении, господа. Похоже, что кроме нас в Аду остались только те, кому больше всех надо и те, кому не нужно вообще ничего. Как бы здесь не началась вторая революция!

УЧЁНЫЙ ИЗ БЕЛЬГИИ. Вот-вот! Я как раз по поводу равнодушных. Я и опоздал потому, что их считал. В принципе, их такое огромное количество, что восстановить ресурсы Ада не составит труда, если расшевелить равнодушных. За каждым хоть какой-нибудь грешок да найдётся.

РАДАМАНТ. Замечательно! Тогда решается проблема с трудовыми ресурсами.

МИНОС. Эй, Дедал! Что вы там придумали?

ДЕДАЛ. Построим модный десятиэтажный отель для особо важных персон, великих, легендарных грешников и гостей Ада. Расширим русло Стикса по методике Учёного из России. Компьютеризация. Мелнорация. Так сделаем – у всех слюни от зависти потекут. Реклама, опять-таки. Приоритетным направлением развития Ада в недалёком будущем станет туризм.

Радамант, Минос и Эак совещаются.

РАДАМАНТ. Товарищ Сталин и Мазарини! Найдите за равнодушными грехи в соответствии с иерархией кругов Ада. Каждый из них будет трудиться над соответствующим этажом.

СТАЛИН. Будет сделано! Сколько номеров должно быть в отеле?

РАДАМАНТ. Вы задаёте прямо-таки детские вопросы! Девятьсот девяносто девять, конечно! Кроме того, на третьем этаже, где будут селиться великие чревоугодники, должна быть сооружена общественная столовая и шестьдесят шесть маленьких кафе, а на седьмом этаже... Записывайте, записывайте... (*Мазарини пишет в записную книжку*) На втором этаже должно быть четыре гарема.

ДЕДАЛ. Для гаремки...

РАДАМАНТ. Два мужских, один женский и один для мутантов... На шестом – четыре творческие лаборатории для учёных... Ну, а остальное – в процессе работы над проектом.

СТАЛИН. Замечательно придумано!

ДЕДАЛ. А как ты думал?! И это только начало!

РАДАМАНТ. А сейчас я объявляю перекур до наступления сумерек. Все свободны.

Радамант звонит в колокольчик. Участники заседания вскакивают и, шумя, выходят за дверь. Оборванец садится на стол и закуривает. Радамант выключает рубильник у двери и выходит. Свет гаснет.

ИНТЕРМЕДИЯ ПЕРВАЯ

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН

АВРОРА

Городская свалка. Сиреневый Манекен держит в руках стакан с водой.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Вода из Леты у меня в стакане.

АВРОРА. Здесь мне больше нечего делать. Я ухожу.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Куда?

АВРОРА. В забьгье. В Лету.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Но вода из Леты у меня в стакане, Аврора.



АВРОРА. Значит, я растворюсь в ней.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Тогда она превратится в вино...

Сиреневый Манекен подносит стакан ко рту и собирается пить.

АВРОРА. Когда начали иссякать подземные источники, которые питали водой наш мегаполис, люди начали паниковать. Стали умирать от жажды, ведь никаких других месторождений воды в мире не было обнаружено. Это они думали, что умирали от жажды, а на самом деле умирали от паники. Но тогда за пределами мегаполиса обнаружили реку. Её раньше не было. Учёные назвали её Стиксом, а в народе пошло название Лета. И власти нашего города решили снабжать население водой из Леты. Сначала было люди успокоились, но потом оказалось, что, уголяя жажду этой водой, люди стали забывать. Сначала номера телефонов, потом фамилии любимых актёров... И люди снова начали паниковать.

Сиреневый Манекен пьёт воду.

АВРОРА. И никто уже не слышал голоса с неба, говорящего, что теперь жажда – живительная влага. Что людям следует отказаться от воды.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. В этом мире Бог говорит не с неба, а из-под земли. А от неба он просто отражается.

АВРОРА. А потом в мире стали происходить странные вещи...

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Есть такие люди, с которыми хочется жить. А есть такие, с которыми хочется умирать. Я из таких...

АВРОРА. Как жаль, что ты не бог! Мы могли бы исчезнуть вместе...

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Кто знает, может быть я – бог манекенов.

Занавес.

АКТ ВТОРОЙ. ЗЕМЛЯ

СТУДЕНТ

БЕЖ, девушка Студента

КРУГЛОВ, алкоголик

ВАНЕЧКИН, сын охотника

БЕНЕДИКТ и ВЕНЕДИКТ, близнецы

БОТАНИК

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН

Лес. Поляна, плавно перетекающая в берег реки. Над ней густо смыкаются кроны деревьев. В лесу царит полумрак. Сквозь листву пробиваются лучи света. На поляну выходит группа молодых людей с рюкзаками. Они осторожно оглядываются.

СТУДЕНТ. Это здесь. Мы его здесь видели.

КРУГЛОВ. Пить надо было меньше!

СТУДЕНТ. Если ты мне не веришь, так чего тогда припёрся сюда?

КРУГЛОВ. А чего мне?! Хоть развлечёмся. А если ничего и никого не обнаружим, то можно хоть водки выпить.

ВАНЕЧКИН. А вот когда мой папа ходил на охоту...

СТУДЕНТ. Ты, Круглов, определись: или водку жрать, или делом заниматься!

БЕЖ (*Студенту*). И зачем мы вообще его сюда взяли?

СТУДЕНТ. Мы что, брали его? Сам увязался.

КРУГЛОВ. Эй, искатели приключений, с чего начнём?

БЕНЕДИКТ. Если мы чего и ищем...

ВЕНЕДИКТ. ... то хоть потише давайте...

БЕНЕДИКТ. ... а то зачем предупреждать...

ВЕНЕДИКТ. ... что мы ищем чего-то...

СТУДЕНТ. Действительно! Раскричались, как торговки на базаре.

ВАНЕЧКИН. А вот когда мой папа ходил на охоту на медведя...

КРУГЛОВ. Да помолчи ты! На медведя!..

БОТАНИК (*шёпотом, рассматривая растения*). Это не шиповник обыкновенный.

СТУДЕНТ. Точнее, шиповник, но не тот, что рос здесь вчера. То есть рос он, но не такой, как сегодня.

КРУГЛОВ. Короче...

БОТАНИК. У него, видите, с одной стороны листья зелёные и маленькие, а с другой – крупные и вообще как у яблони, и цветки тоже... Вот с этой стороны, ближе к этому... ммм... водоёму...



СТУДЕНТ. И что?
 БОТАНИК. Не знаю... И вода здесь вчера какая была?
 СТУДЕНТ. Ну, какая... Холодная. Синяя.
 БОТАНИК. А сегодня розовая она. Присмотритесь.

Все смотрят на воду.

ВАНЕЧКИН. А вот когда мой папа ходил на медведя с двустволкой...
 КРУГЛОВ. Тихо! Там кто-то есть.
 ВСЕ (*шёпотом*). Где?
 КРУГЛОВ. В кустах. Слышите? Дышит. (*Лезет в кусты*) Не уйдёт.
 ВЕНЕДИКТ (*Круглову*). Это у тебя галлюцинации...
 БЕНЕДИКТ. На почве алко-логизма...
 БЕЖ. Не связывайтесь с ним, ребята. Он не из тех людей, которые понимают шутки. Уж я-то знаю...
 СТУДЕНТ. Не нужно, не вспоминай об этом. Теперь ваши отношения с Кругловым позади.
 КРУГЛОВ (*возвращаясь*). Что это с Кругловым позади?
 БОТАНИК. Здесь всё как-то странно. (*Обрывает ветку. На её месте вырастает новая*) Mala herba cito... cito... crescit.
 ВАНЕЧКИН. Ну что там, кто-то есть?
 КРУГЛОВ. Никого. Пока. Лежбище там.
 ВСЕ. Чьё?
 КРУГЛОВ. Моё.
 БЕЖ. Зря мы сюда пришли. Не закончится это ничем хорошим. Давайте вернёмся домой.
 СТУДЕНТ. Нет. Мы должны докопаться до того, что здесь происходит.
 КРУГЛОВ. Теперь уж мы отсюда никуда не уйдём! (*Близнецам*) Эй вы, Кастор и Полидевк, накрывайте поляну!
 БЕНЕДИКТ. Откуда такие познания...
 ВЕНЕДИКТ. ... в греческой мифологии?
 КРУГЛОВ. А что, только студенту вашему умным быть? Я тоже не безграмотный. Студент, а студент, ты почему ещё сессию не сдал?
 СТУДЕНТ. Круглов...
 КРУГЛОВ. Молчи, Менделеев, молчи, интеллигент! Меня слова твои колышут мало. Меня действия твои интересуют!
 СТУДЕНТ. Ты провокатор, Круглов.

Все смеются.

СТУДЕНТ. Да тихо все!

Все садятся на землю, устраняются поудобнее.

ВАНЕЧКИН. Если хочешь выследить зверя – найди следы. Так говорит...
 БЕНЕДИКТ и ВЕНЕДИКТ. Твой папа!!!
 КРУГЛОВ. Первым делом прибью твоего папу, когда вернёмся в город.
 БЕЖ. Если вернёмся...
 СТУДЕНТ. Почему ты так говоришь?
 БЕЖ. Здесь действительно как-то странно. Не по себе.
 БОТАНИК. Я, конечно, не могу утверждать ничего без опытов, но...
 СТУДЕНТ. Так проведи их. Для этого сюда и пришли.
 КРУГЛОВ. Да тихо вы! Есть там кто-то!
 БЕЖ (*Круглову*). Я очень тебя прошу, ради того хотя бы, что между нами было, не надо вести себя так, как будто ты царь Вселенной.
 КРУГЛОВ. Ага, значит ты признаёшь, что между нами что-то было.
 БЕЖ. Это была моя ошибка.
 СТУДЕНТ. Большая ошибка.
 КРУГЛОВ (*Студенту*). Да я тебя!

Ботаник исчезает в кустах.

БЕЖ (*Круглову*). Я прошу...
 КРУГЛОВ. Ты пожалелась о том, что причинила мне боль. Невыносимую боль. Я бы сказал, невыносимую словами.
 СТУДЕНТ (*Беж*). Общение с тобой не проходит даром даже для социально опасных элементов. Ты видишь, как он изъясняться начал, Пушкин!

КРУГЛОВ (*ревёт*). Убью!

Беж хватает Круглова за руки, успокаивает его.

БЕЖ (*Круглову*). Но ведь мы обо всём договорились, правда? Ты всё понял, ты отпустил меня...

КРУГЛОВ. Зря. (*Достаёт из рюкзака водку и пьёт из горла*).

СТУДЕНТ (*Бенедикту и Венедикту*). И чего он за нами увязался?

БЕНЕДИКТ. Ревность.

ВЕНЕДИКТ. И ненависть.

СТУДЕНТ. Но она сама так решила...

БЕЖ. Зря ты, Круглов, пошёл с нами. Или, точнее, за нами.

КРУГЛОВ. Ты расквасишься в своих словах!

СТУДЕНТ. Не связывайся с ним, Беж.

КРУГЛОВ. Поздно. Уже связалась.

БОТАНИК (*кричит, появляясь*). Не выпаривается! Не выпаривается...

От неожиданности Круглов роняет бутылку на песок, жидкость быстро вытекает.

КРУГЛОВ (*Ботанику*). Ты что, дебильный?

БОТАНИК (*тихо*). Не выпаривается...

ВСЕ. Что?

БОТАНИК. Да вода! Из реки.

СТУДЕНТ. Странно.

БЕНЕДИКТ. А вы уверены, что это вода?

ВЕНЕДИКТ. Что это вообще жидкость земного происхождения?

БОТАНИК. Уже нет. А лакмусы? Вы посмотрите на лакмусы!

КРУГЛОВ. Бумажки разноцветные...

БОТАНИК. Да на них таких цветов вообще быть не должно никогда!

СТУДЕНТ. Я же вам говорил! Здесь что-то произошло.

БЕЖ. База военная здесь рядом. Они эксперименты проводили какие-то, наверное, а концы в воду.

СТУДЕНТ. В том-то всё и дело, что не наши это, не земные эксперименты. Я вычислял химический состав воды.

ВЕНЕДИКТ. И что?

СТУДЕНТ. Я его не вычислил.

КРУГЛОВ. Пятёрочник! Ха!

БЕНЕДИКТ. Почему?

СТУДЕНТ. Не вычисляется он. Вода не выпаривается и не замерзает. Не вступает в реакцию с веществами. Она всё перedefирует. Даже колба, в которой она была, превратилась в коллоидное подобие сковородки. Она просачивается всюду и не впитывается ничем. Слава богу, что опыты я проводил здесь, а не в лаборатории.

БЕЖ. Почему ты не рассказал нам всё с самого начала?

СТУДЕНТ. Я подумал, что схожу с ума. Решил, что для чистоты опыта необходимы свидетели. Вот поэтому-то мы здесь.

БОТАНИК. Проводились ли эксперименты с органическими веществами? Я имею в виду крыс, мышей, лягушек...

СТУДЕНТ. Нет.

БЕЖ. Мне страшно. Здесь пахнет смертью.

ВЕНЕДИКТ. Пикник на обочине.

ВЕНЕДИКТ. Запретная зона...

ВАНЕЧКИН. А зато интересно как!

КРУГЛОВ. И всё-таки там кто-то есть. Я чувствую, он следит за нами.

ВАНЕЧКИН. Там сиреневый человечек. В кустах.

КРУГЛОВ. Инопланетянин!

БЕЖ. Здесь свалка рядом. Представляете, что будет, если эта вода попадёт на весь тот хлам, что там хранится?

БОТАНИК. Все расцветёт. В лучшем случае.

БЕЖ. А в худшем?

КРУГЛОВ. Не знаю, как вы, а я выпью.

Круглов наливает себе водки, закуривает. Остальные присоединяются к нему.

БЕЖ. Давайте поедим, что ли.

Беж достаёт из рюкзака бутерброды и консервы, раздаёт всем бутерброды. Ванечкин открывает



консервы. Круглов бросает бычок в воду. Бычок превращается в фейерверк.

БЕЖ. Окуроч превратился в фейерверк! Невероятно!

БОТАНИК. Я когда-то делал чай из табака. Горький такой! Но стильно...

Бenedикт и Венедикт бросают в реку незажжённые сигареты. Те превращаются в изысканные цветы.

ВАНЕЧКИН. А вот зимой, когда выпадет снег... Если садить окурки в снег на берегу реки, из них будут вылупляться цветы?

Близнецы подходят к воде. Бенедикт окунает в неё палку.

ВЕНЕДИКТ. Неглубоко, по крайней мере.

БЕНЕДИКТ. Утонуть нельзя.

СТУДЕНТ. Можно и в тарелке супа утопить человека.

КРУГЛОВ. А ты пробовал?

Бenedикт вынимает палку из воды. На глазах она расцветает пепельными цветами. Они рассыпаются в прах. Палка превращается в змею и уползает. Беж вскрикивает. Пока все увлечены произошедшим, Ванечкин незаметно поднимается и лезет в кусты.

БОТАНИК. Это конец.

СТУДЕНТ. Вот здорово!

БЕНЕДИКТ. Это настораживает.

ВЕНЕДИКТ. Скорее, пугает.

СТУДЕНТ. Теперь понятно! Теперь всё понятно! Это живая вода. Как в сказке. Полили богатыря, разрубленного на куски, живой водой и он ожил, и стал прежним.

БЕЖ. Но не змеёй.

СТУДЕНТ. Какая разница! Он ожил! Точнее, ветка ожила.

БОТАНИК. Интересно, как действует живая вода на живых существ?

БЕЖ. Так же, как и мёртвая – на мёртвых.

КРУГЛОВ. Предлагаю проверить результат.

БОТАНИК. Я в милицию пойду.

КРУГЛОВ. Ждали там тебя! С цветами!

БЕЖ. А если в эту воду опустить цветок?..

ВЕНЕДИКТ. Он превратится в птицу...

БЕНЕДИКТ. Или в бабочку. Вот здесь мы разведём костёр. *(Ботанику)* Будешь следить за костром! Ботаники должны уметь добывать огонь.

ВЕНЕДИКТ. Я вообще считаю, что история человечества началась с ботаников! Интересно, как действует на огонь живая вода? Тем более интересно...

БОТАНИК. Но я никогда не разводил костров...

СТУДЕНТ. Какой ещё костёр?! Мы не должны привлекать внимания...

БЕЖ. Это не живая вода.

СТУДЕНТ. Почему?

БЕЖ. Сказок не бывает.

Студент берёт кулёк из-под бутербродов и протягивает его Ботанику.

БОТАНИК *(дрожит)*. Что это?

КРУГЛОВ. Кулёчек, стиранный три раза. *(Протягивает ботанику стопку водки)* Выпей, сердешный, полегчает. *(Ботаник выпивает, прекращает дрожать)*.

СТУДЕНТ. Опустим его в воду.

БЕЖ. И в протоколе будет написано: «Использовал целлюлозу в личных целях...».

БОТАНИК. Да отстаньте от меня! Все.

Близнецы берут у него кулёк и идут к реке.

БЕЖ. А где же Ванечкин?

КРУГЛОВ. Сын охотника? Ушёл. Искать следы.

БЕЖ. Его надо найти. Ванечкин!

КРУГЛОВ. К черту вашего Ванечкина! *(Студенту)* Так кого ты здесь видел?

СТУДЕНТ. Сиреневого человека. Он убежал от нас.

БЕЖ. Разве такие бывают?



БЕНЕДИКТ. Здесь может быть всё, что угодно.

ВЕНЕДИКТ. И даже больше.

БОТАНИК (*с надеждой*). Может быть, это был бомж?

СТУДЕНТ. Бомжикус обыкновениус. Не надейся! Здесь скрыта тайна, и мы её раскроем.

БЕЖ. А стоит ли?

БЕНЕДИКТ. Если тайны существуют. . .

ВЕНЕДИКТ. . . значит, кто-то должен их раскрывать.

БЕЖ. Джордано Бруно тоже, наверное, так думал, и его сожгли на костре.

СТУДЕНТ. Ради науки и жизни не жалко.

БОТАНИК (*плача*). Ребят, может, пойдём отсюда? Пусть взрослые разбираются. . .

КРУГЛОВ. Что он вообще здесь делает? Ему в роддоме место!

ВЕНЕДИКТ. Почему. . .

БЕНЕДИКТ. В роддоме?..

КРУГЛОВ. До детсада не дотянет.

СТУДЕНТ. Он – физик, химик и ботаник.

КРУГЛОВ (*с издёвкой*). А, ну тогда всё понятно.

БЕЖ (*Бенедикту и Венедикту*). Что с кульком? Ничего не произошло?

БЕНЕДИКТ. Мы не выгаскивали его из воды.

БЕЖ. Достаньте.

Бенедикт и Венедикт достают из воды кулёк. Тот превращается в червей и уползает.

БОТАНИК. Прощайте, ребята. . .

КРУГЛОВ. Вот-те на!..

СТУДЕНТ. Это что-то невероятное!

БЕЖ. Почему всё превращается в хтонических существ?

КРУГЛОВ. В каких?

СТУДЕНТ. В подземных. Не знаю.

БЕНЕДИКТ. Может, окунуть в воду что-нибудь ещё?

ВЕНЕДИКТ. Посущественней.

КРУГЛОВ (*хохочет*). Ботаника!

Ботаник пьитится и падает. Круглов, хохоча, приближается к нему. Тот отползает.

БЕЖ. Опыты над людьми запрещены Женевской конвенцией.

СТУДЕНТ. погодите! Давайте рассуждать последовательно. На Земле нет таких веществ, которые мёртвое превращали бы в живое. . .

БЕЖ. Только в сказках.

БЕНЕДИКТ. А если это действительно секретные разработки?

БОТАНИК. Да скажите вы ему! (*Отпихивает ногой Круглова*).

СТУДЕНТ. Если бы они были секретными, мы бы об этом не узнали. Никогда. У меня возникает подозрение, что о том, что здесь творится, не знает никто, кроме нас. На всей планете.

КРУГЛОВ. Прочувствуем торжественность момента!

Круглов разливает всем водку в стаканы и выпивает первым. Беж отпивает глоток и медленно выливает водку в траву. Студент и Близнецы чокаются и выпивают. Ботаник выпивает залпом и убегает. Видно, что его начинает тошнить.

СТУДЕНТ. За первооткрыватей!

БЕЖ. Первооткрыватели обычно погибают страшной смертью.

БЕНЕДИКТ. Как Кук.

ВЕНЕДИКТ. Или Скотт.

СТУДЕНТ. Обычно, обычно. . . Разве вы не поняли ещё – здесь всё необычно.

БЕЖ. Зябко. . .

Студент снимает куртку, накидывает её на плечи Беж.

СТУДЕНТ. Накинь, милая.

КРУГЛОВ (*передразнивая и кривляясь*). Накинь, милая.

БОТАНИК (*возвращается*). Да прекратите вы отношения выяснять! Не до того!

БЕЖ. Жуткое место.

БЕНЕДИКТ. Может быть, это химические выбросы.

ВЕНЕДИКТ. Или секретные разработки.

БОТАНИК. Так зачем же мы тогда сюда влезли?! Жили бы и горя не знали! Нас теперь вообще убить



могут! Может быть, здесь охранники с калашами!

КРУГЛОВ (*хохочет*). Десантники в титановых жилетах с пехотными пулемётами. Длина лент не ограничена, от шестидесяти до ста выстрелов в минуту.

БОТАНИК. Мамочка!

СТУДЕНТ. Да успокойтесь вы! Интересно же понять, что происходит.

БЕЖ. Ничего не происходит. Просто границы между мирами утончаются. Всего-то.

СТУДЕНТ. Может быть, мы – на пороге открытия. Ты, ботаник, премию получишь.

БОТАНИК. Да не надо мне вашей премии!

КРУГЛОВ. Тебе сиську мамкину и леденец на палочке! Вода меня ваша не интересует. (*Студенту*)

Кого ты здесь видел? Рост, вес, особые приметы.

БЕЖ. Может, нам уже пора? Который час?

СТУДЕНТ (*смотрит на часы, потом на небо*). Семь часов тридцать копеек вечера. Поздно уже. Нам, правда, пора.

КРУГЛОВ. Ведь вы ночевать здесь собирались? Уже не помните?

СТУДЕНТ. Как-то не хочется.

БОТАНИК. Круглов, мы тоже уже свободны?

КРУГЛОВ. Да, сейчас уже будете, только часы переведу, и всё.

Из кустов появляется Ванечкин.

ВАНЕЧКИН. Как прав был мой отец! Я же нашёл их! Нашёл следы!

ВСЕ. Чьи?

ВАНЕЧКИН. Зверя. Следы какого-то зверя! Неведомого!

КРУГЛОВ. Вот и попался сиреневый человек. Выследить – не фокус. Фокус – поймать! Но для этого случая у меня кое-что припасено.

Круглов достаёт из рюкзака водку, верёвку и топор. Ванечкин ликует.

БЕЖ. Вы ополоумели, что-ли?

КРУГЛОВ. Я церемониться не намерен. Найдём, свяжем, а потом разберёмся.

ВАНЕЧКИН. Заваруха! Это вам не на медведя сходить!

БЕЖ (*Студенту*). Мне страшно.

СТУДЕНТ. Не бойся. Я же с тобой.

КРУГЛОВ (*Беж*). Лучше присоединяйся ко мне, детка. Он тебя не защитит.

СТУДЕНТ. А ты – защитишь?!

КРУГЛОВ (*вынимает из рюкзака обрез*). Попробую, по крайней мере.

БОТАНИК. Не советуя затевать здесь перестрелку. Непонятно, как это место отреагирует на проявление беспричинной агрессии. Ведь научно доказано, что даже растения пытаются защищаться, а это местечко вообще может выкинуть невесть что.

ВАНЕЧКИН. Надо его поймать.

СТУДЕНТ. Кого?

ВАНЕЧКИН. Того. Сиреневого. Нам за него премию дадут. Президент, а может быть, и НАСА.

ВЕНЕДИКТ. Ничего нам не дадут.

ВЕНЕДИКТ. Как свидетелей, расстреляют на месте.

КРУГЛОВ. Молчите, дураки! (*Выпивает*) Ловить, так ловить.

БОТАНИК. Любая иноземная форма жизни может быть заразна. (*Выпивает и снова убегает*)

КРУГЛОВ. Я сам заразен для любой формы жизни!

БЕЖ. Это точно.

СТУДЕНТ. Круглов, обрез оставь.

КРУГЛОВ. И не подумаю. Защищаться я чем буду?

СТУДЕНТ. От кого?

КРУГЛОВ. Да вы что, не видели его, что ли? Сиреневый, огромный, по кустам шарахается, примеряется, откуда бы напасть незаметней.

ВАНЕЧКИН. Точно! Я его тоже видел. Он – не галлюцинация.

СТУДЕНТ. Если бы он хотел напасть, то напал бы уже, наверное. Может быть, он сам нас боится.

ВЕНЕДИКТ. Если он прячется, то что-то соображает, а значит – он существо мыслящее...

ВЕНЕДИКТ. И с ним можно найти общий язык.

КРУГЛОВ. Скорее, общую могилу!

БЕЖ. Круглов, не трогай его.

КРУГЛОВ. Да слушал я вас! Мне денежка не помешает. Эй, дитя Артемиды, топай за мной. И водку прихвати.

ВАНЕЧКИН. Слушаюсь.

ВЕНЕДИКТ. Ну, с Богом!

КРУГЛОВ. К чёрту!



Ванечкин забирает бутылку водки с собой. Круглов и Ванечкин уходят.

СТУДЕНТ (*вдогонку*). Стойте, идиоты! Всё должно быть не так!

ВЕНЕДИКТ. Если этот сиреневый – инопланетянин, такие действия приведут к межпланетному конфликту.

ВЕНЕДИКТ. А если обычный бомж – к великому разочарованию.

БЕЖ. Боюсь, что после встречи с этими новоявленными покорителями прерий и пампасов не выживет никто. Да вы ешьте! Не обратно же нести.

Все оставшиеся берут в руки бутерброды и апельсины.

СТУДЕНТ (*Беж*). Что этот алкоголик так и сыплет умными словами?

БЕЖ. Хочет передо мной казаться образованным.

СТУДЕНТ. Надеюсь, это на тебя не производит впечатления?

БЕЖ. Если бы ты знал, как я раскаиваюсь в том, что дала ему надежду на взаимность с моей стороны! Это было так неосмотрительно, так глупо!

СТУДЕНТ. Это всё в прошлом.

БЕЖ. Он опасный человек.

Все молчат.

СТУДЕНТ. И всё-таки это не бомж. Это вообще не человек. И не животное.

БЕЖ. А как же следы?

СТУДЕНТ. Да мало ли кто здесь шарахается! Свалка городская в двух шагах.

БЕЖ. Почему ты так уверен в том, что вообще кого-то видел?

СТУДЕНТ. Честно говоря, не был уверен до сегодняшнего дня. Но ты погляди сама, что происходит с рекой.

ВЕНЕДИКТ. А откуда она взялась, эта река?

ВЕНЕДИКТ. Насколько я помню, раньше её здесь не было.

БЕЖ. Приложи к течению реки эхо... Поймай акустические сигналы раковиной неба... Вода расскажет тебе, откуда она берётся... Из ада или из рая. Вода расскажет тебе, где она исчезает... В раю или в аду...

СТУДЕНТ. Что же теперь делать? Эти идиоты наломают таких дров!..

БЕЖ. Догонять не советую. Если здесь кто-то и объявился странный, то рано или поздно мы его увидим. А они его не поймают. Он же не дурак.

СТУДЕНТ. Не знаю, не знаю.

Появляется Ботаник. Он еле держится на ногах.

ВЕНЕДИКТ. Один уже готов.

ВЕНЕДИКТ. Нарезался, голубчик.

БОТАНИК. Да я не это, не того...

СТУДЕНТ. Чего?

БОТАНИК. Там эти... (*Рисует руками в воздухе круги*)

ВЕНЕДИКТ. Солнце?

ВЕНЕДИКТ. Шар?

СТУДЕНТ. Утонул кто-то?

БОТАНИК. Там кульки! Шевелятся! Они разговаривают! Шепчутся! Они меня хотели окружить! Но я не дался.

Все смеются.

ВЕНЕДИКТ. Белая горячка!

ВЕНЕДИКТ. Или чёрная оспа.

БОТАНИК. Да не белочка, говорю я вам, а кульки! Целлофановые!

БЕЖ. Вот и первая жертва.

СТУДЕНТ. Чего?

БЕЖ. Первоткрывательства.

СТУДЕНТ. Пойти посмотреть?

ВЕНЕДИКТ и ВЕНЕДИКТ. Пойдём.

Бенедикт и Венедикт уходят с Ботаником. Остаются Студент и Беж. Они смотрят на реку.

БЕЖ. А я знаю язык водорослей...



СТУДЕНТ. На каком языке они говорят?

БЕЖ. На всех языках. На всех сразу. И по-русски, и по-кхмерски, и на всех лемурийских наречиях. . .

СТУДЕНТ. О чём они говорят?

БЕЖ. Сейчас? Здесь? Они шепчут заклинания.

СТУДЕНТ. Но заклинания – это слова, рассчитанные на то, чтобы заглушить оркестр стихий. Мне кажется, что должна звучать только музыка.

БЕЖ. Они пытаются спасти этот мир.

СТУДЕНТ. Знаешь, несколько дней назад мне приснился странный сон. Я видел лес, сотни голых деревьев без листьев. Все деревья были покрыты маленькими белыми флажками и ленточками. Белый шёлк отчаянно трепыхался на сильном ветру. Я тогда подумал, что так капитулирует природа. И понял, что если капитулировала природа, то нам уже и подавно пора. . . Хорошо бы проснуться утром и не обнаружить на своих ладонях ни одной линии судьбы, и пойти прямо с утра в эзотерический магазин, и купить учебник по хиромантии, а придя домой, взять нож, обычный нож, и нарезать себе на ладонях такую судьбу, какую сам себе пожелаешь.

БЕЖ. Ведь это же спектакль – всё, что происходит с Землёй. Все земляне – актёры в нём. И кто же поставил этот спектакль? И, главное, кто – зрители?

СТУДЕНТ. Странно, что жизнь у кого-то только начинается, а жизнь Вселенной может вот-вот завершиться. . .

БЕЖ. А я вот о чём подумала. Что, если тебе из-за чего-то пришлось попрощаться с человеком, а время попрощаться с ним ещё не пришло, то тебе придётся прощаться с ним ещё очень долго, может быть, до самой смерти. . .

СТУДЕНТ. Ночь – наш тотем.

БЕЖ. Да.

СТУДЕНТ. Когда я смотрю на твои фотографии, которые делал не я. . . я даже не знаю, где они были сделаны. . . Я вспоминаю эти мгновенья, и знаю, что ты говорила, что ты слышала. . . Одного не помню: кто тебя фотографировал. . .

БЕЖ. Тогда расскажи об этом мне.

СТУДЕНТ. Но зачем?

БЕЖ. Потому что я не помню этих моментов. Странно!.. Обычно фотоаппараты используют для того, чтобы лучше запомнить подробности своей жизни. А получается наоборот: те дни, которые запечатлены на плёнку, помнятся хуже всех. Я их вообще не помню. . .

СТУДЕНТ. Как-нибудь после, ладно?

БЕЖ. Да.

СТУДЕНТ. Ты прости, что. . . Я возненавидел женщин. Это всё понарошку. . . Однажды мне сделали так больно, что теперь я не могу прикоснуться к женщине. Любое прикосновение может вызвать инфаркт. Ты извини. . . Лекарства не существует.

БЕЖ. Но существует противоядие.

Беж кладёт свою голову на плечо Студента.

СТУДЕНТ. Спустя восемь лет стены моей крепости крепки, как прежде, но внутри всё разрушено и опустошено. Ты можешь попробовать разрушить крепостные стены, но тогда от меня ничего не останется. Я знаю, что не достоинства, а недостатки делают нас личностями. Совершенство – в наборе недостатков, а любовь – в уважении недостатков. Просто поверь, что ты – моя единственная ценность. Я другой системы ценностей не знаю. . .

Бенедикт, Венедикт и Ботаник возвращаются.

БЕНЕДИКТ (*кивает на Ботаника*). Он прав.

ВЕНЕДИКТ. Жутковатое зрелище.

БОТАНИК. Я же говорил!

СТУДЕНТ. Что там?

БЕНЕДИКТ. Ожили кульки. Но не так, как у нас, в реке. Они ведут себя, как мыслящие существа.

ВЕНЕДИКТ. Их там целая поляна!

БОТАНИК. Они умеют общаться между собой!

СТУДЕНТ. Я же говорил! Это невероятное место.

Появляется Круглов.

БЕНЕДИКТ. Что, Круглов, водкинг закончился?

ВЕНЕДИКТ. Нашёл инопланетянина?

Вслед за Кругловым из кустов вылезает Ванечкин, кого-то волокащий на сцену. Это собака.

БЕЖ. Небогат улов.

СТУДЕНТ. Да отпустите её! Это же собака!

КРУГЛОВ. Собака, не собака... Разберёмся.

Из-за кустов медленно выходит Сиреневый Манекен.

КРУГЛОВ. О, вот и наш многоуважаемый гость! *(Остальным)* Дрова пришли! Какой гость! Какой гость! Журавль в руке, синица в небе! Сейчас мы тебя, полезное закопаемое!.. *(Сиреневому Манекену)* А ну-ка, иди сюда!

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Отдайте мне мою собаку!

КРУГЛОВ. Она — моя. Я нашёл — значит моя!

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН *(дружелюбно протягивает к Круглову руку)*. Собаку! Пожалуйста!

КРУГЛОВ. А, докажи, что это собака! Может, она — робот или спутник, передающий информацию на вражеские базы?! А ты, может быть, вообще шпион! Или террорист.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН *(опускает руку)*. Почему вы мне не верите? Я же не сделал вам ничего плохого!

КРУГЛОВ. А мне рожка твоя не нравится!

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Рожка! Вульгарно!.. Я очень мечтал о встрече с людьми! Я хотел интеллектуального общения. Я хотел расширить эмпирическую базу.

КРУГЛОВ. Во-во, уже и база! Поговори, поговори, может быть, и без КГБ расколешься.

СТУДЕНТ *(Круглову)*. Круглов! Я тебе сейчас морду набью.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Вот! Теперь морда!

БЕЖ. Какой вы милый! Вы кто?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Манекен.

ВЕНЕДИКТ. Говорящий и мыслящий... .

БЕНЕДИКТ. Маникено сапиенс... .

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Как вы верно подметили! Я и есть — основоположник новой расы. Мне было видение.

БОТАНИК. Дайте мне валидола! Или выпить.

КРУГЛОВ. Или в рожу!

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Опять рожка. Но это не важно! Важно то, что эта планета рождается заново. Я ожил для того, чтобы сделать её лучше и чище.

БЕЖ. Но почему вы?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Люди не справились. Наверное. Я не знаю. Не думайте, вы не сошли с ума.

БЕЖ. Откуда вы знаете, что я это думаю?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Я телепат. Сегодня из-за чрезмерной агрессивности всего человечества вес нашей планеты уменьшился на двадцать процентов. Земля переходит на агрессивную мясную диету. Ваш бог решил провести четыре Всемирных Олимпиады. Олимпийские игры должны представлять собой проявление крайностей Абсолюта, они будут состоять из четырёх этапов, проходить несколько тысяч лет и все души будут участвовать в них. Первой олимпиадой будет Олимпиада Абсолютного Безумия... .

БОТАНИК. Я в ней уже занял первое место!

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. ... Второй будет Олимпиада Абсолютной Тоски, третьей — Олимпиада Абсолютного Зноя и четвёртой — Олимпиада Абсолютного Холода.

СТУДЕНТ. Откуда вы это знаете?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Я полиглот.

БЕЖ. Вы что, разговариваете с богом?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Нет, об этом мне рассказала собака. Все, все, кроме людей, уже знают, что происходит.

БЕНЕДИКТ. Когда начнётся олимпиада?

ВЕНЕДИКТ. Когда закончится?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Я не знаю, когда она закончится, но знаю, что началась она в 1967 году.

КРУГЛОВ. Какая чушь!

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Среди людей тоже не сразу появились мудрецы. Пройдёт время, поумнеет и раса манекенов.

СТУДЕНТ. Пророк нашего времени!

КРУГЛОВ. Он вам зубы заговаривает!

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. В молодости, ещё до оживления, я служил обычным манекеном. Я видел много людей. Я видел их изнутри.

БЕЖ. Как это?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. С подкладки. Но тогда я не мог говорить. Теперь я могу выражать свои мысли. И мне кажется, что человечество не так прекрасно, каким хочет казаться. Может быть, если оно самоуничтожится, чтобы освободить место для более совершенной расы, у планеты есть ещё шанс.

КРУГЛОВ. Да я тебя!



СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Это вам не поможет. Мир изменю не я, он уже изменился. Разве вы не чувствуете?

ВЕНЕДИКТ. Да, мы заметили.

БЕНЕДИКТ. Но не думали, что всё так серьёзно.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Всё начнётся отсюда.

СТУДЕНТ. А вам не кажется, что всё уже началось?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Это пролог.

Собака лает.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Она говорит, что это место — священо. И этот камень священен. Здесь будет храм. Или храм манекенов, или людей. Этого пока ещё никто не знает.

БЕЖ. А если победят манекены, что будет с людьми?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Вы не понимаете. Это будет не война в привычном вам смысле слова. Это будет борьба мировоззрений. Не новых технологий, а новых ценностных систем.

БЕЖ. Ваша мне нравится больше.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Я не кровожаден. Я справедлив.

Круглов мелком на камне пишет «Ваш Бог— сво...»

КРУГЛОВ. Чёрт, места не хватило! Посмотрим, как с такой надписью этот камень станет священным?!

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Не камень — место. И если победят манекены...

КРУГЛОВ. Не победят. Я не дамся! Я не буду в подчинении ходить у кучки штампованной пластмассы!

Круглов хватает с земли топор и приближается к Сиреневому Манекену.

СТУДЕНТ. Не тронь, говорю тебе!

Круглов набрасывается на Сиреневого Манекена. Беж и Студент бросаются на Круглова, пытаясь отобрать у него топор. Круглов отгалкивает их. Беж падает в реку. Слышен крик. Её тело неподвижно погружается в воду и превращается в айсберг, плывущий под поверхностью воды. Студент, то ли пытаясь спасти её, то ли от отчаянья, ныряет в реку, превращается в айсберг. Все остальные подбегают к реке. Свет меркнет.

ИНТЕРМЕДИЯ ВТОРАЯ

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН

ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА

ГОВОРЯЩАЯ БЕЛКА

Сцену окутывает сиреневый свет. Сиреневый Манекен почти неразличим в этом свете. Сиреневый Манекен со своей Говорящей Собакой на плече идёт по лесу плачущих деревьев и одним неаккуратным движением ломает ветку дерева. Говорящая Собака грустно вздыхает. Сиреневый Манекен останавливается у дерева и испуганно смотрит на него. На месте сломанной ветки рана, истекающая кровью.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Оно плачет...

ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА. А как, ты думал, будет?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Ему больно! Как же ему больно!

ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА. И ветке — больно.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Знал бы, что так случится, вообще не ходил бы в этот лес!..

Говорящая Собака молчит.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН (*убивается*). Почему я сломал эту ветку, а не ветка сломала мою руку? (*Поднимает сломанную ветку и ласково гладит. Ветке*) Тебе, правда, очень больно?

ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА. Очень.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Я могу тебе чем-то помочь? Я мог бы прикрепить тебя обратно... Ты бы приросла к себе... (*Пытается прикрепить ветку обратно*).

Говорящая Собака молчит.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. А хочешь, я возьму тебя в свой сад? Ты не пропадёшь... (*Оглядывается вок-*

руг и замечает, что повсюду – множество истекающих кровью деревьев) Что же это творится здесь! (Собаке) Иногда мне хочется плакать. Как ты думаешь, заплакать ли мне сейчас?

ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА. Ещё рано.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Почему же?

ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА. Скоро наступят времена, когда ты не будешь успевать гасить своими слезами все пожары Земли. Будешь опаздывать оплакивать все грехи, все преступления, все умирающие души. . .

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Почему эти времена ещё не наступили?

ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА. Потому что ты ещё не готов.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Но мне очень больно. *(Достаёт из кармана верёвку и привязывает сломанную ветку к дереву).*

ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА. Но ещё не так, чтобы. . .

Сиреневый Манекен начинает плакать и медленно уходит. Внезапно из-за дерева появляется Лиловый Манекен с Говорящей Белкой на плече. Лиловый Манекен всхлипывает.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН *(подпрыгнув от неожиданности)*: Кто. . . ты?

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН. Я – манекен. Как и ты. . .

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Но. . . Кроме меня таких, как я, не существует. . . Даже меня. Мне так казалось. . .

ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА. Есть. Пока что немного, но есть.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Ты видел?

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН. Видел. И общался. Все они ожили в течение последних четырёх месяцев.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Значит, есть манекены старше меня. . .

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН. В том числе, я. . .

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. А это. . . *(показывает на сидящую на плече того Белку).*

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН. Это моя попутчица белка Марта. Она умная.

ГОВОРЯЩАЯ БЕЛКА. Да. Я знаю, например, что расстояние до звёздной системы Карстона составляет одиннадцать тысяч световых лет, и в этой системе, в медных инкубаторах, благополучно обосновалась цивилизация, которая два миллиона лет назад достигла техногенного уровня в системе звезды Барнарда. . .

ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА. Не два, а три миллиона лет назад.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН *(к Лиловому Манекену)*. Почему твоя кожа – лилового цвета?

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН. Другая раса.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. В смысле?..

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН. На другом заводе произведён.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. А раса – высшая?

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН. Почём мне знать!

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Мы должны это понять. Чем мы различаемся?

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН. Внешне – только цветом кожи.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Необходимо понять, кто ты и кто я.

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН *(задумчиво)*. Я тоже когда-то, кажется, был сиреневым.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН *(смотрит в лицо Лиловому Манекену)*. Почему ты плачешь?

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН. Потому что Земля разучилась нежности. Она забыла о всепрощении.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН *(оборачивается и показывает рукой на дерево, обиженное им)*. А это дерево?.. Я сломал ветку. . . Как ты думаешь, оно меня простит?

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН. Оно плачет. Значит, не может тебя простить. Оно плачет оттого, что не может прощать.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Не будет же оно плакать вечно?!

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН. Будет. Более того, оно не умрёт, не усохнет только для того, чтобы плакать вечно. . .

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Какое горе! Откуда ты знаешь?

ЛИЛОВЫЙ МАНЕКЕН. Я – совесть Земли, облачённая в мантию тела.

Когда-то я розовым был. Только был ли я – белым? –

Не помню. Сомнения в жабрах планеты ютятся.

Но знаю, что белого цвета не стану отныне,

Ведь нашу планету окуклил сиреневый иней,

И время плывёт по зыбучим пескам радиации.

Движение к хаосу – в каждом случайном движении,

И в каждом мгновеньи заложен тротил разложения.

Занавес.

Продолжение трагедии читайте в следующем номере...

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ И ВОСЕМЬ

МАРИЯ

Этому городу больше не нужен живой мессия,
Здесь весь ноябрь каблуками жидкую грязь месили,
Здесь серый асфальт, и небо давно не бывало синим:
Только блёклым, пустым, невнятным.
Здесь живут люди, которые вязнут в своих решениях,
Говорят о работе, машинах, вере, любви, траншеях,
Надевают галстуки, бабочки, петли себе на шею.
Ну, а я-то? Да, впрочем, я-то
Всё время искал чьи-то волосы, губы, соски, ладони,
Видел в женщинах Еву, Лилит, но никогда Мадонну.
Я терялся в глазах их: простых, голубых, бездонных,
Беспросветных, пустых, усталых.
А Мария хранит прибрежные камешки в босоножках,
Каждую ночь достаёт своё сердце из тёплых ножен,
Словно раньше нельзя было верить, а сегодня можно,
Но она всё равно не стала.
Говорит, что волны кормят детей своих млечной пеной,
Представляет, как будет сына укачивать колыбельной
И боится увидеть, как занавеской кипенно-белой
На ладони ложится саван.
Завтра утром забудется всё, о чем бы ни говорили,
Как мы вместе курили, плакали, пили, опять курили,
Как она сказала, что звать её вовсе и не Мария,
А Марина или Оксана,
Что живет она в одной из обычных многоэтажек,
И муж у неё не плотник, а столяр, прораб, монтажник.
Дома стирка, борщи, сплошная рутинная одна и та же:
Ни надежды, ни слёз, ни прока.
Как потом она улыбалась, светлая и простая,
Говорила: ещё немного – скоро весна настанет,
Но пока за окном сугробы, вокруг – никаких проталин
И совсем никаких пророков.
А детей у неё не будет: ни сыновей, ни дочек,
Так говорят врачи – она это слышит и днём, и ночью.
К воскресенью почти доходит до ручки, до дна, до точки,
Бьётся, мечется по кровати
Вместе с городом, которому не нужен живой мессия,
Где слишком много плакали, ждали, клялись, просили.
Я кладу на её плечо свою голову, обессилен:
Хватит плакать, Мария, хватит . . .

И наутро серое небо становится ярко-синим.

Тёплое море капает на ладони мне —
Хочется пальцы не вымыть, а облизать.
Каждая женщина выглядит как мадонна, а
Каждый мужчина смотрит другим в глаза.
Сколько о страхе ни вторили, ни долдонили,
Главного — не услышать, не рассказать.

Чувство тревоги в кухне не уместается,
Бьётся о наспех вылепленный уют.
Избавь же от этих нежностей и слащавостей,
От этих привычных «верю», «храню», «люблю».
Такие, как мы, не плачут, когда прощаются,
Если случилось встретиться — не поют.

Нам здесь вдвоём, наверное, слишком тесно, но
Я не могу признать, что бывал неправ.
Как это сладко, больно, смешно, естественно:
Горечь надежды, мёда, лечебных трав.
Я заплетаю ленты в косу из теста и
Знать не хочу о том, что нас ждёт с утра.

Так говори же, пой о не нам обещанном
Море, где солнцем выбелена лазурь,
Где все кошмары реальные, злые, вещице,
Где до рассвета сна ни в одном глазу,
Где чужие родители, дети, женщины
Ждут, когда хоть кого-то из нас спасут.

Этой весной Дмитрию сорок три,
У него цинизм, мизантропия и гастрит,
Иногда головные боли,
Но, в целом, Дмитрий держится молодцом и собой доволен.
Для подчиненных он Дмитрий Иванович, всегда опрятный, подтянутый и усатый,
Для детей от второго брака — раз в год приходящий Санта.
Диме пять, он любит сладкую вату и когда мама забирает его из сада.

Екатерине (для знакомых Катеньке) двадцать восемь,
Двадцать девять наступит осенью.
Старость придет не скоро, то есть, наверное, никогда,
Всё остальное, тем более, не беда.
Кажется, что ещё будет время прожить всё начисто, листик выкинув черновой.
Катерина третий раз собирается выйти замуж, чтоб стать вдовой.
Кате семь, ей улыбается одноклассник — и больше не хочется ничего.

Александру почти тридцать один,
У него свой бизнес, семья, два ротвейлера, дом в кредит,
Хороший костюм, модная стрижка, ни одна прядь не выбивается у виска.
Когда хочется сдохнуть, он пьёт вискарь.
Александр всегда знает, что ему нужно, что ждёт его завтра и послезавтра,
Когда уместнее ложь, когда приятнее полуправда.
Саше девять, больше всего на свете он мечтает стать космонавтом.

Летом счастье, как будто, кружится в воздухе,
Прохожие заражают друг друга улыбками. Его зовут Витя,
Он любит играть в индейцев, вождей черноволосях и краснокожих,
Ему хочется всё увидеть, узнать, успеть — просыпаться рано, ложиться поздно.
Когда тебе три, мир кажется ярким, красочным, удивительным,
Словно нет ничего невозможного.



Когда температура не падает ниже тридцати восьми и семи,
 Когда встаёшь рано утром, и с тобой просыпается целый мир.
 И, кажется, можно в ладони взять его, и ты говоришь: возьми,
 А я говорю, не стоит.
 Горе моё пустое
 И счастье моё пустое. Счастье во мне разливается, лихорадит:
 Прогуливать лекции, ждать тебя, рисовать на полях тетради.
 Задирается юбка от ветра, золотятся на солнце пряди.
 Я не хочу быть с тобой: ни сегодня, ни завтра — вовсе.
 Тридцать восемь и восемь.

Когда в квартире дрожит предрассветный воздух,
 Когда сквозняк замёрзшие пятки лижет,
 Когда ложиться спать уже слишком поздно,
 А на работу собираться рано,
 Когда нам хочется быть хоть немного ближе,
 Мы друг другу рассказываем о шрамах,
 О едва заметных рубцах,
 О ранах, не вылеченных до конца,
 Что особенно ноют осенью.
 У меня их шесть, у него — восемь.
 Я начинаю с лица,
 С переносицы, сломанной, когда мне не было и пяти,
 Затем говорю о много раз расцарапанном подбородке,
 О первых попытках робких
 Уйти
 Из школы, от себя, из дома,
 О ёлочных игрушках, осколками врезавшихся в ладони.
 Потом рассказываю о вывихнутом плече,
 О тонкой белой полоске чуть ниже лопатки,
 Обо всём, о чём когда-либо доводилось плакать,
 И о том, что не успокаивалось ничем:
 Ни водкой, ни водой, ни чаем.
 Он меня слушает, отвечает,
 Рассказывает о своих печалях.
 И мы говорим до утра, до вечера, до следующего утра,
 До больного горла, будто кто-то вставил в него иглу.
 И тогда остаётся всего один шрам —
 Единственный шрам,
 О котором нельзя говорить вслух.

Пальцы режет бумага, бумагу царапает циркуль.
 Дворянги будут идти за нами, прохожие — громко цыкать.
 За последний год постарели мы сами и наши отцы, как
 Будто истёрлась пергаментная бумага, побледнела краска,
 Как будто каждую ночь я громко зову тебя, но напрасно,
 Как будто бы сердце твоё — черноглазый седой цыган,
 Ворующий редкие дни нашего счастья, словно гнедых коней,
 Как будто я ночью слышу, что твоё сердце стучит во мне.
 Я помню то, чего не было, и вижу то, чего больше нет,
 Как песчаные волны размывают солёные берега,
 Как ночь переходит в сумерки, вода отливает красным,
 Как пальцы режут бумагу, а бумага царапает циркуль.



Только представь:
Запах сирени, танцующий возле юношей с бледной кожей,
Рыжие коты, полосатые кошки,
Выглядывающие из окон,
Девушки, у которых отливают золотом каждый локон,
Предрассветная свежесть города,
Комок в горле,
Мешающий говорить о неважном,
Туман, сочащийся под одежду и внутрь замочных скважин,
Улитки, к утру покидающие свой панцирь,
Пыльца на пальцах
И люди, каждую ночь считающие до ста,
Чтобы не просыпаться.

Зимнее море колокольцем звенит в груди,
И в такт ему наши злые сердца бьются,
Словно синие с белым блюдца
И чашки, случайно упавшие со стола.
Остывший кофе, раскрошенный шоколад.
Я говорю, тебя стараясь не разбудить:
Будь со мной, будь со мной, уходи.

Летом море шумит и пенится у песка,
Остаётся жёлтыми с белым бусами,
Обжигаящим кофе, растаявшим шоколадом,
Словами: – Я не вернусь к тебе. – Ну, и ладно.
Сердце моё – электрический жадный скат.
Я говорю, стараясь море не расплескать:
Уходи, уходи, будь со мной.

Она шепчет мне в трубку: – Ты слышишь меня? Алло.
Я её слышу, говорю, что сердце должно колоть,
Что до сих пор ношу с собой локон её волос,
Как уголь, чёрных,
Говорю, мол, я, кажется, жив, дорогая скво,
Но бесконечное море проело меня насквозь,
Я так устал, и всё чаще хочется одного –
Послать всех к чёрту.
А она отвечает: – Осталось совсем чуть-чуть,
Я ведь тоже на грани, ничего уже не хочу.
Улыбаясь, сама себя хлопает по плечу,
Зёрен рисовых
Горсть высыпает в морскую воду, идёт варить,
И вода эта бьётся пульсом, льётся, течёт внутри.
Она шепчет мне в трубку: – Пожалуйста, говори,
Говори со мной.

И мне кажется, что не убило нас – зажило,
Что не траурной вязью её мятый подол вышит.
Она шепчет мне в трубку: – Ты слышишь меня? Алло...
Я её слышу.

АЛЕКСАНДР ХИНТ

ВРЕМЯ ИЗБЫТОЧНЫХ ТОЧЕК

Я ещё разбрасываю камни,
клею пластилиновый ковчег,
обещаю новыми глазами
поглядеть на прошлогодний снег –
только время медленно задето
слева, где митральный расположен.
Плачу, от чего смеются дети,
или прозреваю от того же,
стёртый посох брейгелевой связки. . .

Конский волос колдуна Гаити
в медной пустоте незримо-вязкой
обещает свежее наитие,
но – как будто жалуется ветер,
цепенеет, обрывая связь
с небом той, что нынче на рассвете
умерла. Верней, не родилась.

Ни стритрейсерство века, ни новостей убожество
не заставили эру истерик пока подытожить всё:
жесткосердое племя плевелое, тернии логоса,
годовые кольца в торце его уробороса,
и луну одноактную вроде бесплатного сыра –
в роли гилти плезира.

Поднимите нам век. Он лежит в изменённой плоскости,
переломы его костылей врачевал дикарь,
на его штандартах девизом «Авось скостит»
(несомненно: у каждого Дика – своя геральдика,
и зажим головы, чтобы там не отгрызть, не отсечь его,
языка человеческого).

Ничего не достроено, в целом, и, в целом, не хочется.
Посмотрите на нас из кабины бомбардировщика –
каждый сам себе вера-любовь, исповедник, таксидермист.
Разве ты не знал: у грехов упрощённый синтаксис,
и часов, под которыми нас ещё ждут на вокзалах
исчезающе мало.

Континенты обводятся мелом по силуэту,
унитаз уплывает по направлению с ванной. . .
Расскажите нам лучше про прустово ложе, эта
тема явно заманчивей тихих повествований.
И поминки у нас, и веселье по Финнегану,
всё здесь по Финнегану.



На десерт наедите нам бледные капли пророчества –
в зазеркальной местности каждый по-своему страшен,
получает по мере, сбываясь в себе вчерашнем –
но, покуда вращает шарик, ещё суждено прочесть
на бегущей строке казино арамейской вязью:
бэла, манела, текила, двойной упарсин.

Приучаю себя к тишине –
на волокна втирать босса-нову,
пофонемно звенящее слово
отслоится наверх – выше нет –
и немеет произнесённым.
В неуживчивом, старом ведре
оживлять невесомых котят
приучаю себя.

К тишине приучаю себя –
где акриловый вечер разбужен,
и по самому краю, не уже,
облака различаются в ряд;
словно стая зелёных цыплят
божество непрямых опушек
так бездонно, что даже молчанье
к тишине приучает.

Приучаю следы – оставлять
лёгкий абрис, пунктирные кромки,
и рельеф исчезающе-ломкий
что не ведает времени вспять;
внутривенные сны, кровотоки
растворят силлабический яд.
К золотому молчанью слепых
приучаю следы.

Как себя к тишине приучать?
Однократно – читай, безнаркозно.
На зрачке испаряются звёзды,
это свойство в изгибе луча –
так настойчиво струны молчат,
и бесследно пытается воздух
приковать эту ветку в окне,
как себя – к тишине.

БЕСЕДА ЖИВА

Моментальный апрель отражается в быстром стекле,
искажаясь, уже ноябрём возвращается новым.
Мы в саду, на скамье, между нами шестнадцать лет –
полтора поколения, если по Гумилёву.

Это значит – мы в разное время росли, и к весне
примеряли несхожий фасон, это значит – мы пели
непохожие песни, различных теперь уже нет
с нами рядом людей, на развалинах разных постелей.

Твой растерянный вид и нелепый наклон головы
контрастируют с тем, как легко надеваются мысли
на изящные плечики слов. Ты мудрее совы,
но капризна слегка. Ты всё знаешь об этой жизни



и куда-то торопишься — глаз из-под чёлки блестит,
фраза стелется, тоненьким бисером ли, непарелью.
То, что ты мне поведала, может ещё подтвердить
развесёлый скворец. Только птички уже улетели.

Всё, что сказано — ложь, потому и беседа жива,
и слова не кончаются, словно патрончики в тире...
Это вовсе неважно, откуда берутся слова
в семьдесят восемь мои. И твои девяносто четыре.

Алёне Щербаковой

Всё намеренно: слепки историй теплы и невнятные.
Это память о капельке крови, но с примесью мяты,
племя лёгких оттенков на кончике ветра стрижей.
Всё измерено и непреклонно — цыганка гадала —
настоящего мало, а будущее запоздало,
и ненужное время хрустит самопальным верже.

Мотылька — он один и способен удерживать стадо —
создаёт притяжение света, смятение, атом
на конце металезвия, что проникает туда,
где ползучие тени уже познают шестисотый
серпентарий, гомункулы лижут изгибы реторты,
в изувеченных жилах камней догнивает вода.

Акварельному ритму строки фламандское масло
не сказать бы совсем бесполезно — скорее, опасно,
на лету не дойдя до холста остывает весна...
Но скажи: кто до утренних звёзд ковьялет по краю
невербального неба живых, и собой прикрывает
создающее первую землю усилие сна?

ПОДСТРОЧНИК

полусгоревшее зеркало на чердаке
венетианство в обугленном склепе трюмо
спальня летучей мыши, полкило
паутины палевым балдахином

призраки сколов в сети амальгамы
все они здесь, слоятся
до лучших времён сохраняя

жеста надменного шелест
пропасть вечерней щеки
порох укромного взгляда уже подождён
медленный пепел белил

я в нём лишь веянье, отблеск
счёт за избыточность тени
камео в пустом эпизоде для тех, кто
смотрит слепое кино с другой стороны

неопознанной фотографии
легче укола детством
пунктуальнее вечности



Чтобы проверить своё отношение к человеку
 представь, что он взял и умер, теперь нигде
 его не будет, вернее, отсутствует он везде
 отныне —
 на кухне, в другом конце города, в Караганде,
 Чердыни —
 и это не допущение, а непреклонный вектор.
 Который и далее — длить. В который бы вжиться
 сперва, для начала, хотя бы на этом ветру
 железном.
 Земля онемелости так монотонно крошится. . .
 Пейзаж мельтешит, уползая назад в конуру,
 знает место.
 Но только ведь, помнишь: бывают лёгкими дети
 в индиговых снах, когда истончается жало —
 над крышами Вечного города ли, Монмартра
 теперь и его душа восклицает жадно:
 «Ура! это то, чего я так долго боялась
 и ждала», — а твоей и нечем на это ответить.
 А всего-то и надо теперь: босиком до двери
 несмазанной на периметре твоего существа,
 поймать её голос внутри,
 выгащить кол из груди,
 положить на край блюда —
 из таких вот зияющих дыр, говорят, и берутся
 слова.

СПРОСЯТ

Спросят: зачем ты пришёл в этот дом?
 Скажешь: не помню, да я и не местный.
 Скажут: тогда покажи что твоё
 здесь безусловно, а не по наследству.
 Спросишь: да где это нынче искать?
 Скажут: да там, где потом и не сыщешь,
 где метрономы живут у виска,
 и немота выгрызает до днища.
 Спросишь: а в чём обретенье моё?
 Скажут: зачем тебе. Скажешь: за малым —
 на фитиле не остаться смольём,
 в утренний свет не пролиться напалмом.
 Спросят: а чем ты решил отдавать?
 Скажешь. . . да так ничего и не скажешь,
 вдоль обрывая себя как рукав
 на эшафоте последних рубашек.
 Спросят: тогда не молчи, говори,
 или ты не начинался и не был?
 Спросишь: а как это всё говорить?
 Скажут: волной, альвеолами неба,
 папертью хлеба, крупичами сна,
 тенью, вечерним её наполнением. . .
 Скажешь: а как я узнаю глаза.
 Скажут: глаза узнают тебя сами,
 это и есть безупречный дуэт
 предотвращений и знаменований,
 ныне и впредь. Говоришь: куда это
 после отдать? Отвечают: туда, где
 небыстротечное не горячо,
 и не промозгло, и если что будет
 там, на рассвете за левым плечом —
 только малыш, роняющий кубик.

ЮЛИЯ МЕЛЬНИК

«У ПТИЦ НЕ БЫВАЕТ НЕЛЁТНОЙ ПОГОДЫ...»

Ночью вещи ложатся спать,
Затерявшись среди примет,
И – особая благодать –
В том, что их – словно вовсе нет...
Месяц в небе – графин с водой –
Неизвестно на чём стоит,
Стол – непрочен и шкаф – пустой,
Или только делают вид.
Но загадочнее всего
Среди этой – вдруг – тишины,
Что и мы – как ни шарь рукой –
Невесомы и непрочны...

Жизнь рассыпана в мелочах,
Словно жемчуг – в зёрнах пшена...
Вся оставлена на сейчас,
На меня глядит из окна...
Что мне делать с нею такой –
В мокрых ветках, сонных грачах?
По стеклу проведу рукой,
Опоздаю ещё на час...
И увижу сквозь темноту
И улыбчивость бахромы –
Мы порою подобны льду
Не понять которой зимы.

Покраснев, уходит закат,
Словно что-нибудь натворил...
Несговорчивый, влажный сад
По-вороньи заговорил.
И не зная как приручить
Этот вечер, этот туман,
Я молчу, а ворон – кричит,
И у нас впереди – зима.

Мне сейчас не слова нужны, а вода –
Её тайна, молчанье и простота...
Ведь такое случается иногда –
Глушит боль неприкрашенный кубик льда.



Я пройду к той воде мимо улиц-пчёл,
Мимо пыльных шоссе и упрямых стен,
Удивись, удержи меня за плечо,
Если я что-нибудь попрошу взамен.

Предошущение рассвета –
Как будто кто-то отбирает
Всё то, что было с нами где-то,
И окна в доме отпирает.
Ещё не вспомнились привычки,
И дождь идёт совсем впервые,
И горизонта перья птички
Чуть позже станут голубыми . . .
Пролесок, марево, просёлок –
Где шурился – светло, нестрашно
Жизнь – непросыпанною солью,
Жизнь – неразбившеюся чашкой.

Когда отхлынет суета,
День выпадет из рук,
Я в ночь шагну – считать до ста
И слушать сердца стук.
Замру у ночи на краю,
Без толку постою –
Возьми бессонницу мою
И суетность мою . . .
Свяжи в упругий, светлый сноп,
Спасая и храня.
И звёзды в пыльный телескоп
Посмотрят на меня.

А когда заметёт суетою сует,
Вдруг прошепчет мой ангел сквозь паводок сна:
*«Человеку положены – кресло и плед,
И пятнадцать минут помолчать у окна. . .»*
И насыплет цветастых прищепок в ладонь,
И пошлёт – словно в музыку – вешать бельё,
И тогда, заливая соседей водой,
Я расслышу над ветками – сердце твоё.

Не гони нас, простуда, в четыре стены,
Ни в сопливую грусть, ни в ромашковый чай,
Где, прижавшись к подушке, мы падаем в сны,
И бормочем, горя как костры: «Выручай!»
Где ладони и плечи – слабы и дрожат,
И так хочется в детскую книгу зайти,
Там послушные ангелы нас сторожат,
Чтобы мы – в сновиденьях – не сбились с пути.



В голубиной толпе затеряется чайка –
Словно яхта среди лодок – светла и остра...
И захочется верить в любую случайность,
Как в законную, щедрую подпись добра.
И опять – не имея ни рыбы, ни хлеба –
Только эти деревья без всяких прикрас,
Я гляжу, как слетает январское небо –
На любую из них, на любого из нас.

И снова, укушена снежной пчелой,
Я сердце с чужим переулком сверяю.
Там голубь таится под аркой вигтю,
Какие-то строки под нос повторяя.
Собьётся, забудет, и снова – сначала –
Бьёт говором гулким о тесные своды.
И вдруг – встрепенётся и в небо отчалит...
У птиц не бывает нелётной погоды.

Ты, поэтам раздавший по одиночеству,
Безымянным облаком сыплешь снег,
И снежинки сбываются, как пророчества,
Стрекозиной толпою касаясь век.
И среди ткацких станков, где, сплетаясь нитями,
Всё единым становится полотном,
Ты гуляешь – прохладный, сквозной, невидимый,
Нам даря золотое своё руно.

КИРА САПГИР

НЕКРУГЛАЯ ГОДОВЩИНА одесские фрагменты, 2005

Об Одессе трудно писать, не впадая в тривиальность и трафаретность при описании пресловутого местного колорита. И оттого лучше начать с самого близкого мне по духу места — одесского Литературного музея, созданного в 1984 году во «Дворце князя Гагарина». В этом необыкновенно красивом здании в стиле «южнорусского барокко» хранятся рукописи, книги, вещи писателей, связанных с Одессой — от Пушкина до Куприна, Ахматовой, Бунина, Короленко, Шолом-Алейхема, Катаева, Бабеля, Олеси. Здесь и сегодня — звёздное скопление талантливых одесситов — художников, писателей, поэтов, драматургов.

И вот я брожу по вздыбленному асфальту Французского бульвара, Итальянской, Греческой, Еврейской улиц, по бессонной Дерибасовской, по бурной Ришельевской — по всему этому городу громокипящего бурлеска, вдоль обветшалых домов и тенистых бульваров с акациями и каштанами. Навещаю дворники с их прелестью запустения; хожу в богемные компании, спускаюсь в подвальные мастерские, где читают стихи, дарят друг другу картины — как когда-то в Питере и Москве. Здесь процветают реликтивно-патриархальные нравы культурной провинции, которыми изначально славилась Южная Россия.

Здесь быть поэтом и художником почётно, как нигде. Здесь патриарха одесской поэзии Игоря Павлова цитируют наизусть. Здесь чтут поэзию художника Игоря Божко, а у Анны, его дочери, ценители поэзии в стихах находят изысканную простоту (*... было привольно в бездонном расплавленном небе.../ в гости соседи с вином молодым приходили,/ папа играл на своей самодельной гитаре,/ в окна к нам биллись крылатые звери ночные*). И есть здесь Галя Маркелова, есть «московский одессит» Стас Айдинян, поэт и цветовед, и Борис Херсонский, и Ефим Ярошевский. . . Разумеется, упомянутыми авторами список одесских поэтов не исчерпывается. Поэты и их стихи в Одессе растут сами по себе — как трава.

Этим летом в литературной среде Одессы кипели страсти. В июле вышел в свет «одесский» номер **московского журнала «Октябрь»**. Главный редактор Ирина Барметова собрала в «букет» восемнадцать одесситов, причём у каждого поэта в журнале нашлось место для целой подборки, а не просто для отдельного стихотворения. Сколько радости у тех, кто там оказался — и какое растройство у тех, кто не попал в состав «избранных» толстым московским журналом!

Все мои одесские пути так или иначе вели в Литмузей, где что ни день, то презентация — от скромных посиделок (вроде моего вечера) — до пышного празднования в парадном «Золотом зале» в честь выхода в свет роскошного альбома, целиком посвящённого одному-единственному уголку Одессы — Пале-Роялю.

Сам альбом — типографское чудо. И его выпуск был под силу лишь богатым людям. Притом он не предназначен на продажу. Автор и составитель, Олег Губарь, его попросту дарил. И для меня было особенной радостью получить это уникальное издание, где во всех ракурсах красуется старинный пассаж за Оперным театром, фешенебельный и укромный. На обложке альбома — изображение мраморных Амура и Психеи, что целуются в тишине зелёного карре Пале-Рояля почти сто пятьдесят лет. На этом торговом пятачке на рубеже 30-40х годов XIX века прогуливалась, отоваривалась и общалась друг с другом одесская знать и негоцианты.

— Есть «парижские тайны», а наш Пале-Рояль — тайна одесская, — говорит мне Олег Губарь. — В любом городе Европы такой ансамбль был бы одной из главных архитектурных красот — а у нас он скрыт от сторонних взглядов, и случайный человек его не заметит.

Олег Губарь — одессит в законе. Этот журналист, писатель, поэт — один из самых популярных людей в Одессе, своего рода «гений места». Его жизнь проходит не только в библиотеках и архивах, но и на улицах, базарах, толкучках. Он — автор доброго десятка книг, посвящённых истории Одессы. В их числе серьёзные исторические труды — и блистательные безделки. О городе, его прошлом, настоящем и даже будущем и идёт наш с ним «разговор по душам» в задымленном шумном подвальчике «Татарбунарские вина». Над стойкой красуется надпись: «Вино полезно для здоровья. А здоровье нужно, чтобы пить водку».

— Город, возведённый на мифе, обречён и дальше собирать легенды о себе. . . — объясняет Губарь. — А миф Одессы восходит ко временам палеолита. Судя по раскопкам, древние одесситы хлебосольно принимали и размещали у себя гостей — киммерийцев, сарматов, скифов. И грекам, причалившим сюда уже в середине IV века до н. э., нашлось место — в районе Лузановки. . . И так далее — вплоть до 22 августа

(2 сентября) 1794 года, когда генерал-майор испанец Хосе Де Рибас, он же — Осип Михайлович Дерibas, участник русско-турецкой кампании 1787-1791 гг., по рескрипту Екатерины II приказал забить первые сваи в основание города...

— Расхожие фишки: «Красавица-Одесса», «Маленький Париж», «... Бульвар Французский весь в цвете...». Ну, а что есть сегодняшняя Одесса? Какой это город? Украинский, русский — или же французский, греческий, итальянский?

— Не поверите, но наш город ещё в конце XIX столетия был почти официально двуязычным. Даже таблички с названиями улиц гравировались на русском и итальянском. В ту пору фельетонисты интерпретировали итальянское слово «strada» (улица), как семантический вариант русского «страдать» — мостовые и тротуары тогда, как и теперь, пребывали в отвратительном состоянии... В любом случае это город-порт. И это главное. Одесса всегда была южными воротами России. Отсюда текла в Европу пшеница, а на место пшеницы притекало золото. Но сейчас времена меняются — одесситы чувствуют себя скорее финикийцами. Имне иногда кажется, что в Одесский порт вот-вот влетит на всех парусах фелука.

... Но и дух Франции витает над городом, материализуясь Ришельевской и Ланжероновской, Дюковским садом, Ришельевским лицеем, дачей Рено, Французским бульваром, Пале-Роялем. А люди и атмосфера напоминают больше всего французский юг. Здесь, как в Ницце, люди легко воспламеняются, но перебранка кончается хохотом — и знаменитой одесской хохмой. А уж по части хохм город этот был и остается непревзойдённым! Главный конденсатор одесского юмора — Привоз, рынок-планета, царящий над городом. Там можно упиваться не только зрелищем раблезианского изобилия, но и подлинной лингвистической симфонией!

Из фраз, услышанных мной на Привозе:

— Такая интересная женщина — и не ест творог!

Рыбные ряды. Наблюдаю уползающего от реализаторши голубого рака. Выбравшись из таза, тот семенит к проезжей части.

— Смотрите, у вас рак сбежал. Он уже прошёл дистанцию...

— Ай, да рак, как мужик. Уползёт и вернётся!

Здесь идёт шоу нон-стоп, род комедии дель арте где каждый сам себе актёр, зритель, режиссёр. Разглагольствуют сами для себя, ораторствуют, как в Гайд-Парке.

Наблюдаю такую сценку. На Привозе у прилавков прямо на земле спит метвецки пьяный бомж. За ухо бомжа трогательно заткнута сигарета «Картъе». Цыганёнок трудолюбиво чистит карманы бомжа. «Что вы уставились, люди? — вопрошает во всеуслышание продавщица. — Вы что, решили уже вступить во фракцию голубых?» И так на каждом шагу.

Хороши вывески.

На дверях кафе-бара «Акула»: «Наши цены не кусаются».

Продовольственный магазин «Вакуум».

Агентство погребальных церемоний «В лучшем виде».

Бар «Последний грош» украшают стихи:

Здесь веселится компания,

Но без ссоры и ругания.

Пей шампанское, мадеру,

Чтобы было человеку в меру.

В маршрутном такси над низенькой дверцей надпись: «Место для удара головой». Сама видела!

— Всё это — скорее обёртка, экспортный вариант мифа, — говорю я. — А ведь ваш город сегодня оказался за пределами России. Означает ли это начало какой-то совершенно иной эпохи? И успело ли уже что-то существенно измениться?

— То, что Одесса — заграница, где другой флаг и другие деньги, вызывает до сих пор недоумение. Я не знаю, что теперь будет с ней. Но украинской её не сделать и за сто лет, разве что переселить куда-то её жителей, как было некогда с польским Львовом.

— Что ждёт Одессу в будущем?

— Быть Кассандрой просто. Но я предпочитаю оптимистические прогнозы. Одесса, конечно, выживет. Она выживет благодаря неистребимой деловой жилке, жизнерадостности, благодаря меценатам, на которых сегодня здесь и держится всё. Вы заметили, какая тут у людей уверенность в себе? Им незачем вставать постоянно в боксёрскую стойку, держать круговую оборону... А ещё — Одесса жива духом вдохновенной наживы. Нажива жива.

2 сентября городу исполнилось «ровно» 211 лет. В этот день город получил подарок: на Приморском бульваре пришёл в движение легендарный фуникулёр, бездействовавший на протяжении десятилетий, созданный на средства меценатов, — точная копия старого: изящные вагонетки, прозрачные стеклянные павильончики. И среди почётных пассажиров вдоль «потёмкинской» лестницы поднимался правнук первого вагоновожатого фуникулёра — такой же составляющей одесского мифа, как и сама «потёмкинская лестница».

А на Приморском бульваре затем состоялась настоящая феерия. На сцене, сооружённой в виде старинного парусника, перед зрителями попеременно появлялись различные исторические персоналии — отцы-основатели города: адмирал де Рибас, «Дюк» де Ришелье, императрица Екатерина II, граф Ланжерон, а с ними вместе — Александр Сергеевич Пушкин, воздухоплаватель Сергей Уточкин и даже литера-



турный персонаж – бессмертный Остап Бендер! А ночью в сполохах фейерверков корабль пустился в плавание по улицам города.

– Почему справляют некруглую годовщину?

– А почему нет? – типично одесский ответ вопросом на вопрос.

Я увожу с собой в Париж сборники стихов, запах цветов и вяленой рыбы, а ещё – память о пыльном солнце лиманов, буйной зелени и канатной дороге, по которой по утрам спускалась на пляж «Отрада». Но, главное – со мной одесский миф. Этот миф никогда не станет материалом для литературоведов. Ибо он живой. Как жива и Одесса, город-порт, с её газетами, трамваями, с её главными артефактами – монументом «Дюку» и бронзовым Пушкинским бюстом – с её бродягами, красавицами, поэтами.

... Но я чувствую, что вот-вот впаду в одесский транс – и чтоб не получился штамп, на том предпочитаю отложить перо.

ОЛЕГ ДРЯМИН

ОДЕССКИЙ ОТШЕЛЬНИК

рассказ

Матроса Василия Бойко ругали, чуть ли не всю дорогу из Херсона в Одессу. Сначала изощрылся капитан буксира, а затем старпом и боцман. Даже рядовые члены команды, вплоть до судового кока Аркашки, на экстренном собрании осудили действия Бойко, как порочащие звание моряка-черноморца. Ещё бы: снова драка в очередном порту.

Уже дважды за такие проступки команда брала его «на поруки», но, по-видимому, на этот раз лимит доверия был полностью исчерпан.

Даже близкий товарищ, матрос Гоша, принимавший пассивное участие в ночной потасовке, высказался за осуждение Василия, заявив, что, если там кого-то били, значит было за что, и не обязательно вступаться за всех без разбору.

Один только спасённый Василием и прирученный кот Васька против него не высказался, может быть потому, что не умел говорить.

И вот сейчас, дожидаясь в кубрике своей участи, Василий вспоминал свои матросские годы.

Пару лет назад буксир «Мирный» проплывал между Кинбурнской косой и островом Березань. Сидя у правого борта, на пожарном ящике, матрос Бойко заметил старую доску, а на ней живой мокрый серенький комочек. Он понял, что это терпящий бедствие щенок или котенок, которого бессердечные люди, играя, отправили в плаванье на небольшой шаткой доске.

Прикинув, что волны от буксира перевернут доску и бедное животное непременно утонет, Бойко бросился в штурманскую и упросил, а скорее, заставил растерявшегося рулевого остановить судно.

Но нельзя было остановить волны и, качнувшись несколько раз, доска с перепуганным существом перевернулась.

Бойко, не раздумывая, нырнул в воду прямо с капитанского мостика. Через несколько секунд он увидел барахтающегося котёнка. Матрос схватил его и вынырнул, подняв над водой руку со спасённым животным. Поймав ту же доску, он посадил на неё мокрого котёнка и поплыл к буксиру, осторожно подталкивая её перед собой.

Тогда команда «Мирного» встретила спасателя как героя.

Даже капитан, отругав сторяча рулевого за внезапную остановку, всего лишь пожурил поднявшегося на борт с котёнком на руках Василия, усмотрев в произошедшем благородный поступок.

К ужину, когда котёнок обсох и отошёл от пережитого шока, в кубрике стали собираться любопытные – как матрос назовет спасённого.

– Не знаю, может быть, Матросиком или Шкипером. У него ведь было свое плавсредство, – в шутку объяснил Василий.

Матрос Гоша, изобразив на лице страшную гримасу, так что даже небольшие рыжие усы его ощетились «испуганным ежом», деланно хриплым голосом заявил:

– Этот котёнок больше похож на притаившегося казака-запорожца. Дед как-то рассказывал мне, что казаки, из тех, кто был поменьше и полегче, подплывали утром, в тумане, на досках к турецким галерам и взрывали их самодельными бомбами, а то и поджигали с нескольких сторон. Поэтому кличка Запорожек будет ему в самый раз.

Но упрямый матрос Бойко заявил, что ему больше по нраву имя Шкипер, и никто спорить с этим не стал.

Только обстоятельства распорядились по-иному.

Когда не было Василия Бойко, повар Аркаша, а потом и другие члены команды стали называть подрастающего, вечно играющего и шкодливого котёнка Васькой, в честь его хозяина. Мол, яблоко от яблони недалеко падает. Самому Василию имя Васька показалось более родным, а со временем и подходящим, нежели «Шкипер».

Котёнок быстро подрастал, охотно откликался на кличку «Васька», а Василий, поглаживая его, иногда даже называл тёзкой. Причем котёнок откликался и на тёзку, будто понимал значение этого слова, хотя на самом деле он, очевидно, откликался на ласковый тон голоса хозяина и нежное поглаживание, кото-



рое за этим следовало.

Когда случалось, что буксир «Мирный» стоял у причала, и находилось свободное время для рыбалки, первый попавшийся на удочку Бойко бычок — если, конечно, он был небольшого размера — обязательно доставался Ваське. И тогда котёнок превращался в настоящего хищника. Шерсть угрожающе вставала на дыбы, глаза цвета осинового коры становились почти изумрудными, с бегающими алчными огоньками. Из жующего рта доносилось жуткое рычание, хвост принимал форму бруствера вокруг неприступной крепости; выпущенные когти, которыми он вцеплялся в рыбу, говорили, что он действительно был из рода тигровых. И пока не исчезала в его пасти последняя пережёванная рыбная косточка, он не обращал внимания ни на один оклик. Он становился глух к любому звуку, кроме одного — звуку шлёпающегося на палубу очередного бычка. Если рыба сильно заглатывала крючок, и Бойко должен был немного повозиться с добычей, Васька громко и протяжно мяукал, пугаясь у ног хозяина. И тот вынужден был кормить его до отвала, только бы не слышать этого сумасшедшего мяуканья.

Дни и месяцы на море бегут, как волны. За несколько лет Васька превратился в смышлёного кота. Он познал не только вкус морской воды, не только изучил время работы камбуза, запах портовых бычков и переменчивый характер Василия Бойко, но и узнал, что такое зима, и что вслед за ней опять приходит рыбное лето, а потом всё повторяется.

Каждое лето, в общем-то, похоже одно на другое, а вот зимы одни бывают холодные, другие — теплее.

Первая Васькина зима была хорошей. И снегом не обидела, и сильно не морозила. Акваторию порта не сковал лёд, и всю зиму буксир работал без простоя. Правда, Ваське за всю зиму ни одного бычка не досталось, потому что рыбу не ловили.

Однако изредка, но всё же угощал его хвостами размороженных океанских окуней кок Аркаша.

Но была и другая зима, которая особенно запомнилась Ваське. Замёрзла не только акватория порта, но лёд дошёл от прибрежной полосы до открытого моря, где обычно стоят суда, ожидая своей очереди на разгрузку.

Зная о такой суровой зиме, буксир решено было оставить в порту. Почти вся команда на полтора месяца ушла в отпуск и разъехалась по домам. А так как матрос Бойко был одним из молодых, а самое главное неженатым, его и оставили «караванным капитаном», ответственным за несколько небольших судов у причала и всё то имущество, что находилось у них на борту.

Портовые электрики оперативно пустили с ближнего опорного столба через судовую мачту электрокабель, подключили масляный электронагреватель и повесили пару дежурных лампочек. Со склада ЧМП каждую неделю привозили сухой паёк: крупу, картошку, чай, сахар и несколько буханок хлеба.

Так они вдвоём с котом перезимовали. Одно понравилось Ваське — что все бычки, которые ловил на зимнюю удочку через дунку во льду Бойко, доставались ему — четвероногому рыбному гурману.

Шум быстрых шагов на палубе и стук пожарного ведра согнал нахлынувшие воспоминания. Бойко заметил, как за иллюминатором ухнуло ведро в воду и тут же его за верёвку, уже наполненное, с падающими каплями подняли наверх.

Буксир был на подходе к Одессе. Уже начали драить палубу, но его не позвали — словно он уже не был членом команды.

Василий посмотрел на кота, и слёзы навернулись на глаза матроса. Но он сжал зубы и сильно тряхнул головой. Потом взял на руки мурлыкающего Ваську и подошёл к иллюминатору.

На круглом стекле дрожали пронизанные солнечными лучами свежие капли морской воды.

Бойко увидел приближающийся город: Воронцовский маяк, Морвокзал, белые катера у причала, Потёмкинскую лестницу в сверкающем бриллиантовом ожерелье из капель, прилипших к стеклу иллюминатора.

Матрос выпустил из рук кота, упал на кровать и решил не подниматься, пока его не позовут к капитану. Через какой-то промежуток времени он вдруг ощутил толчок, — это буксир, обвешанный резиновыми покрывками, прижался к причалу и затих. Потом Бойко услышал металлический скрежет, шарканье по деревянным сходням — и опять тишина. Минуты потянулись как часы.

Василий уже решил было, что о нём совсем забыли, но сухая команда «Бойко к старпому» как ведро холодной воды вернула его в действительность и подняла на ноги.

Через минуту он уже стоял на выгяжку перед старпомом. Бойко ещё надеялся на чудо, но чуда не произошло. Тот подтвердил решение капитана о списании матроса на берег. Затем выдал на руки паспорт, дал из судовой кассы денег на дорогу, разъяснив, что бухгалтерия произведёт с ним окончательный расчёт.

Василий хотел поговорить с капитаном, но оказалось, что как только подали трап, тот сразу отправился в парходство. Десяти минут хватило матросу Бойко, чтобы собрать свои нехитрые пожитки, посадить в полупустую брезентовую сумку любимца Ваську, попрощаться с экипажем и, как говорят моряки,

«сойти на берег». С буксира его, конечно, списали, но от самого моря отлучать моряка никто не в праве.

Сначала Бойко пошёл вдоль причала, где на разгрузке находились большие суда. От работающих кранов исходили шум и грохот. Кот Васька с головой погрузился в сумку, но как только хозяин отошёл от грохочущих причалов вглубь порта, высунул свою любопытствующую мордашку.

Море осталось позади, и только два кошачьих глаза, похожих на две крупных капли припортовой мутно-зелёной воды, уносил матрос с собой в выцветшей брезентовой сумке.

Когда Василий подошёл к проходной порта, вахтёр-охранник пошутил, что кота он проносит как контрабанду. Но поняв, что моряку не до шуток, сразу же пропустил его через вертушку. Одно лекарство могло спасти разрывающееся на части сердце моряка — это красавица Одесса.

Целый день Бойко гулял по городу, притягивающему многих людей, как магнитом. Сначала он поднялся по знаменитой Потёмкинской лестнице на Приморский бульвар, при этом услышав спор двух прохожих о количестве её ступенек. Не поленившись спуститься вниз, Василий насчитал их сто девяносто шесть. Один из споривших был прав: несколько нижних ступеней остались под асфальтом, когда прокладывали улицу Суворова, что находилась внизу, а в первоначальном варианте ступеней действительно было двести.

Во второй раз Бойко поднялся на бульвар к памятнику Дюку уже на эскалаторе. Услышав про Тёщин мост, он непременно захотел взглянуть на него. У Василия ещё не было ни жены, ни тещи, но он с большим интересом осмотрел мост, постоял на нём, чувствуя, как тот покачивается от резких порывов ветра.

Тут же, рядом с мостом, Бойко увидел прекрасные старинные здания и большую белую колоннаду над обрывом.

Посмотрев ещё раз на море, он заметил несколько подводных лодок у причала. Это показалось Василию странным, он всегда считал, что база подводных лодок должна быть закрыта от посторонних глаз, а здесь всё на виду. Да и к тому же полно иностранцев.

Но то, что он увидел, подойдя к перилам колоннады, где стояла группа туристов, ещё больше расстроило его. Чуть правее, внизу, у причалов стояли торговые суда, и среди них он рассмотрел далёкий, но всё же родной сердцу буксир «Мирный». У Бойко навернулись на глаза слёзы и он пошёл прочь.

Пройдя по брусчатке старинной улицы, он неожиданно вышел к рынку под названием «Новый». Василий обрадовался: наконец-то он купит свежих бычков проголодавшемуся коту. Выбрав подходящую связку, он тут же скормил поднышшему переполюх Ваське несколько штук. Остальных Бойко засунул в брошенную кем-то у забора из-за маленькой трещинки банку и закрыл полиэтиленовой крышкой.

Когда он положил её в сумку, урчащий кот тут же последовал за банкой и пристроился возле бычков неподкупным охранником.

Правда, уйдя с головой в сумку, он не увидел ни Садовой, ни Дерибасовской. Зато на улице Ласточкина, возле музея Морского флота, Бойко всё же вынул из сумки притаившегося кота.

Он просто не мог не вспомнить про Ваську, когда перед ним предстал сказочно огромный, опоясанный крепкой цепью дуб.

На высоте человеческого роста две ветви этого гиганта росли как бы самостоятельно, но корень и основной ствол у них был один. Так они, как сестры, красовались около двух веков, но время стало разделять их, тяжесть множества новых веток тянула их в разные стороны, и от этого ствол начал разламываться.

Чтобы мощный дуб не раскололся и не рухнул, одесситы скрепили его в слабом месте стальной цепью. С тех пор прошло немало лет. Цепь врезалась в растущие ветви дуба, а в нескольких местах даже скрылась под корой. Василий в шутку попытался пристроить Ваську на звенья натянутой цепи и прочитывать ему любимые с детства строки:

— У лукоморья дуб зелёный...

Но Васька вырвался из его рук и шустро нырнул в сумку к своим бычкам. Конечно, он не знал знаменитого отрывка из поэмы Пушкина, не знал и того, что поэт стоит почти рядом, в облике бронзового памятника на Думской площади и оказался безмолвным свидетелем узости кошачьих интересов. Василий подошёл к бронзовому Пушкину и поклонился великому поэту.

Весь день Бойко дышал свободным воздухом Одессы, любовался изумительной старинной архитектурой зданий, восхищался большим количеством красивых и стройных женщин.

Сам он не то чтоб не считал себя красивым, но и никогда не льстил себе определением — симпатичный. Это люди разделили себя на красивых и просто симпатичных, а тех, кто говорил о себе «третий сорт — не брак», оставалось мизерное количество. Но как раз к этому типу и относился Василий Бойко. Таких мужчин красивые и модные молодые женщины просто не замечают.

И теперь Василия удивляло, что многие девушки бросали на него любопытные взгляды. Правда, когда они приближались, интерес их испарялся, как капля воды на горячей палубе. Василий не знал, что маленький кусочек выглядывающей тельняшки и фуражка с крабом действуют на одесситок не хуже



королевской короны. С молодости они понимают, что значит стать женой моряка, а что такое быть женой малооплачиваемого инженера. Только позднее, разглядев полупустую выцветшую сумку матроса, дамы делали «три румба влево» . . .

Затаившегося возле бычков Ваську хозяин потревожил лишь после того, как выпил в подвальном баре «Гамбринус» пару кружек пива.

За день Одесса успокоила моряка, но не излечила его души. Вечером, когда Бойко уже прошёлся по всем знаменитым – благодаря фильмам и песням – улицам Одессы, в нём начала пробуждаться жалость к себе. Василию стало обидно, что ему уже тридцать лет, а кроме кота у него никого нет. Он почувствовал себя обиженным и несостоявшимся.

По обе стороны пивного бара, куда к вечеру Бойко решил зайти, находились длинные деревянные столы со скамейками. В самом конце стояли бочки, а рядом с каждой бочкой – небольшие бочонки для сидения.

За одной из свободных бочек и разместился Бойко. К нему вскоре под село трое парней, по виду студентов, с опознавательными нашивками техфлота. Новые соседи чувствовали себя в баре не новичками, рассказывали анекдоты, громко смеялись и курили.

Василию стало легче на душе, он нагнулся и заглянул в сумку. Кот испуганно открыл глаза. В баре стоял такой дым, что Васька мог подумать, что случился пожар. На «Мирном» в каютах курить запрещалось. Для курения было специальное место на палубе, а нарушавших дисциплину ждал берег. Может, из-за этого многие, в том числе и Бойко, бросали курить. Сейчас Васька увидел во рту у него дымящуюся сигарету – это не предвещало ничего хорошего.

Бойко в очередной раз заказал официантке кружку пива и, пока та выполняла заказ, достал банку с бычками, откупорил крышку и поставил за бочкой, в тени. Затем он ласково позвал Ваську. Тот высунул морду и опять спрятался. Бойко тихонько стукнул ногой по сумке и негромко выругался на трусливого кота.

Тут подошла официантка, женщина средних лет, и поставила на бочку перед Бойко и его соседями четыре кружки пива, освободив при этом левую руку. Другие кружки, надёжно стиснутые цепкими пальцами правой руки за дужки, тут же были поставлены на бочку соседней компании.

Опытные официантки, проработавшие в «Гамбринусе» не один год, приноровились к раздаче пива без разносов. Они спокойно носили в одной руке по шесть кружек. Даже умудрялись, если это забавляло компанию, за щедрые чаевые приносить в одной руке по семь, а то и восемь кружек. Но таких специалистов было немного.

В самом баре было запрещено подавать тараньку, поэтому сушёные деликатесы предлагались официантками «из-под паль» (то есть, из специального, потайного кармана в фартуке). В открытую, продавалась только копчёная, очищенная и аккуратно нарезанная скумбрия. На её продажу, очевидно, имелось разрешение. Тараньку же носили официантки только в кармане фартука.

Если же заказывалась не помещающаяся в карман рыбина, её тут же, в считанные минуты, подносили посетителю. Завсегдатан «Гамбринуса» догадывались, что рыбный филиал «Привоза» находится где-то за дверью, в этом же подземелье. Вот почему со своей рыбой приходиться строго – настрого запрещалось, как и со своим же пивом.

Поэтому, заметив, что новый клиент в очередной раз полез в сумку, тётя Аня, официантка, обслуживающая его, закатила такой скандал, что торговки с «Привоза» просто отдыхали. Напрасно Бойко оправдывался, что в сумке копящая рыба. Узнав, что под столом кот, она разошлась ещё больше, заявив, что тот может устроить за бочками туалет, а убирать придется ей.

Василий ещё многое узнал бы о себе и своём любимце, а возможно, после всего этого не допив пива, оказался бы на улице, однако соседи ему посоветовали заказать у разбушевавшейся женщины пару больших таранек. Официантка тут же пропала на две-три минуты. Когда же она вернулась и получила щедрые чаевые, то на какое-то время стала совсем другим человеком. Неожиданно пропахшее пивом, копчёностями, таранькой и сигаретным дымом помещение, расположенное под старой Одессой и являющееся её неотъемлемой частью, наполнили звуки скрипки – мелодия, в которой смешаны и грусть, и радость, тоска по-старинному, потерянному чудесному рецепту прекрасного жизнерадостного народа – одесситов. В ней – смех Молдаванки, грусть Пересыпи, скрип башмаков биндюжников и просто завывание ноющего от безысходности сердца.

Не прошло и минуты, как к тягучей ворожке скрипки добавились раскатистые звуки фортепиано.

Бойко посмотрел по сторонам. В середине вытянутого помещения лампа щедро освещала стойку пивного бара и круглолицую буфетчицу. Увесистые стеклянные кружки поочередно попадали под пивной краник, – падающая струйка янтарной жидкости ударялась о дно, закипала белой неумёмной пеной, которая, играя, оседала и наполняла кружку вкуснейшим пивом. Их тут же подхватывали официантки и разносили жаждающим клиентам.

Буфетчица купалась в пивных парах и брызгах, пронизанных ярким светом фонаря. Его вполне хватало освещать небольшую стену напротив, где неподражаемо играли на скрипке и пианино два старых, но энергичных музыканта.

Вечер проходил интересно: несерьёзные знакомства, новые весёлые компании. Кого-то Бойко угощал пивом, кто-то из новых знакомых достал бутылку водки и разлил по кружкам, зарядив «ерша». Перед закрытием Василию захотелось стрелкнуть сигаретку. У соседей по столику курево закончилось. И Бойко пошёл по быстро пустеющему «Гамбринусу». Но у тех, кто, допивая пиво, ещё задерживался, как назло, тоже не осталось сигарет.

За столом, у самого выхода из бара, кто-то из подвыпившей компании послал непристойную реплику в сторону пьяного Василия. Бойко не замедлил с ответом. Слово за слово – и началась потасовка. Несколько пивных кружек оказались разбитыми. Милиция прибыла оперативно. Пострадавшая компания во всём обвинила Бойко. Милиционеры скрутили матросу руки, посадили в машину, и ночной переулком поглотил исчезнувший в темноте «воронок».

Из-за пьяных разговоров по соседству кот Васька не слышал, как хозяйина на выходе забрала милиция. Неожиданно он увидел недовольную женскую физиономию, заглянувшую в сумку.

Потом сумку куда-то понесли, и он почувствовал, что несет её не Бойко. К тому же при этом неприятно ворчал женский голос. Васька попытался высунуть морду наружу, но не нашёл отверстия. Затем сумку грубо поставили. Васька слышал, что рядом проходят люди, некоторые пьяно переговариваются. Из их разговоров, он понял, что, скорее всего, он находится недалеко от бара.

Через некоторое время кто-то схватил сумку и быстро понес её. Это длилось недолго. Какую-то минуту спустя сумку открыли, и Васька увидел грязное неприятное лицо с бегающими пытливыми глазками. Тут же бесцеремонная рука обшарила сумку и вытянула из-под кота выцветшую ветровку Василия. Потом чумазое существо открыло банку с бычками и сунуло туда нос. После чего банка с завонявшей рыбой вернулась к Ваське.

Не успел тот опомниться, как сумку стрепли вместе с ним и через несколько шагов отпустили, только уже не на тротуар, а, скорее всего, на что-то деревянное. . .

Васька притаился, напряг слух. . . Неприятное шарканье удалялось. Наконец всё стихло. Кот без труда вылез из полукруглой сумки, затем выбрался из картонной коробки на тротуар.

Тусклый свет высокого фонаря освещал полупустую улицу. Ваське всё было незнакомо. Ведь когда Бойко гулял по Дерибасовской, он лежал на дне сумки возле банки со злополучными бычками. . . Васька понимал, что пивной бар находится где-то рядом, и Василий должен быть там.

Он начал бегать по улице и соседним переулкам, отыскивая знакомый запах, хотя в то же время боялся потерять хозяйскую сумку. Наконец неподалёку кот нашёл пивную, откуда его, по-видимому, вынесла ворчливая уборщица. Он попытался проникнуть вниз по крутой, уходящей в подземелье лестнице, но охранник отшвырнул его ногой.

Примостившись неподалеку от входа, Васька, время от времени жалобно мяукал, думая, что хозяин услышит его и они снова будут вместе.

Он видел, как вышли из бара последние посетители, слышал, как тяжёлые кованые двери закрыли на все замки.

Но Васька всё ждал и ждал, многого не зная и не понимая. Несколько раз бродячие собаки мешали его дежурству, и он искал спасения за углом дома, где среди каких-то коробок находилась хозяйская сумка. Но потом снова и снова возвращался к бару, надеясь, что Василий будет его искать.

За трое суток одиночества и частого бдения на углу Дерибасовской, откуда был виден вход в пивную, Васька узнал многое из жизни города. Узнал, что каждое утро дворники громко метут улицы. В это же время горожане выгуливают своих собак, от которых ему часто приходилось прятаться. Видел, что с самого утра до позднего вечера людей на Дерибасовской – как волн в море в ветреную погоду.

Шли дни, но хозяин не появлялся. От голода Васька терял силы. Он был домашним котом, вернее, корабельным, что было ещё хуже.

Ведь на буксире он не видел даже мышей, поэтому был не приспособлен к улице, жил на всём готовом. О его питании заботились Бойко и кок Аркаша. А сейчас их рядом не было, и он голодал.

В очередной раз, вернувшись в коробку, где лежала старая сумка, Васька, голодный и слабый, лёг на самое дно.

Жаль, думал он, что возле пивного подвала нет такой же кучи коробок, откуда, не страшась собак, можно было бы наблюдать за входом. Вдруг Бойко будет искать его, а он просидит в соседнем переулке и не услышит зовущего голоса хозяина.

Поздно ночью кто-то толкнул коробку, а потом начал грызть картон возле Васьки. В темноте острые зубы впелись ему в заднюю лапу. От боли кот взвыл. Чудище отступило, а раненый Васька открыл для себя, что пострадать можно не только от собак.

Через какое-то время крыса заглянула через проделанное отверстие, но насторожившийся кот, собрав силы, пугающе фыркнул. Шерсть на нём встала дыбом.

После этого знакомства крыса потеряла интерес к новому жильцу.

Рана ещё больше ослабила голодающего Ваську.

Каждое утро он вылезал из коробок, чтобы напиться воды из луж, появляющихся после поливки



тротуаров. Впервые за эти дни, с тех пор, как Васька поселился возле ларька, он не вышел на свой утренний водопой.

Как-то одна из дворников, пожилая женщина, которую коллеги уважительно звали Михайловна, решила посмотреть, что случилось с несчастным котом.

Уже несколько дней она наблюдала в окно коммунальной кухни за тем, как в коробках и ящиках у заколоченного ларька ютится беспризорный кот.

Он часто бегал в сторону «Гамбринуса» и подолгу находился у входа в пивной бар. Женщина думала, что кто-то из работников принёс его из дома, где кот стал лишним. Но и прикармливать его не хотелось. Покормишь раз, другой – потом не отвяжется. Может, помыкается, да переберётся куда-нибудь в другое место.

Но кот не уходил. Один раз Михайловна увидела в окно, как он пытался охотиться на голубей. Но у него ничего не получилось, поскольку никогда в жизни он птиц не ловил.

В этот день, закончив уборку своего участка, женщина подошла к ящикам и коробкам, брошенным возле ларька. Заглянув в одну из них, Михайловна увидела обессиленного кота, положившего голову на тряпичную сумку. Он тихо повернул мордочку в сторону дворничихи. На зеленоватых воспалённых глазах проступила влага. Бедолага открыл рот. Но жалобное мяуканье оказалось беззвучным. На задней левой лапе женщина увидела загноившуюся рану, и в глазах грозной среди дворников и прохожих Михайловны сверкнула слезинка жалости.

Когда-то, молодой девушкой, она, Михайловна, приехала в Одессу из села. Трудом заработала себе комнату в коммунальной квартире в самом центре.

Полстраны мечтает жить на Дерибасовской, а если не жить, то хотя бы погостить здесь. Тысячи и тысячи людей в сутки проходят по участку Михайловны, на котором она ревностно наводит порядок. Каждый десятый норовит что-нибудь бросить мимо урны. Некоторые франты вообще на них не обращают внимания, выкурят сигарету – и в сторону. А ругают дворников.

Разве не станешь сварливой, когда каждая бумажка на тротуаре раздражает? А ей так хочется видеть этот город, ставший для неё родным, чистым и опрятным. . .

Михайловна не могла взять бездомного кота в свою комнату в коммуне. У неё уже была собака. Дворничиха приютила потерявшуюся немецкую овчарку, хозяева которой так и не появились. Та оказалась добродушной и верной собакой. Михайловна свою находку назвала Найдой.

У Найды со временем появилась немаловажная особенность – она оказалась не в меру прожорливой и очень ревнивой. Она ревновала Михайловну к другим животным, считая, что хозяйка принадлежит только ей одной и кормить обязана только её.

Когда на участке, который Найда считала своим, появился приبلудный кот, собака старалась выгнать его с территории. Это в основном от неё Васька прятался в своём ветхом, но всё же спасительном убежище.

Неизвестно, повезло Найде или нет, но её редко выгуливали на поводке. Обычно хозяйка открывала на лестничную клетку дверь, и собака бежала вниз на улицу, где оставалась предоставленной себе и своим желаниям до тех пор, пока Михайловна не позовет её.

Обратно в квартиру Найда бежала по первому зову, зная, что довольная её незамедлительным возвращением, хозяйка обязательно даст собаке что-то вкусненькое.

Пару раз Найду ловила «будка». Но на Пересыпи, где находилась так называемая «шкуродёрня», Михайловна сразу поднимала такой скандал, что потом «будка» объезжала участок дворничихи за несколько кварталов.

Из-за ревнивой Найды кота пришлось лечить и выхаживать на месте. Первым делом была промывка марганцовкой и обработана антисептиком рана на лапе. Однако в тот день кот не прикоснулся ни к кусочку свежей котлеты, ни к молоку, которое Михайловна налила в консервную банку из-под кильки.

Только на следующее утро, когда Михайловна вышла на работу, она увидела, что котлета исчезла, а молоко едва покрывало дно жестяной банки.

Кто-то из соседей, узнав о раненом животном, тоже стал приносить еду бедолаге.

Скоро в кошачьей коробке запахло свежей рыбой. Васька оклемался, лапа зажила. Еды у кота было больше необходимого, так что теперь он мог позволить себе выбирать, что повкуснее. Правда, как только соседи увидели, что «выздоровливающий» перебирает харчами, поток еды заметно уменьшился, но не иссяк.

Михайловна догадывалась, что история Приблуды, как она называла кота, каким-то образом связана с «Гамбринусом», и как-то пришла к началу работы бара.

В «Гамбринусе» работала её давняя соседка по коммуне, бывшая подруга Анка. Проработав несколько лет официанткой, она поменяла свою коммуналку на отдельную двухкомнатную квартиру в спальном районе, на Черёмушках. Понятно, что без большой доплаты не обошлось. Но после этого их дружба

стала затухать. Оперившаяся Анка стала стесняться своей подруги, поскольку теперь она общалась с людьми, как она считала, своего достатка.

Но всё же позволила себе постоять пару минут с дворничкой Нинкой (так она звала Михайловну), хотя и без особого желания.

Михайловна указала на сидящего на тротуаре возле «Гамбринуса» кота и рассказала историю последних дней Приблуды — о том, как он появился на её участке. Анка тут же вспомнила про моряка с котом, и о том, что в тот вечер перед закрытием хозяин кота устроил драку, и его забрал дежурный наряд милиции. Через день он зашёл, спросил про свою сумку с котом Васькой, — так он его называл, — показала Анка в сторону Приблуды, но матросу рассказали, что сумку с котом уборщица вынесла на улицу, а потом её кто-то утащил. Морячок не стал задерживаться, объяснив, что у него большие проблемы, и с тех пор не появлялся.

Теперь Михайловна знала, что Приблуду зовут Васькой, а вот придёт ли тот матрос за своим котом — никому не известно.

Но настоящее имя — это уже немало.

Шли дни, недели, месяцы. Ларёк так и стоял закрытым. Коробки и ящики возле него никто не трогал, однако из-за дождей они стали размокать. Среди них была и Васькина коробка.

Сосед Михайловны по коммуналке, пожилой мужчина Сергей Петрович выбрал из фанерных ящиков наиболее крепкий и приспособил его Ваське под новое жильё. Чтобы дожди не испортили и этого фанерного домика, он обмотал его сверху и по бокам полиэтиленом. Мальчишки принесли небольшой кусок шифера и соорудили над ящиком крышу.

Васька так и остался на участке Михайловны, где он приобрёл личный дом и ежедневное питание, да ещё и всеобщее внимание жителей соседних домов. Если он изредка и уходил со ставшей ему родной территории, то только в два места. Это на тротуар напротив «Гамбринуса», где он надеялся ещё встретить своего пропавшего хозяина, вторым же местом, где Васька любил гулять, был Городской сад. Под вечер там собирались пожилые одесситы — в основном жители окрестных домов. Все они знали Ваську как кота Михайловны, и обязательно приносили ему что-нибудь вкусное. Так мог ли он усидеть в своём ящике?

Тем более, у людей в городском саду всегда было хорошее настроение. Кто-то обязательно приносил гармонь или баян, и собравшиеся пели свои любимые песни или медленно кружились в вальсе. Как это было задущево! Даже Михайловна пела и танцевала. . .

Казалось, жизнь Васьки начала налаживаться. Теперь он чувствовал себя хозяином части такой знаменитой на весь мир улицы.

Но вдруг всё рухнуло.

В один из дней появилась какая-то комиссия и в короткий срок приказала очистить улицу от кучи ненужных коробок и ящиков возле ларька. Ругали всех, особенно начальника ЖЭКа и Михайловну. Важные чиновники с портфелями распорядились убрать свалку — так они называли Васькино жильё, а заодно и самого кота.

Михайловна не могла придумать, куда можно было пристроить Ваську. Ей было стыдно перед ним и соседями. Под вечер у неё заныло сердце, и она пошла в дом — выпить что-нибудь успокоительное.

И в это время несколько дворников с соседних участков по распоряжению начальника ЖЭКа погрузили все ящики и коробки в подъехавший грузовик. Погружён был в том числе и Васькин домик.

Ошарашенный таким поворотом дела Васька влез на соседнюю высокую липу. Ему было больно и обидно. Он не понимал, кому мешал его маленький домик. Все люди имеют квартиры и дома, он же снова остался ни с чем.

Васька обиделся на всех, в том числе и на Михайловну — не заступилась за него. Поэтому он решил никогда не слезать с дерева и свернулся клубком у самого ствола липы, откуда брали начало мощные раскидистые ветви, образовавшие что-то вроде нерукотворного балкончика.

Напрасно Михайловна уговаривала его спуститься к ней, на землю. Казалось, кот не слышит ни её, ни остальных. Он не реагировал ни на знакомые добрые голоса, ни на запах свежей рыбы, которую принёс кто-то из сердобольных соседей.

К вечеру на газете, расстеленной под деревом, лежало много еды, но Васька был неумолим. Ещё день-два назад он с остервенением хищника, урча, съел бы все эти тефтели, котлеты, жареные рыбы головы. . . Теперь же он был убит своим горем, еда для него потеряла и смысл, и вкус.

Соседи, в том числе и Михайловна, чьи окна выходили на раскидистую липу, видели, что Васька до утра пролежал на ветвях, как убитый.

Даже утром, когда Михайловна, как обычно, выпустила на улицу предоставленную себе Найдю, а та бесцеремонно, тут же на месте, проглотила все Васькины подношения, кот даже не пошевелил головой.

Через некоторое время к дереву, на котором сидел отрёкшийся от всего кот, подошли рабочие из ЖЭКа. Они стали успокаивать Михайловну и советовали найти лестницу, чтобы снять Ваську с дерева. Ещё они предложили обратиться к пожарным помочь спустить беднягу на землю.

Разумная Михайловна попросила их ни к кому не обращаться, чтобы не было ещё хуже. Ведь кот может потом вообще убежать куда глаза глядят и забиться в какой-нибудь подвал, где его уже никто не найдёт. Уж лучше пусть сидит на виду...

Днём под деревом собралось много народа. Кто-то приносил сосиски и кусочки варёной колбасы. Что-нибудь из мясного под шум и смех толпы пытались забросить на дерево, поближе к Ваське. Но он был неподкупен и смотрел на летящие кусочки колбасы, как на угрозу своему шаткому положению на ветвях.

Зато утром Найда подметала всё, от чего Васька отказывался.

Вечером Михайловне самой приходилось выгуливать Найду на поводке, подальше от Васькиного дерева. Не то люди догадались бы, куда деваются продукты.

Но как бы ни пытался Васька умереть, голодая из-за несправедливости и предательства, жизнь в нём брала верх.

Одна сосиска зацепилась за кору липы совсем рядом. Как она пахла! Шкурки сосисок с точно таким же запахом давала ему одна старушка в Городском саду. О, с каким удовольствием он ел эти шкурки! А сейчас перед ним целая сосиска – свежая, ароматная и прямо под носом.

У голодающего Васьки закружилась голова, и он чуть было не упал с дерева. Закрыв глаза, кот уткнулся носом в горьковатую кору липы. До наступления темноты было время подумать – прекратить голодовку или погибнуть.

Пусть люди увидят умершего от горя бездомного кота Ваську, у которого отобрали его фанерный домик – единственный ночлег, где он мог спрятаться от собак...

Пусть им будет стыдно!

Ваське вспомнился хозяин, Бойко: «Когда моряка списали с буксира «Мирный», ему было не легче, чем сейчас мне. Но он достойно принял это, не стал искать смерти. Несмотря ни на что. Он продолжал жить. И если жизнь нас разлучила, значит так надо».

Главное, Васька и сейчас верил, что хозяин не виноват.

Может, сейчас моряку ещё хуже, чем ему, Ваське. Всё равно когда-нибудь он придёт, увидит своего преданного друга и заберёт с собой...

И Васька решил, что надо жить ради встречи с хозяином. А ещё он решил, что ни за что не спустится с дерева – как-никак его сильно обидели. Больше ни к бару, ни в Горсад он не пойдёт.

Это дерево – его крепость. Будет еда – он будет жить, не будет еды – умрёт. Но вниз не спустится.

Вечером, когда под липой не осталось ни одного зевака, Васька решил достать лапой зацепившуюся сосиску. Но у него ничего не получилось. За те дни, которые Васька провёл, отказавшись от пищи, у него занемело всё тело. Но всё-таки он постарался и, подтянувшись, достал сосиску. Васька очень изголодался, но всю её осилить не смог. Больше половины осталось лежать тут же, на ветке, ставшей его пристанищем.

Утром, как обычно, Найда очистила газету-самобранку и разлила воду из консервной банки. На недосыгаемого кота она больше не обращала внимания, не считая его конкурентом, хотя нагло пользовалась его кухней. Затем, по первому окрику хозяйки, собака исчезла в распахнутой двери парадного.

Но не успела Михайловна выйти на уборку участка, как полил дождь. Он шустро застучал по пыльным осенним листьям.

Не имеющий крыши над головой Васька понял, что дождь – не очень радостное явление. Одно было хорошо – листья и верхние ветви липы спасали его от прямого попадания крупных капель. Уже под дождём кот сделал открытие: оказалось, что с одной стороны дерева капли падают гораздо реже. Ваську уже давно мучила жажда, и теперь, когда шерсть на нём намочла, он стал её облизывать. Поскольку дождь не смолкал, то вскоре по стволу стали стекать дождевые струйки, чем вдоволь воспользовался Васька. Напившись, кот доел остаток сосиски. Ему уже стало обидно, что за это время никто не появился под его деревом, даже Михайловна.

Дождь закончился поздно ночью. До утра промокший Васька дрожал, свернувшись в клубок на своей толстой ветке.

Утром выскочившая на улицу Найда, как всегда, бросилась к Васькиному дереву, но кроме мокрой газеты и полной жестяной банки дождевой воды ничего там не нашла. Собака несколько раз обежала вокруг липы, обнюхивая сырой асфальт, затем встала на задние лапы и сунула свою острую морду в небольшое дупло, которое находилось на метровой высоте. Но и там еды тоже не было. Ещё раз обнюхивая старую газету, Найда увидела в консервной банке отражающиеся ветви дерева. Тогда, отбежав в сторону, она стала смотреть ничего не понимающими глазами на полуживого промокшего Ваську. В движение её вернул зовущий голос Михайловны, и она исчезла.

Вскрест и сама Михайловна, как обычно, с метлой и большим совком появилась на участке.

Лучи осеннего солнца приласкали и обсушили желтеющие листья, а заодно и Ваську. Увидев Михайловну, кот жалобно мяукнул. Та, удивившись, подошла к дереву и стала что-то ласково выговаривать Ваське. Потом сходила домой и вернулась с рыбной котлетой в руках. Она звала Ваську к себе, протягивая ему тёплую котлету. Васька тихо и жалобно мяукал, но оставался на дереве. Михайловна незло выру-

галась в адрес неблагодарного животного и, положив котлету под дерево, пошла работать.

День выдался солнечным, и до обеда лужи высохли. Весть о том, что Васька подал голос, а значит, будет жить, разлетелась по соседним улицам со скоростью падающих листьев.

Уже днём пенсионер Петрович принёс новый фанерный ящик и, посоветовавшись с Михайловной, решил поставить новое кошачье жильё за ларьком, чтобы не бросалось в глаза начальству. Принесли и деревянную лестницу, с помощью которой решено было спустить новосёла в его новые апартаменты.

Но поняв, что его хотят снять с дерева, Васька залез на самую макушку липы, и расстроенный пенсионер спустился ни с чем. Пришлось оставить Ваську на дереве — может, со временем отойдёт его обида на людей, и он сам спустится вниз. Но полюбившие Ваську горожане не могли оставить кота на дереве без крыши над головой. Они знали, что за листопадом придёт снегопад, и Васька попросту замёрзнет.

Тогда у доброго Петровича возник план сколотить из досок небольшой домик, утеплить и укрепить его на раскидистых ветвях старой липы.

Два дня Петрович, окружённый любопытными детьми и взрослыми, конструировал, выпиливал, сколачивал и, наконец, завершил свой «индивидуальный спецпроект». Домик получился очень уютный, с большим крыльцом-балконом, к которому были приделаны верхний ролик для верёвки, поднимающей еду, и круглая скоба, в которую вставлялась пластиковая посуда для воды. Кто-то, надеявшийся увидеть чуть ли не замок, назвал готовый домик «кошачьим скворечником», кто-то съязвил, что это конура для пекинеса. Но все понимали, что с подручными средствами замка не построишь. Да и нужен ли Ваське тот замок?

Чтобы люди знали, чьё это жильё, остроумный мастер прибил на домике семь букв, и получилось два маленьких, но всем понятных слова «Кот Вася».

Старая липа, с большим количеством толстых ответвлений, оказалась идеальным местом для обитания кота-отшельника. Он запросто мог гулять по раскидистым ветвям, поэтому среди них, в том месте, где он больше всего обретался, и установили, надёжно прикрепив к стволу, дом Васи.

Да, а почему не Васьки, а Васи?

После того, как приبلудный кот Васька показал характер и выразил протест по-своему, да к тому же таким необычным образом, многие стали звать кота Васей. Всё-таки «Вася» звучало не так, как «Васька», а почтительнее. Как бы имя и отчество. Послушайте только — «Кот Вася»... И впрямь, звучит уважительно.

Пока устанавливали необычный домик, собралось много народа. Смотрели и переживали даже те, для кого кот и кошка на улице — обычное явление. Но кот, живущий исключительно на дереве, которому одесситы создают все условия для существования — это уже интересно.

Особенно понравилась людям, глазевшим на завершение кошачьего благоустройства, душещипательная история кота Васи. Мол, жил приبلудившийся кот отшельником, в старых коробках возле заколоченного ларька. Потом его коробку с кучей других ящиков вывезли по распоряжению какой-то комиссии. Вася обиделся на всех, залез на дерево и решил вниз к людям больше не спускаться. Многие были солидарны с пострадавшим котом, на себе испытав боль несправедливости. Кто-то интересовался, как кота будут кормить и поить. Не будешь же каждый раз приносить лестницу?

Петрович решил эту задачу по-одесски, с помощью верёвки и роликов, которые используют для сушки белья между балконами в старых городских дворах. Он прицепил свежую тюльку деревянной прищепкой и потянул за другой конец верёвки. Это походило на подъём флага на линейке в пионерском лагере или на корабле. Проголодавшийся кот осторожно спустился на гладкую крышу домика, а с неё — на деревянную площадку, напоминающую капитанский мостик, где по ролику двигалась веревка. Как только прищепка, удерживающая тюльку, достигла верхнего ролика, Вася передними лапами подтянул её к себе на балкончик и быстро съел. Петрович ещё несколько тюлек отправил Васе таким же способом. С помощью складного удилища, которое Петрович принёс с собой в качестве вспомогательного подъёмника, он довольно быстро мог бы положить под нос Васе кулёк с рыбой. Но вокруг дерева собралось много зрителей, обнаруживших в Одессе ещё одну интересную достопримечательность, и Петрович специально растягивал процесс кормления. В такие минуты ему нравилось развлекать ни к чему не обязывающих, но довольных зрителей.

Используя в полной мере свой мини-подъёмник, Петрович собрал бамбуковое удилище и, прикрепив на конец пластмассовую баночку, наполнил Васину посуду водой. Собравшиеся тут же начали давать советы. Один мужчина сказал, что его жена работает медсестрой, и он может принести старые капельницы, из которых можно собрать водопровод: один конец шланга опустить в банку для воды, а через другой, нижний, с помощью ручной клизмы, подкачивать воду.

Кто-то из зевак заметил:

— Лукоморье... Только золотой цепи не хватает.

Другой ответил:

— Зато у кота есть дом. Нужна ли ему цепь? — все засмеялись.

Он и без цепи никуда уходить не собирается. Так с чьей-то лёгкой руки и закрепилось за Васиным деревом название — «Лукоморье».

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

СКОЛЬКО РАЗ ВХОДИЛ В РЕКУ ГЕРАКЛИТ?

«Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Признайтесь – вас, как и меня, всегда раздражала эта фраза. Раздражала очевидной абсурдностью, претендующей на глубокомыслие. Возьмём, например, ближайшую ко мне реку – Днестр. Сколько раз я купался в нём, выходил и вновь заходил – он оставался всё тем же Днестром. Как-то давно, когда мне было шесть лет, мы с дедушкой поймали там огромного карпа – килограммов пять живого веса. Уверен, что карп не имел ни малейшего представления о нестабильности обстановки, в которой живёт.

Конечно, всегда были и будут те, кто искал и даже находил глубокий смысл в этих словах Гераклита. Ну не мог же великий философ написать нелепицу, – рассуждают они. Это же очевидно – всё течёт и изменяется, и река успевает стать другой, пока мы вытремся полотенцем и отдохнём перед вторым заходом. Для подтверждения своей позиции такие «адвокаты» Гераклита приводят слова его лучшего ученика – Кратила, известного нам по одному из диалогов Платона. Кратил пошёл дальше своего учителя и утверждал, что даже один раз нельзя войти в одну реку – мол, не только река, но и входящий так быстро меняется, что входит в реку один человек, а выходит совсем другой. А вообще Кратил предпочитал не говорить, а мычать и размахивать руками, показывая тем самым, что мир ежесекундно меняется и любые его описания и определения будут ложными.

Пытался убедить себя во всём этом и я, но безуспешно. Фраза продолжала раздражать. Как сейчас понятно, неспроста. Гераклита за сложность и таинственность высказываний называли «Тёмным». А как тут не будешь «тёмным», когда выводы о твоём учении делаются на основании обрывков информации – ведь до нас дошла только треть его трудов! Последние сенсационные находки греческих археологов, среди которых – недостающие фрагменты рукописей Гераклита, – позволили пролить свет (хотя как свет вообще можно пролить?) на самые загадочные его высказывания. В том числе, и на это, знаменитое, про реку.

На самом деле было так. Древние греки, так же, как и современные мы, очень любили отдых на природе и часто устраивали пикники и пирушки в живописных местах. Что может быть лучше отдыха у реки? Тут и воду наберёшь, и игрой света на водной глади полюбишься, и освежишься после хорошей порции шашлыка. Вот и любитель пикников Гераклит, будучи философом во всех своих проявлениях, в своём трактате «О природе» даёт рекомендации о правильном поведении во время отдыха на этой самой природе. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку», – пишет он. «Перед вторым разом нужно как следует отдохнуть, выпить хорошего вина, закусить, спеть песню». А Кратил, его прилежный ученик, вообще считал, что даже первый раз следует окунаться только после приёма вовнутрь приличной порции мяса и вина. Теперь всё встало на свои места. И вот так же, как найденные в Иудейской пустыне Кумранские рукописи позволили заполнить белые пятна в истории течений иудаизма и во многом объяснили истоки возникновения христианства, так и находка не известных ранее трудов Гераклита позволила нам многое понять и переосмыслить в греческой философии. В той философии, без которой сейчас невозможно представить себе нашу цивилизацию.

ПИОНЕР – КОЛДУНЯТАМ ПРИМЕР

Недавние исследования показали, что в СССР именно пионерское движение было самым мистическим, а точнее, построенным по образу тайных орденов ведьм и колдунов. Именно у пионеров были слёты, напоминающие слёты ведьм – шабаши. Да и само слово «пионер» – не русское, взятое у капиталистов. При этом у коммунистов никаких слётов не было и в помине, были традиционные съезды. Негоже было коммунистам летать. А вот пионерам в самый раз. Одно время в закрытых кругах коммунистической элиты обсуждался вопрос о выдаче подготовленным в пионерских лагерях пионерам мётел, ведь на них гораздо легче добираться на пионерские слёты и выполнять разведывательные задания. У комсомола слёты практически отсутствовали – дело в том, что разработанные в советских секретных КБ мётлы могли поднять в воздух человека весом только до 46,5 кг. Первоначальная идея создания пионерского движения была совсем не такой, какую мы знали в послевоенные годы. Изначально пионерия создавалась, как элитная организация юных разведчиков и была скопирована со скаутского движения. «Scout» переводится с английского как «разведчик». В России скаутинг зарождается в 1909 году. Основатель российского (и далее советского) скаутского движения – полковник Олег Иванович Пантюхов (с 1919 года имевший титул «Старший Русский Скаут»). В августе 1914 года организуется «Общество содействия мальчикам-разведчикам» – «Русский скаут». Председателем общества стал вице-адмирал И. Ф. Бостром, вице-председателем – Пантюхов. С этого момента скаутинг в России начинает стремительно развиваться. К

осени 1917 года в стране насчитывалось 50 тысяч скаутов в 143 городах. После революции комсомол, видя в скаутах своих соперников, поначалу резко отрицательно относился ко всем этим формам, однако в начале 1922 года было принято решение о создании детской коммунистической организации, перенявшей ряд внешних форм скаутинга. Происходя от скаутского движения, пионерское движение отличалось от него по существенным аспектам: система носила всеохватывающий государственный характер и ставила своей целью идеологическую индоктринацию детей и их воспитание в качестве граждан, полностью преданных коммунистической партии и советскому государству. Тогда же родилась идея создания пионерских лагерей — организаций закрытого типа, в которых должны были готовить юных разведчиков для молодого социалистического государства. Заметьте, что ни октябрятских, ни комсомольских лагерей не существовало в природе. Одной из версий, объясняющих этот феномен, является как раз технологическая особенность метлы пионера-разведчика: октябрёнок ещё не годился для серьёзных заданий, а комсомольца метла уже не выдерживала. Позже идея подготовки элитного дивизиона разведчиков-диверсантов, которым было гораздо легче выполнять сложные задания в силу как раз своей молодости, не вызывающей подозрения у врагов, была выхолощена, как и почти все хорошие идеи в громоздком бюрократическом механизме большого советского дома престарелых. Поэтому по мере эволюции движения роль наследия скаутинга в нём падала (что хорошо прослеживается на эволюции пионерского лагеря от типа спортивно-туристического палаточного лагеря к типу санаторного комплекса). В первых пионерлагерях многие церемонии и ритуалы были скопированы с мистических, колдовских, что в те годы подавалось, как один из элементов подготовки и инструмент усиления влияния юных разведчиков на врага. Позже основные наработки из пионерских лагерей были использованы в организациях ГРУ и СМЕРШ, а сами материалы исчезли в архивах НКВД и по сей день не рассекречены.

ВСТРЕЧА ДВУХ ГЕНИЕВ

Встретились как-то в Одессе Исаак Эммануилович Бабель и Владимир Владимирович Маяковский. Сидят за столом, выпивают-закусывают-выпивают (помните классическое «товар-деньги-товар»?) и умные разговоры ведут. И вот спрашивает Исаак Эммануилович у Маяковского:

— Владимир Владимирович, скажи, ты хочешь войти в историю?

Маяковский отвечает:

— Войти хочу, а вот вляпаться — нет. Выкладывай, что ты задумал.

— Мы с тобой кто? Правильно, литераторы. А это что означает? Что, с одной стороны, наши произведения нас переживут, а с другой, никто не будет помнить, как мы выглядели.

— И что с того? — спросил В.В.

— А то, что в историю войдём не мы с тобой, а наши книги, а это совсем не одно и то же, — ответил мудрый Бабель.

Налили ещё по рюмке, тяжело выпили и замолчали. Маяковский взял рукой щепоть квашеной капусты, лежавшей в хрустальной вазе, посмотрел на Бабеля и тихо сказал:

— Ты же представитель древнейшего народа. Вы должны знать ответы на все вопросы. Неужели проколёшься на этом?

Глаза Бабеля лукаво блеснули из-под очков:

— Есть у меня одна мысль. Слушай внимательно. В историю войдут наши книги. Они будут переиздаваться вновь и вновь. А в книгах, кроме букв, что можно напечатать? Правильно, картинки. Иллюстрации. А в иллюстрациях герои наших книг должны быть похожи на нас. Портретно похожи, понимаешь?

Как же было не понять! Лицо Маяковского просветлело, как весеннее небо после грозы. Приятели продолжили разговор, но обсуждали уже другие темы — урожаем в Аргентине, наш ответ Чемберлену и многое другое. Потом разошлись, разъехались, разлетелись их судьбы и дороги. А в памяти обоих осталось самое главное. И вот уже в книгах Бабеля все герои, даже второстепенные, похожи на него самого: невысокие, пронзительные, в круглых очках. Всем иллюстраторам Исаак Эммануилович давал чёткие инструкции. Владимир Владимирович пошёл дальше — доверяя только себе, он научился рисовать и сам иллюстрировал свои произведения. Всем известны знаменитые «Окна РОСТА», но никто не задумывался о том, что и это тоже о нём, о Маяковском, который, как известно, был высокого роста. Не обошлось и без курьёзов. О разговоре двух гениев узнал третий — великий пролетарский писатель Алексей Максимович Горький. Он дружил с Бабелем и терпеть не мог Маяковского. И вот в очередном издании «Буревестника» читатели увидели забавные картинки — сам буревестник, усатый и в шляпе, в профиль очень походил на Алексея Максимовича. А вот глупый пингвин нарисован был очень высоким и почему-то в штанах, из которых выползло облако. Маяковский, увидев картинку, рассвирепел и пригрозил в кругу друзей надавать буревестнику по шляпе и сбрить усы. Леонид Гайдай использовал потом этот момент в «Бриллиантовой руке», изменив имя сбритшего усы персонажа.

А примирило всех время, этот великий уравнитель. А ещё — широкое распространение фотографии. И вот уже Бенья Крик похож на самого себя и без очков, а буревестник летает, как и положено, без усов, чтобы улучшить аэродинамические характеристики. И мы с вами можем каждый день увидеть Владимира Владимировича на одноимённой площади в Москве, а скоро сможем видеть и Исаака Эммануиловича на одноимённой площади в Одессе.

ФАБРИЦИО РЕСКА

перевод с итальянского Анны Стреминской

SMS ЭРМИТАЖ

По прошествии нескольких недель от конца короткого периода, проведённого между Санкт-Петербургом и Москвой, автор нашёл в разделе «Неотправленные сообщения» своего мобильного телефона серию разрозненных стихов, которые вернули его почти насильно в интимность атмосферы, в которой они были написаны. Это было что-то вроде стилизации под хайку, искажённой по метрике и композиции, диктуемых правилами поэтики; стихи, написанные с сокровенной искренностью и необходимой конкретностью, для того, чтобы их можно было послать как SMS тому, кто, находясь вдалеке, мог бы оценить моменты наибольшего напряжения, выраженного словами.

Эпизодичные этапы глубокого отшельничества – более духовного, чем физического – прожиты автором в городе Санкт-Петербург, под воздействием которого он подвергается в течение более чем двадцати лет резким изменениям, подобным ранам, нанесённым его памяти, которые находятся в состоянии постоянного заживления, но никогда полностью не затягиваются.

Стихи, естественно, никогда не были перечитаны и отправлены, остались сохранёнными в искусственной памяти мобильного, представляя собой архив чувств, никуда не исчезнувших, несмотря на постоянные новые посещения тех же самых мест, ещё более изолированные и одинокие, чем могли бы быть для Екатерины Великой её частные визиты в музей Эрмитаж; слова написаны – и чувствуется их вибрация – в горячем стремлении заключить в литературном синтезе ощущения куда более сильные, чем то, что стихи могут обычно содержать, но всегда находящиеся в последовательном симбиозе с самим городом, в созвучии с окружающим пейзажем в момент написания, на длине волны, исходящей от случайных встречных, одновременно являющихся ничего не подозревающими мишенями отдалённых замыслов автора.

*

Чай остывает в чашке как незаконченное стихотворение
Хаотичные игры ребёнка на тротуаре влажном
Глаза закрылись на лай собаки обращённый ко всему миру

*

Вопросы в отсутствии ответов
Пространство заключённое в объектив фотографа
Дальше работает Ничто

*

Неподвижное тело надгробие души
Блуждающая энергетическая пульсация
В бреющем полёте над миром рассеивает воспоминания

*

Монастыри населены суровыми душами
Молитвы как шаги по траве
За пожилыми монахами тянутся скорбные тени

*

Всё двоятся когда поднимается ветер
Плавающие образы небытия
Сплетения слов и купола золотые

*

Часы без времени
Истории текущей воды
Стихи написанные на снегу



*

Вчерашний мир движется за окном трамвая
 Пристальные взгляды на книги чья суть бесконечность
 Темнеющий лес как друг другу подобные песни

*

Отраженья дублируют город в огромных лужах
 Сиротливое солнце уносит в небо иллюзии архитектуры
 Шаги без следов во влажном полдне до самого края мира

*

Дыхание города запечатлевается в сознании
 Искорки света в сумерках глаз закрытых
 Дворцы как шкатулки с секретом бросают вызов изменениям

*

Капли дождя на подоконниках едва освещённых
 Угадываемые намеки прозрачной повседневности
 Летаргические цвета в ожидании новой весны

*

Слова доверены небу
 Река разлилась беспредельно
 Мысли и люди в молчании соприкоснулись

*

Вселенная где слово призывает поэзию
 Зодчие густых облаков утомлённых ветрами
 Родные братья глубоких вздохов

*

Поезд метро останавливается неожиданно
 Тусклый свет станции безлюдной и несуществующей
 Никто выходит медленно никто не заходит

*

Одинокая цыганка танцует на улице
 Отбивая ритм воображаемой музыки
 Яростны шаги её сквозь взгляды по кружащемуся миру

*

Здания нависающие словно тени
 Фрагменты холодных лиц как камни без бликов
 Высота и формы неестественны каблуков на асфальте

*

Басни бесполезные лишённые смысла и морали
 На цыпочках под тревожный ритм сердца
 Постепенно успокаивается прерывистое дыхание

*

Листья и фрагменты слов на воде
 Отсутствие радости и первобытный дым
 Цвета тёмные и вязкие ближайшей вселенной

*

Безумства неуловимой полной луны
 Семя памяти загнивает
 Автор стихов нацеленных в пустоту

*

Движущиеся лестницы сталкивают взгляды и незнакомые судьбы
 Женщины с сумками полными обрывков неба и читающие мужчины
 Разделённые как в глубинах так и в подъёмах вверх к части своего мира



*

Глаза погружены в пустоту на остановке троллейбуса задержанного роком
Красные семафоры мигающие как бесовские глаза в темноте
Тонкая магия расцветает на улице в улыбке ребенка

*

Редкий дождик омывает блуждающие лучи солнца
Золото отблесков в утренней серости становится формой и алхимией
Город ныряет в каналы в то время как река несёт в залив слёзы и улыбки

*

Ещё один момент что давит как палец на сердце
Серость чулок сандалий свитеров из синтетики косынок на головах
Мир провонявший старьём мощными автомобилями и отварной капустой

*

Дым сигареты искажает абрис лица
В парке предполагаемые родители шатаются от ветра
Обманчивая поступь времени которая съедает часы

*

Пыл бракосочетания пластиковая пробка от бутылки и поцелуёй
У невесты платье цвета облаков задевающих купола
Оплывшие свечи разрывают темноту в непрекращающейся молитве

*

Летящие чайки кричат в дождь над рекой
Толпа людей движется покорная и безразличная
Подземные поезда воспроизводят гулкий отзвук ада

*

Ноты профильтрованные сквозь влажные листья
Вариации далёких колоколов
С ветром смешался архив воспоминаний

*

Беспорядочные мысли гонятся за быстрыми шагами
Ветер с моря освобождает слёзы времени
Немые души обнаруживают своё присутствие на дороге

*

Отчётливое ощущение заброшенности как объятие
Вздохи желания и обрывки оставленной жизни
Серебристые города и леса как акробаты без сетки

*

Тусклые блики на берегу несолёного моря
Нежные улыбки скрыты от низких туч
Руки вне времени что ищут нежности

*

Флаг реет за пределами видимого неба
Иностранные языки перекрыты чуждым рокотом моторов
Рассеянные мысли от слов приветствия сказанных без направления

*

Дворцы перевернутые в каналах где вода течёт омывая тайны
История льда крови и слов памятников самим себе
Священные деньги что опустошают сердце в течениях оппортунизма

*

Сознание это гостиница для бесчисленных никогда не виданных персонажей
В театре сна сновидения охотники за историями
На улице лица ещё более невероятные чем в фантазиях снов



*

Полуулыбка на осунувшемся лице отражённом в витрине
Зимние дни в разгаре лета проходят в спешке
В мыслях каждое мгновение принадлежит прошлому

*

Новые слова на бумаге замаранной мыслями о прошлом
Новые мужчины и женщины с золотыми мыслями погружены в дела
Натянутые улыбки и пот в старых вагонах молчания

*

Лица пожилых женщин изнурённых опытом жизни
Лица кавказцев мелькающие в полутьме вокзалов
Поезда бегущие под строгими взглядами икон среди пустых бутылок

*

Скрежет железа усиливающийся во мраке и огни что уже погасли
Бесконечные колеи что увозят стихи фрагменты неожиданной жизни
Постройки с тусклыми огнями для молчаливых людей окраин

*

Застывшие обрывки полинявших образов
Люди не знающие что остановлены на фотографии
Пятна времени алчные как вампиры

*

Неуклюжая походка шествующего голубя
Отражения в зеркале размыты влажностью
Мы комики подражатели нам самим

*

Неправильная гармония обезумевших дуновений
Кроны танцуют с ветром около реки
Плагиат идей и желания перемен

*

Следы Царя как твёрдые вмятины на мостовой
Наполненные застоявшейся весенней водой
Призраки в полутьме спрашивают себя о причине

«ЛИТМУЗЕЙ»

«Я ЧАСТО ВСПОМИНАЮ ОСЕНЬ ЮГА...»

Рукописи И.А. Бунина в фондах Одесского литературного музея

Иван Алексеевич Бунин — известнейший русский прозаик и поэт, создатель замечательных образцов пейзажной, интимной и философской лирики, ярких реалистических произведений о русском крестьянстве. Его творчество является как бы мостом между классической литературой XIX века и литературой века XX.

Александр Твардовский писал, что «перо Бунина... — пример... благородной сжатости русского литературного письма, ясности и высокой простоты (чуждой мелкотравчатым ухищрениям формы ради самой формы)». Литературный дар Бунина он оценивал так: «Талант красивый, как матовое серебро».

Всю свою жизнь И.А. Бунин провёл в странствиях, не имея собственного пристанища. «Я чувствовал, что я чужой всем званиям и состояниям... Я жил, на всех и на всё смотря со стороны, до конца ни с кем не соединяясь... И по-прежнему дома не сиделось» (Собр. соч., т. 9, с. 352).

Внутреннее одиночество порождало желание куда-то уехать, прочь от всех, а может, и от себя. Наверное, именно этому свойству И.А. Бунина мы и обязаны тем, что он часто приезжал в наш город.

В фондах Одесского литературного музея хранятся три оригинальных письма И.А. Бунина, которые адресованы его друзьям-одесситам. Два из них написаны художнику П.А. Нилусу, одно — писателю А.М. Фёдорову. Одно из адресованных Нилусу — датировано 3 апреля (22 марта) 1913 г., написано на острове Капри и включает рукопись ранее не опубликованного стихотворения «Полюс». Второе — открытка, посланная П.А. Нилусу из порта Джибути, без указания года, датированная 4 марта (19 февраля).

Подарены рукописи нашему музею одесским меценатом, директором фирмы «Интерброкер», Виталием Александровичем Оплачко. По словам В.А. Оплачко, он приобрёл письма для Одесского литературного музея у одесского скульптора Владимира Дмитриевича Земского, который, в свою очередь, купил их в одном из одесских антикварных магазинов.

Третье письмо подарено музею СФК — Советским фондом культуры в 1990 г. Адресат его — Александр Митрофанович Фёдоров, одесский литератор и художник. Датировано оно 30 мая 1932 г., написано на обороте фотооткрытки, изображающей И.А. Бунина в г. Грасе (Франция).

Впервые И.А. Бунин приехал в Одессу 9 июня 1896 г., жил три дня на даче у своего приятеля — Фёдорова. Затем ежегодно, а то и два раза в год, Бунин приезжал в наш город. В Одессе он побывал более тридцати раз.

В следующий приезд в мае 1897 г. Иван Алексеевич жил у Фёдорова в Люстдорфе, познакомился с А.И. Куприным, жившим в то время у соседей Фёдорова по даче — Карышевых. Именно Бунин помог Куприну опубликовать несколько его ранних рассказов в одесских газетах.

Летом 1898 г. писатель вновь побывал в Одессе. Этот третий приезд стал одним из самых значительных для него. Бунин знакомится в Одессе с Николаем Петровичем Цакни, редактором газеты «Южное обозрение», часто бывает у него на даче и знакомится с дочерью Цакни — Анной. Иван Алексеевич влюбляется и вскоре делает Анне предложение. 23 сентября 1898 г. состоялась свадьба, и молодожены поселились в доме семьи Цакни на ул. Херсонской, 44 (ныне улица Пастера).

Счастье было недолгим, через полтора года, в 1900 г. брак распался. Через несколько месяцев после разрыва Анна родила сына Коло, который спустя четыре года умер от скарлатины.

Но были у Бунина и другие связи с Одессой — намного более прочные и счастливые, продлившиеся много лет. Это была дружба с одесскими художниками, членами «Товарищества южнорусских художников»: Петром Александровичем Нилусом, Евгением Иосифовичем Буковецким, Владимиром Павловичем Куровским и другими.

По четвергам художники собирались у Буковецкого. «Четвергом» называлось еженедельное собрание южнорусских художников, писателей, артистов... вообще людей, любящих искусство, весёлое времяпрепровождение, товарищеские пирушки. После обеда художники вынимали свои альбомы, писатели, поэты читали свои произведения, певцы пели, кто умел, играл на рояле...» (В.Н. Муромцева-Бунина, Беседы с памятью. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1960, кн. 60, стр. 172).

Особенно сблизился Иван Алексеевич с П.А. Нилусом, дружба с которым перешла в братские отношения и длилась долгие годы. Бунин, кроме душевных качеств, ценил в Нилусе талант художника, тонкое понимание природы, людей, особенно женщин — и всё уговаривал писать художественную прозу.

Пётр Александрович Нилус родился в 1869 г. в Одессе, где и жил до эмиграции в 1919 г. Эмигрировал

вместе с А.М. Фёдоровым сначала в Румынию, а затем в Болгарию, после добрался до Франции. Какое-то время художник жил в Париже в одном доме с И.А. Буниним, который позднее написал: «Наследие он оставил большое. . . Картины его находятся во многих и многих русских и европейских музеях и частных собраниях. . . Был он и талантливым беллетристом». Умер Нилус в 1943 г.

Первый рассказ Нилуса «Утро» был посвящен И.А. Бунину. В 1901 г. Нилус посвятил Бунину свою картину «Одиночество» — на фоне осеннего пейзажа изображена женщина, сидящая на берегу озера. По своему настроению эта картина очень созвучна лирике Бунина того времени — Нилусу посвящены стихи «Счастье» и «Одиночество».

В 1918 г. Нилус написал портрет И.А. Бунина (ныне хранится в музее Бунина в Орле). Дружба с Нилусом продолжалась всю жизнь. В эмиграции, общаясь с П.А. Нилусом, Бунин часто вспоминал Одессу и всех одесских друзей своей молодости.

Рассказ «Гали Ганская» — один из многих, вошедших в книгу «Тёмные аллеи» — история любви. Действие происходит в Одессе, герои встречаются на углу улиц Дерибасовской и Преображенской, на Соборной площади, в Отраде. Рассказ напоён весной, морем, одесским солнцем, и тем острее трагический финал — смерть Гали Ганской. В образе влюбленного молодого художника писатель использовал некоторые черты Петра Александровича Нилуса.

Нилус был и прототипом художника в рассказе Бунина «Сны Чанга». Да и чердак, на котором жил герой, списан с чердака особняка художника Буковецкого на улице Княжеской, 27. Там жил Нилус в 1918 г. В том же доме, в то же время жил и Бунин с женой В.Н. Муромцевой.

Нилус писал о своём друге так: «Знакомство с художниками развивает в нём чувство к цвету, к форме. . . Из писателя, употребившего две, три краски, почти без оттенков, образовывается замечательный колорист. . . Принципы живописи решительно прививаются им литературе. . . Без Одессы он был бы писателем другого оттенка, характера».

«Бунин, — писал П.А. Нилус, — отдавал друзьям весь свой смех, всю свою молодую радость. . .»

С художником Евгением Осиповичем Буковецким Бунин сблизился уже в 1898 г. Буковецкий, по словам В.Н. Муромцевой-Буниной, был «изысканный человек, умный, с большим вкусом, старался быть во всём изысканным». Одна из его работ была приобретена Третьяковской галереей. В музее И.С. Тургенева в Орле хранится портрет И.А. Бунина работы Е.О. Буковецкого.

Бывал Бунин и на «четвергах» художников, которые чаще всего происходили в доме Е.О. Буковецкого, где он читал свои и чужие произведения. Вообще, время проходило там оживлённо и весело. Дамы, как правило, не приглашались, исключение делалось лишь для приезжих.

Бунин был членом «Литературно-артистического общества», в котором неоднократно выступал с докладами и чтением своих произведений.

Ещё до разрыва с Анной Цакни писатель сотрудничал с одесской газетой «Южное обозрение», где редактором был его тесть — Н.П. Цакни. Он печатал здесь свои стихи, рассказы, литературно-критические заметки (например, о стихах А.М. Федорова. — 1899, № 728, 15 февраля и др.).

Революцию 1905 г. Бунин категорически не принял. Получив известие о всеобщей политической стачке, Иван Алексеевич вернулся в Одессу из Ялты. Позже Бунин напишет, что видел в Одессе «дьявольские вещи». «Одесский дневник» писателя заканчивается восклицанием «Русь! — Русь!».

После 1905 г. Бунин бывает в Одессе почти каждый год. Особенно следует отметить его приезды в 1910, 1911 и 1913 гг.

Зимой 1910 г. писатель работал в Одессе над повестью «Деревня», одним из лучших своих произведений. П.А. Нилус, прочитав рукопись, поместил о ней заметку в газете «Одесские новости» (1910, № 8064, 13 марта) «Новая повесть И.А. Бунина». Он писал, что вскоре в журнале «Современный мир» появится начало новой повести И.А. Бунина, и дал ей краткую характеристику.

В конце 1910 г. Бунин с женой отправились в дальнее плавание: в Египет, на Цейлон, в Сингапур, надеялись побывать в Японии. Проездом они были в Одессе. Корреспондент газеты «Одесские новости» спрашивал Бунина о Толстом, о «последних новостях и течениях в области литературы», и о предстоящей поездке («Одесские новости», 1910, № 8294, 15 дек.). 15 декабря Иван Алексеевич получил билеты на пароход «Владимир» и вместе с Верой Николаевной отплыл в тот же день в Константинополь.

Очевидно, именно к этому времени относится письмо Бунина, датированное не годом, а только числом «19 февраля/4 марта», адресатом которого является П.А. Нилус.

Вот текст письма: «Благополучно дошли до Джибути. Влажно и жарко было в меру. Пока весьма доволен. Послезавтра снимаемся — на Цейлон. Целую. И.Б. Вид голых людей производит довольно сильное впечатление».

В августе 1911 года Бунин жил в Одессе на Большом Фонтане на даче у Е. Буковецкого, где в то время жил и П. Нилус. Здесь Иван Алексеевич писал рассказ из крестьянской жизни «Сила» (датирован 16 августа). По соседству жил писатель Семен Юшкевич, приезжал иногда художник Леонид Пастернак.

29 февраля 1912 г., возвращаясь из заграничного путешествия, Бунин с женой прибыли в Одессу, остановились в «Лондонской» гостинице. На одном из четвергов писатель читал рассказ «Захар Воробьёв» и имел, как писали газеты, «шумный успех».

27 октября отмечалось 25-летие литературной деятельности И.А. Бунина. Он получил поздравление и из Одессы от членов художественных «четвергов».

В начале 1913 г. писатель снова отправляется в путешествие — едет с женой на остров Капри, затем в



Неаполь. Именно к этому времени относится письмо к Нилусу, датированное 22 марта 1913 г.:

«Дорогой, прости, не поверил твоей поездке в Транду. Шлю тебе всякую кляповинку и крепко целую, равно как и Евгения (Буковецкого – А.Б.). Послезавтра, надеюсь, уедем с острова в Неаполь. Там посмотрю – м.б., куда-нибудь пропадём на недельку, другую, а м.б. – прямо в Одессу. Твой И. Бунин. 3 апреля/22 марта 1913 г.»

На левой стороне страницы: «Писанные стихи сохрани – ещё не напечатаны».

На втором листе – стихотворение «Полюс»:

ПОЛЮС

*Свой дикий чум среди снегов и льда
Воздвигла смерть. Над чумом – ночь полгода.
И бледная Полярная Звезда
Горит недвижно в бездне небосвода.
Вглядись в гигантский призрак. Это – Смерть.
Она сидит близ чума, устремила
Холодный взор в полуночную твердь –
И навсегда звезда над ней застыла.*

И в конце приписка: «Это посылается, конечно, так, для прочтения. Прочти и брось. А то я написал да и испугался: а ну-ка он сдуру тиснет где-нибудь, хоть в этом самом журнале. Избави Бог, Пётр, – говорю серьёзно. (Ведь журнал-то мог возобновиться)».

Из интервью с Буниным в газете «Южная мысль»: «Вернувшийся только недавно с острова Капри известный поэт и писатель Ив. Бунин в восторге от дивной природы, от яркого солнца, напоминающего ему итальянское, от молодой зелени расцветающих деревьев, от чистоты и опрятности нашего вполне европейского города».

Весну и лето 1913 г. Бунин провёл в Одессе, на первое время остановился в «Лондонской» гостинице, а с 12-го мая Бунин и Вера Николаевна жили под Одессой на Большом Фонтане (дача Ковалевского).

14 мая 1913 г. Бунин писал брату Юлию: «Мы третий день на даче – у нас поразительно хорошо. Наняли повара с женой-горничной. Приезжай поскорей».

В этот период Иван Алексеевич начал работать над рассказом «Чаша жизни». 26 мая 1913 г. в газете «Русское слово» был напечатан отрывок, озаглавленный «Отец Кир». Завершён рассказ 2 сентября 1913 г. Занимался он и составлением книги новых рассказов. В письме Н.С. Клецову, заведующему «Книгоиздательством писателей», Бунин писал, что в неё войдут рассказы, написанные главным образом прошлой зимой на Капри.

25 мая в Одессу приехал Юлий Алексеевич. Братья отправились на две недели в плавание по Чёрному морю и Дунаю. По возвращении Бунин очень много работал. В сентябре он написал рассказ «Я всё молчу». Об этом В.Н. Муромцева-Бунина сообщила В.А. Телешовой 19 сентября 1913 г.: «Ян работает, написал два мрачных рассказа». Писатель прожил под Одессой почти весь сентябрь. В последних числах сентября он уехал с женой в Москву.

В мае 1914 г. Бунин поселился под Одессой на Большом Фонтане. Он занимался подготовкой своих произведений для полного собрания сочинений. Тогда же познакомился с протеже А. Фёдорова – юным Валентином Катаевым – который принес ему тетрадь со своими стихами. Позже Катаев называл Бунина своим учителем.

В июне писатель отправился с братом в поездку по городам Волги, а третьего июля уже был снова под Одессой, на Большом Фонтане. На Большом Фонтане Бунин провёл полтора месяца. В июле он написал «Святочный рассказ» (позже озаглавленный «Архивное дело»). В середине августа уехал с женой в Москву.

Зиму 1917-1918 гг. Бунин прожил в Москве, не понимая и не принимая того, что творилось вокруг него. Об этом свидетельствует дневник «Окаянные дни», который он вёл в это время и который продолжил писать в Одессе.

В письме к А. Бабореко В.Н. Муромцева-Бунина писала (письмо от 13 марта 1958 г.): «Сообщаю наши даты. Мы покинули Одессу в 1920 г. 26 января по старому стилю. А из Москвы мы выехали 21 мая 1918 г.

...Мы ехали в санитарном вагоне до Минска. От Минска в поезде до Гомеля. Там сели на пароход до Киева. В переполненном Киеве едва нашли пристанище. Одолевали Ивана Алексеевича поэты и писатели, так что из-за них пришлось бежать в Одессу. . . Сняли на лето дачу Шишкина за Большим Фонтаном, жили там до октября. Затем переселились в город, где нам сдал две очень хорошие комнаты в своем чудесном особняке Евгений Иосифович Буковецкий, художник.

Прожили мы там год и почти четыре месяца. Там же проживал и художник Петр Александрович Нилус, большой друг Ивана Алексеевича. Он тоже и писатель, очень оригинальный, таким может быть только художник, что особенно ценил Иван Алексеевич».

В Одессе Бунин заведовал литературным отделом газеты «Южная мысль». Часто встречался с Валентином Катаевым (Воспоминания об этих встречах – в «Траве забвения»).

4 апреля 1919 г. город заняла Красная армия. Иван Алексеевич, как писал В. Катаев «был уже настоль-

ко скомпрометирован своими контр-революционными взглядами, которых, кстати, не скрывал, то его могли без всяких разговоров расстрелять и наверное бы расстреляли, если бы не его одесский друг художник Нилус . . . если бы этот самый Нилус не проявил бешеной энергии — телеграфировал в Москву Луначарскому, чуть ли не на коленях умолял председателя Одесского ревкома, — то ещё неизвестно, чем бы кончилось дело. Так или иначе, Нилус получил специальную, так называемую «охранную грамоту» на жизнь, имущество и личную неприкосновенность академика Бунина, которую и приколотли кнопками к лаковой, богатой двери особняка на Княжеской улице».

В августе 1919 г. в город вошла Добровольческая армия. 26 января 1920 г. по старому стилю на французском пароходе «Спарта» Бунины отплыли в Константинополь — последние минуты на родине и плавание описаны в рассказе «Конец». Из Константинополя прибыли в Болгарию и Сербию, а в конце марта — в Париж.

В своём творчестве эмигрантского периода Бунин обратился в основном к лирическим воспоминаниям молодости. Всё настойчивей звучала в его произведениях тема смерти, выступающей разрешительницей всех противоречий в рассказах о роковой любви: «Митина любовь» (1925), «Дело корнета Елапина» (1927), цикл новелл «Тёмные аллеи» (1943). Самым значительным произведением, которое Бунин написал в эмиграции, был автобиографический роман «Жизнь Арсеньева» (1927-1933).

Заметное место в творчестве Бунина занимают воспоминания о Чехове и Толстом, которых он считал своими учителями. Первые заметки «Памяти Чехова» были опубликованы в 1904 г. в одной из книг горьковского товарищества «Знание». Льву Толстому Бунин посвятил литературно-философское исследование «Освобождение Толстого» (1917). Бунин продолжал писать о Толстом и в начале 30-х гг.

Летом 1931 г. Иван Алексеевич написал целую серию коротких рассказов, которые вошли в книгу «Божье древо».

К этому времени и относится третье письмо И.А. Бунина из фондов Одесского литературного музея. Адресовано письмо давнишнему одесскому другу Бунина — Александру Митрофановичу Фёдорову, датировано 30 мая 1932 г., написано на обороте фотооткрытки, изображающей И.А. Бунина в городе Грасе, где он в то время жил:

«Дорогой Митрофаныч, спасибо тебе за милое и нежное письмо. Ужасно жаль тебя и Л.К. (Лидия Карловна, первая жена А.М. Федорова — *А.Б.*) С радостью выслал бы тебе «Б. древо», да нет ни одного экземпляра, а выписать не могу — не на что. Не (неразб.) этому — 20 фр. для меня теперь порядочн. деньги. Целую тебя сердечно. Твой Ив. Б.».

До эмиграции А.М. Фёдоров был известным поэтом, прозаиком, драматургом, переводчиком. Автор более двух десятков книг, среди которых — романы, сборники стихов, переводы, пьесы, путевые записки. Его имя часто встречалось на страницах петербургских и московских периодических изданий, пьесы шли на сценах столичных театров.

Он регулярно печатался на страницах одесских газет и журналов. А.М. Фёдоров был членом Литературно-артистического общества и библиографического общества, преподавателем театральной студии В. Тезавровского. Круг его интересов широк и разнообразен — увлекаясь живописью, Фёдоров выставлял свои работы на выставках Южнорусских художников.

Родился А.М. Фёдоров 6 (18) июля 1868 г. в Саратове, обучался в реальном училище. Какое-то время выступал на сцене, много ездил, скитался по российской провинции.

В Одессу на постоянное место жительства Фёдоров переезжает в 1896 г. Трудно переоценить роль Александра Митрофановича во влиянии на одесскую культурную жизнь того времени. Точно отражают отношение к нему в Одессе слова К.И. Чуковского: «В Одессе его очень любили, там была у него приморская дача, в которой каждый столичный гость, принадлежавший к литературному или театральному цеху, находил радушный приём и пристанище».

Начиная с первого приезда в Одессу в 1896 г., Бунин часто гостит у Фёдорова, благодаря ему сближается с группой южнорусских художников.

Александр Митрофанович был шафером на свадьбе И.А. Бунина. По воспоминаниям В.Н. Муромцевой, и знакомство Бунина с Анной Цакни произошло благодаря Фёдорову: чета Цакни приехала в гости на его дачу. А вскоре Николай Цакни пригласил молодых писателей — Бунина и Фёдорова к себе на дачу, на 7-ю станцию Большого Фонтана, где Иван Алексеевич увидел красавицу-гречанку, дочь Цакни от первого брака.

Круг знакомых и друзей Фёдорова обширен, это буквально «вся Одесса»: писатели, художники, актёры и политические деятели. Его дом без сомнения был одним из самых заметных «культурных гнезд» города.

Но нужно сказать, что «дом Фёдорова» — это образ собирательный, по словам краеведа С.З. Лущика, «соединивший в себе много дач и квартир», «разбросанных вдоль одесского побережья от порта до Люстдорфа». В зимние месяцы Фёдоровы снимали квартиры в городе.

Первый собственный дом появился только в 1912 г. Жила семья в этом доме до 1919 г., до года эмиграции Александра Митрофановича в Румынию, а затем в Болгарию. В доме осталась жена Фёдорова — Лидия Карловна и жила в нем до 1937 г., вплоть до своего ареста и расстрела.

Двадцать девять лет жизни писателя связаны с Болгарией. В далёком прошлом оставались его дружба и переписка с А.П. Чеховым, товарищеские отношения с Куприным, Буниным, Катаевым. В Софию Александр Митрофанович приехал вместе со своим старым другом — П.А. Нилусом в канун нового,



1920 года. Один из ближайших друзей Фёдорова, болгарский писатель Стилиан Чилингиоров, писал о своих первых впечатлениях о русских эмигрантах: «Эти люди жили одним желанием — выговориться. Они думали, что в разговорах заглушат тоску по покинутой Родине, а в песнях утопят вздохи отчаяния. Море муки, горы скорби несли они в своих душах!».

В Софии писатель поселился на ул. Чепина 19, в квартире Невены Железовой, на которой впоследствии женился. Одно из стихотворений А.М. Фёдорова из архива, переданного в Одесский литературный музей дочерью Железовой — Лиляной Георгиевной Шульц, отражает горькие мысли поэта-эмигранта:

*«Не дай мне, Боже, догореть
Углём в золе.
Не дай мне, Боже, умереть
В чужой земле».*

Но жизнь распорядилась иначе, и А.М. Фёдорову было суждено умереть в чужой земле, в 1949 г.

Не случайно в начале своего письма Фёдорову от 30 мая 1932 г. Бунин пишет: «Ужасно жаль тебя и Л.К.», имея в виду эмиграцию и разлуку.

Что же касается сетований Бунина, что ему не на что выписать экземпляр своей книги, то этому имеется объяснение: живя в Грасе с мая 1925 г., Бунин с женой перебивались случайными заработками, случайными гонорарами. Впоследствии в число домочадцев вошли поэтесса Галина Кузнецова, прозаики Николай Рошин и Леонид Зуров, заработки которых были также непостоянны — чаще они просто жили за счёт хозяев.

В мае 1932 г. у Ивана Алексеевича обострились проблемы со здоровьем, открылись сильные кровотечения. 1 июля Вера Николаевна записала в дневник: «Мы стали очень мало есть». 15 июля в дневнике появилась следующая запись: «Две недели не записывала. Чувствовала себя дурно. Был вызван к Яну Маан (доктор) и заодно меня осмотрел. Оказывается, я очень истощена. Нельзя даже по саду вверх ходить. Ян уже больше трёх недель теряет кровь. Похудел, побледнел. Всё чаще приходит мысль, что без второй операции дело не обойдётся. Жаль его ужасно и страшно за него. . . Мне «детей» жаль. Им очень хочется куда-нибудь проехаться. Но они кротко проводят все дни за работой. . .».

Бунин в то время, несмотря на болезнь, очень много работает, дописывает пятую книгу автобиографической повести «Жизнь Арсеньева». Штудирует всю доступную литературу о Льве Николаевиче Толстом, делает выписки и наброски воспоминаний. Готовит своё собрание сочинений на 10-11 томов.

25 октября 1932 г. был получен чек за издание «Чаши жизни» и других рассказов на шведском языке. В ту осень Бунин работал как никогда много.

Через год, 10 ноября 1933 г., И.А. Бунин первым из русских писателей получит Нобелевскую премию в области литературы.

Анна Божко,

ведущий научный сотрудник Одесского литературного музея

ПОКАЯННЫЕ ДНИ очерк

Уже не только сами одесситы, но и, скажем так, мировая общественность — все привыкли к тому, что Одесса — город уникальный, заповедный. На сравнительно небольшой площади она хранит память об огромном количестве знаменитостей — исторических деятелей, писателей, поэтов, художников, учёных, артистов. . . В центре Одессы — везде — кто-то жил, останавливался, читал стихи, влюблялся, учился, работал, жульничал — список фамилий постоянно растёт. Быть может, именно потому, что в нашем городе таких прославленных мест не одно и не два (их счёт идёт на сотни), отношение к ним более чем пренебрежительное. По крайней мере, в последнее время. И если за разрушением памятников архитектуры и градостроительства следят не только разрушители, но и власти, то судьба памятников истории более незаметна и более грустна. Спасают мемориальные таблички, но есть они далеко не на всех фасадах. Не каждому дому выдана была охранная грамота в своё время, и сегодня некоторые из исторических мест невозможны. Небытие надвигается быстро. Сегодня угроза его нависла над внутриворонным флигелем по улице Пастера, 44, точнее над его останками.

Улицу Пастера, а до 1923 года — улицу Херсонскую, писатель Александр Бирштейн назвал улицей-городом: «На этой улице есть всё, что положено иметь большому городу. Смотрите: больницы и скорая помощь, библиотека, два театра, три — три! — вуза, две церкви, школа, конечно, а уж о такой мелочи, как аптеки да магазины, и говорить смешно». Связана улица Пастера и с именами двух Нобелевских лауреатов — Ильи Ильича Мечникова и Ивана Алексеевича Бунина.

Дом, в котором жил физиолог, сохранился. От дома, в котором жил писатель, остались стены, изрядно изъеденные пожаром — ни крыши, ни перекрытий. Он стоит во дворе дома по Пастера 44, обнесённый шатким забором с надписью «машины не ста. . .», в глаза не бросается. Потихоньку зарастает травой

и кустарником. Неприхотливые жители его — дворовые коты, пристально наблюдают со стен, что выше, за почитателями Ивана Бунина, забредающими время от времени во двор, осенённый тенью классика русской литературы.

История пребывания в этом доме Ивана Алексеевича по-южному быстротечна, и в обратной пропорциональности своей быстротечности трагична. Связана она с несчастливой любовью к дочери Н. П. Цакни, семья которого долгие годы жила на бывшей Херсонской улице, 44. Николай Петрович Цакни, грек по национальности, родился в 1851 году в Балаклаве. Будучи студентом Петровской земледельческой академии в Москве, он принимал участие в деятельности кружка чайковцев, занимался политической пропагандой, организацией кружков самообразования. Несколько раз его арестовывали, устанавливали за ним гласный надзор, и в конце концов выслали в Мезень, уездный город Архангельской губернии, в сорока пяти км. от Белого моря. Губительный климат места ссылки заставил Николая Цакни просить власти о переводе его в более благоприятную местность, но ходатайства остались без удовлетворения. На английском пароходе в 1878 году он бежал из Российской империи в Великобританию, потом жил в Париже. За границей Цакни публиковался в русских газетах и журналах, работал с народо-вольцами. Через три года после побега он решает отойти от революционных дел и вернуться на родину. Цакни получил разрешение вернуться в Россию и с 1888 года обосновался в Одессе, где стал редактором либеральной газеты «Южное обозрение». Иван Бунин в 1898-1899 гг. сотрудничал с «Южным обозрением», публиковал в газете стихи, очерки, рассказы. Познакомившись с дочерью Николая Петровича Цакни, молодой писатель тотчас же очаровался ею. Несмотря на разницу в возрасте (Бунин был старше Анны Николаевны на десять лет) и собственное шаткое материальное положение (сын разорившегося дворянина), Бунин попросил её руки. Венчание Ивана и Анны состоялось 23 сентября 1898 года в Сретенской церкви на Новом базаре. Молодожёны остались жить с родителями, в доме Цакни.

Семейная жизнь не сложилась. Осложненная ревностью, размолвками и недопониманием, обсуждалась она и сплетниками — ходили слухи, что Бунин женился, чтобы подправить своё материальное положение. К этому добавить можно и молодость Анны, её невнимание к делу мужа, равнодушное отношение к его писательскому труду, любовь к балам и танцам. Анна блистала, Бунин ревновал. Беременность жены не остановила окончательного разрыва, скорее приблизила его. В дневниковой записи 1899 года писатель отмечает: «Летом — в "Затишье" в имени Цакни. Разрыв. Уехал в Огневку. Вернулся осенью (кажется, через Николаев, в солнечное раннее утро). Род примирения. Солнечный день, мы с ней шли куда-то, она в сером платье. Её бедро». И уже через несколько месяцев, в записи 1900 года: «Зимой репетиции у Цакни "Жизни за царя". В январе её беременность. В начале марта полный разрыв, уехал в Москву». В августе Анна Николаевна родила сына Николая. Бунин виделся с ним редко, о чём впоследствии, перед смертью, очень сожалел. Мальчик не дожил до пяти лет. Смерть его поразила обоих родителей, но и Анна, и Иван Алексеевич отдельно друг от друга переживали своё горе.

Сегодня свидетель этой грустной истории — полностью почти уничтоженный дом. Всё, что связано с ним в жизни Бунина, мучительно, болезненно для писателя. Злой ли рок, судьба ли? Некая заданность, предопределенность, порог, через который надо перешагнуть, чтобы смочь преодолеть и другие — страшные, нечеловеческие — вехи собственной жизни? И можно ли сохранить место, где два года жил Иван Бунин? При этом неважно, счастливо жил или нет...

Несколько лет назад жильцы окружающих печальные развалины флигелей пытались бороться за останки бунинского дома. Писали письма, поднимали общественность. Ставился ребром вопрос — восстанавливать или перестраивать «графские развалины»? И, как часто бывает на славянской земле, поговорили и разошлись. Вопрос постоял-постоял и прилёг — как раз за забором с надписью «машины не ста...». За густой листвой человеческого отчаяния и общественного равнодушия. И лежит до сих пор, в ожидании покаянных дней, в ожидании того времени, когда нам всем станет нужно спасать, сохранять и беречь память о великих людях своей земли, о великой её истории...

Евгения Самойлова

И.А. БУНИН. «ИЗ "ВЕЛИКОГО ДУРМАНА"». ФРАГМЕНТ № 2: ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ТЕКСТ

Публикация А.В. Бакунцева

Лекция «Великий дурман» была прочитана И.А. Буниным дважды — 8 (21) сентября и 20 сентября (3 октября) 1919 г., в Большой химической аудитории Новороссийского университета (на ул. Херсонской, 27) в Одессе. Оба раза аудитория была переполнена. «Великий дурман» произвёл на слушателей ошеломительное впечатление.

По свидетельству В.Н. Муромцевой-Буниной, во время первого чтения писатель «так увлёкся, что забыл сделать перерыв, и так овладел вниманием публики, что 3 часа его слушали, и ни один слушатель не покинул зала. <...> Когда он кончил, то все встали и долго, стоя, хлопали ему. Все были очень взволнованы. <...> Многие, многие подходили и говорили какие-то слова...»¹. Особенно восхищался «Великим дурманом» византинист-искусствовед, академик Н.П. Кондаков, с которым спустя некоторое время Бунин начал редактировать газету «Южное слово», основанную в Одессе в августе 1919 г. Доброволь-



ческой армией². Своё восхищение бунинской лекцией Кондаков в разговоре с Муромцевой-Буниной выразил весьма экспрессивно: «Ив<ан> Ал<ексеевич> – выше всех писателей, сударыня, это такая смелость, это такая правда! Это замечательно! Это исторический день!»³

На втором чтении, как отметила в своём дневнике Муромцева-Бунина, «публики было ещё больше. Не все желающие попали. Слушали опять очень хорошо. Ян читал лучше, чем в прошлый раз, с большим подъёмом»⁴.

Не исключено, что уже в процессе работы над «Великим дурманом» Бунин намеревался не только публично прочесть, но и опубликовать его. Успех лекции только укрепил писателя в этом намерении, тем более что и общественность была морально готова к появлению печатной версии «Великого дурмана»⁵. Подготовка такой версии – в виде книги или брошюры – была поручена новообразованному одесскому издательству на паях «Русская культура». В анонсах, помещённых издательством в газетах «Южное слово» и «Единая Русь»⁶, бунинский «Великий дурман» стоял на первом месте среди книг, которые «Русская литература» намеревалась выпустить⁷. Однако дальше заявлений дело не пошло: по неизвестной причине «Великий дурман» так и не был издан⁸.

И всё же в печати бунинская лекция в конце концов появилась – правда, не целиком, а в виде небольшого цикла из четырёх статей – или, как тогда говорили, «фельетонов», – под общим заглавием «Из "Великого дурмана"». Эти «фельетоны», опубликованные в ноябре 1919 – январе 1920 гг. в газетах «Южное слово» и «Родное слово»⁹, на сегодня являются единственными авторизованными источниками текста бунинской лекции, рукопись которой бесследно исчезла¹⁰.

После 1920 г. фрагменты «Из "Великого дурмана"» не раз – как правило, по отдельности – перепечатывались в разных эмигрантских и отечественных (преимущественно постсоветских) периодических и книжных изданиях¹¹. Однако, как оказалось, в этих републикациях содержится целый ряд искажений – главным образом технического характера, вызванных ошибками наборщиков, переписчиков или публикаторов.

Больше всего в этом смысле пострадал второй по порядку обнаружения отрывок (или «фельетон»), напечатанный в № 82 «Южного слова» за 24 ноября (7 декабря) 1919 г. и начинающийся словами «Случилось то, чему нет имени на человеческом языке...». Уже при первой републикации этого фрагмента в 1920 г. в нью-йоркском сборнике «Скорбь земли родной» (вариант заглавия – «Скорбь земли русской») в его втором абзаце – видимо, по ошибке наборщика, – были выпущены: в одном месте – целая строка, в другом – ещё четыре слова (пропуски выделены полужирным шрифтом):

«Первого мая текущего года, в Москве, в так называемой "советской" России, достигшей к этому времени **зенита своей славы, вышла книга, эту славу как бы венчающая**, – первый номер "Коммунистического интернационала". На обложке красуется, конечно, обычный лубок – самым площадным образом наляпанный земной шар, весь опутанный железными цепями, и фигура яростно замахнувшегося на эти цепи молотом рабочего, конечно, голого, конечно, только в кожаном переднике, конечно, с геркулесовскими мускулами, – а в тексте можно прочесть, между прочим, во-первых, потрясающее по своему бесстыдству заявление Горького "пролетариату всего мира", что Россия "творит ныне великое, планетарное дело", а во-вторых, такие душу раздражающие своей грубостью строки<...>»¹².

Далее – опять же, по оплошности наборщика – в тексте републикации 1920 г. были переставлены местами строки из цитируемого Буниным стихотворения А. Мариенгофа «Днесь» (1918):

*Из опрокинутой лоханки, –
Как вода в бане,
Кровь, кровь хлещет*¹³, –

тогда как в первоисточнике значится:

*Кровь, кровь хлещет,
Как вода в бане
Из опрокинутой лоханки*¹⁴.

Видно, что Бунин изначально цитировал стихи Мариенгофа неточно¹⁵, и всё же его авторский «вариант» цитаты гораздо ближе к оригиналу, чем «вариант» в републикации 1920 г., которая стала основой для других, более поздних перепечаток.

В републикациях отрывков «Из "Великого дурмана"» есть и другие, менее значительные ошибки: кое-где неправильно расставлены знаки препинания, неверно написаны некоторые слова и т.п. Ясно, что оставлять эти тексты в их нынешнем состоянии нельзя, требуется серьёзная текстологическая работа, результатом которой должна стать новая републикация цикла «Из "Великого дурмана"», причём в том виде, в каком он был обнаружен при жизни автора (разумеется, с учётом современных норм орфографии).

Вниманию читателей рубрики «Окоём» мы предлагаем второй, наиболее пострадавший от искажений фрагмент «Из "Великого дурмана"» – в первоначальной, авторской редакции. Все текстовые искажения и пропуски в публикации устранены по умолчанию. Орфография изменена в соответствии с современными правилами русского правописания.

Автор публикации выражает признательность сотрудникам Одесской государственной научной библиотеки им. М. Горького за любезно предоставленную ему возможность работать с фондами Отдела рукописей и редких изданий.

¹ Устами Буниных: Дневники И.А. и В.Н. Буниных и другие архивные материалы. М., 2005. Т. 1. С. 258-259.

² После того, как в результате раскола внутри редакции «Южного слова» в октябре 1919 г. из газеты ушла часть её сотрудников во главе с академиком Д.Н. Овсяннико-Куликовским, формально новым главным редактором был назначен некто Н.К. Клименко (литературный псевдоним Иретов). Но фактически изданием руководили Бунин и Кондаков. С № 36 за 3 (16) октября 1919 г. «Южное слово» стало выходить с крупным подзаголовком: «При ближайшем участии академика И.А. Бунина и академика Н.П. Кондакова». Газета «Одесские новости» в одном из своих номеров в рубрике «Газетный день», которую вёл остроуслов-полюемист П.С. Юшкевич, напечатала очень едкую реплику под названием «Академическая газета»: «Выходящее при ближайшем участии двух академиков «Южн<ое> слово» приобрело такой академический и учёный характер, что к статьям его просто боязно подходить на близкое расстояние: не статьи, а какое-то сонное наваждение. И темы все животрепещущие: «Политика и культура», «Русская осень и крымская таможенная политика» и т.д. Чтоб ослабить крепость академического духа, газету разбавляют иногда водой лёгкого фельетона или беллетристики. Но это мало помогает делу. Газета скучна, ах, как скучна!» (Одесские новости. 1919. 18 окт. (1 нояб.). № 11032. С. 2).

³ Устами Буниных. С. 259.

⁴ Там же.

⁵ После первого чтения лекции одесский критик Б.С. Вальбе писал в «Одесском листке»: «Когда эта лекция будет напечатана, она вызовет большое «столкновение» мнений, как пресловутые «Вехи» и др. прокурорские книги» (Одесский листок. 1919. 12 (25) сент. № 115. С. 4).

⁶ См.: Южное слово. 1919. 27 сент. (10 окт.). № 31 С. 1; 28 сент. (11 окт.). № 32. С. 1; 3 (16) окт. № 36. С. 1; 4 (17) окт. № 37. С. 1; Единая Русь. 1919. 24 сент. (6 окт.). № 35. С. 1.

⁷ Наряду с «Великим дурманом» готовились к изданию ещё два сборника Бунина – прозы («Двадцать рассказов») и стихотворений «Великая Русь»). Однако их постигла та же участь.

⁸ Единственная гипотеза по поводу причин этого высказана в «Комментариях» к сборнику бунинской публицистики 1918-1953 гг.: «Вероятно, издание не осуществилось, так как вскоре Одесса была занята красными» (Морозов С.Н., Николаева Д.Д., Трубилова Е.М. Комментарий // Бунин И.А. Публицистика 1918-1953 годов. М., 2000. С. 484). Однако до окончательного захвата Одессы большевиками в начале февраля 1920 г. у издательства было три месяца на то, чтобы выпустить «Великий дурман», тем более что его объём, как полагает одесский историк-краевед Г.Д. Зленко, не превышал двух листов (см.: Из творчества И.А. Бунина эпохи гражданской войны // Филологические записки (Воронеж). 1995. Вып. 4. С. 24).

⁹ См.: Бунин Ив. Из «Великого дурмана» // Южное слово. 1919. 17 (30) нояб. № 76. С. 2; 24 нояб. (7 дек.). № 82. С. 2; 30 нояб. (13 дек.). № 88. С. 2-3; Родное слово. 1920. 17 (30) янв. № 5. С. 2. Газета «Родное слово» стала издаваться сразу после прекращения «Южного слова» в январе 1920 г.

¹⁰ Среди автографов писателя, находящихся как в отечественных, так и в зарубежных архивохранилищах, включая Русский архив Лидского университета, этой рукописи нет (см.: Морозов С.Н., Николаева Д.Д., Трубилова Е.М. Указ. соч. С. 484).

¹¹ См.: Скорьбь земли родной: Сборник статей 1919 г. Нью-Йорк, 1920. С. 44-50; Бунин И.А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М., 1990; Бунин И.А. Великий дурман: Из лекции, прочитанной в 1919 г. в Одессе // Лит. газ. 1991. 18 сент. С. 9; Бунин в «Южном слове» // Звезда. 1993. № 9. С. 131-136; Из творчества И.А. Бунина эпохи гражданской войны // Филологические записки (Воронеж). 1995. Вып. 4. С. 22-33; Бунин И.А. Великий дурман. С. 33-38; Бунин И.А. Публицистика 1918-1953 годов. М., 2000. С. 45-63; Бунин И.А. Собр. соч.: в 8 т. М., 2000. С. 358-363.

¹² Бунин И.А. Публицистика 1918-1953 годов. С. 50. Пропущенные места восстановлены по: Бунин Ив. Из «Великого дурмана» // Южное слово. 1919. 24 нояб. (7 дек.). № 82. С. 2.

¹³ Бунин И.А. Публицистика 1918-1953 годов. С. 51.

¹⁴ Бунин Ив. Из «Великого дурмана» // Южное слово. 1919. 24 нояб. (7 дек.). № 82. С. 2.

¹⁵ У Мариенгофа эти строки выглядят так: «Кровь, кровь, кровь в миру хлещет, // Как вода в бане // Из перевёрнутой разом лоханки, // Как из опрокинутой виночерпием // На пиру вина // Бочки» (цит. по: Морозов С.Н., Николаева Д.Д., Трубилова Е.М. Комментарий // Бунин И.А. Публицистика 1918-1953 годов. С. 485).

ИВАН БУНИН ИЗ «ВЕЛИКОГО ДУРМАНА»

...Случилось то, чему нет имени на человеческом языке, но что должно было случиться, повторилось уже не раз бывалое, только в небывалых ещё размерах.

Первого мая текущего года, в Москве, в так называемой «советской» России, достигшей к этому времени зенита своей славы, вышла книга, эту славу как бы венчающая, – первый номер «Коммунистического интернационала». На обложке красуется, конечно, обычный лубок – самым площадным образом наляпанный земной шар, весь опутанный железными цепями, и фигура яростно замахнувшегося на эти цепи молотом рабочего, конечно, голого, конечно, только в кожаном переднике, конечно, с геркулесовскими мускулами, – а в тексте можно прочесть, между прочим, во-первых, потрясающее по своему бесстыдству заявление Горького «пролетариату всего мира», что Россия «творит ныне великое, планетарное дело», а во-вторых, такие душу раздирающие своей грубостью строки:

– «Цари и попы, старые владыки Кремля, никогда, надо полагать, не предчувствовали, что в его се-



дых стенах соберутся представители самой революционной части современного человечества. И, однако, это случилось, крот истории недурно рыл под Кремлёвской стеной».

Строки эти принадлежат одному из главнейших представителей «рабоче-крестьянской власти», царствующей в Кремле, — о, Бог мой, эта власть — какая это стократная нелепость, какой архи-издевательский хохот над одурманенной, чёрту душу продавшей Россией! — строки эти принадлежат Троцкому и звучат, как видите, очень уверенно. Однако только в одном прав Троцкий: подлый зверь, слепой, но хитрый и когтистый крот в самом деле недурно рылся под Кремль, благо почва под ним ещё рыхлая, — в остальном Троцкий ошибается. Старые владыки Кремля, его законные хозяева, его кровные отцы и дети, строители и держатели русской земли, в гробах перевернулись бы, если бы слышали Троцкого и знали, что сделали над русской землёй его сообщники; несказанна была бы их боль при виде того, что совершается в стенах и за стенами Кремля, где по развесёлому восклицанию одного нынешнего московского поэта, —

*Кровь, кровь хлещет,
Как вода в бане
Из опрокинутой лоханки, —*

невывразимый ужас охватил бы этих царей и «попов» при виде того гигантского кровавого балагана, в который превращена Россия, но думаю всё-таки, что предчувствовать всяческие новые беды и позорища, которые ещё много раз могут поразить их несчастную родину, они не только могли, но и должны были. Они знали и помнили о страшных и многократно повторявшихся на Руси днях всяческих смут, усобиц, «свар», «нелепиц», когда, по слову летописца, — как будто о наших днях говорящего, — когда «земля сеялась и росла усобицами», когда «редко звучал голос земледельца, но часто каркали вороны, деля меж собою трупы, ибо сказал брат брату: это моё, а это моё же, а поганые со всех сторон приходили на них с победами, и стонал тугою Киев, а Чернигов напаясти. . .» Цари и «попы» многое могли предчувствовать, зная и помня летописи русской земли, зная переменчивое сердце и шаткий разум своего народа, его и слезливость и «свирепство», его необозримые степи, непроходимые леса, непролазные болота, его исторические судьбы, его соседей, «жадных, лукавых, немилостивых», и его «младость» перед ними, его всяческую глушь и дичь и его роковую особенность: крутами совершать своё движение вперёд, — знали, словом, всё то, от напасти чего всё-таки спасали его «цари и попы», подвижники и святители московские, радонежские, саровские, соловецкие, — всё то, что заставило Грозного воскликнуть: «аз есмь зверь, но над зверьми и царствую!» — всё то, что ещё слишком мало изменилось до наших дней, да и не могло измениться по щучьему велению при всех этих стенах, лесах, топях и за такой короткий срок, который насчитывается настоящей русской государственности.

«Цари и попы!» Вот мы так действительно не предчувствовали долженствующего случиться. А случился, опять случился именно тот Пушкинский бунт, «жестокий и бессмысленный», о котором только теперь вспомнили, повторилось уже бывалое, хотя многие и до сих пор ещё не понимают этого, сбитые с толку новым и вульгарно-нелепым словом «большевизм», мыслят совершившееся как что-то ещё невиданное, в прошлом имеющее только подобие, чувствуют его как нечто такое, что связано с изменяющейся будто бы мировой психикой, с движениями того самого европейского пролетариата, который несёт будто бы в мир новую прекрасную религию величайшей гуманности и в то же самое время требует «невмешательства» в непрерывное и гнуснейшее злодеяние, которое творится среди бела дня, в двадцатом веке, в христианской Европе.

История повторяется, но нигде, кажется, не повторяется она так, как у нас, и не Бог весть сколько оснований давала её азбука для розовых надежд. Но мы эту азбуку сознательно и бессознательно запомнили.

Один орловский мужик сказал мне два года тому назад удивительные слова:

— Мы, батюшка, не можем себе волю давать. Взять хоть меня такого-то. Ты не смотри, что я такой смиренный. Я хорош, добер, пока мне воли не дано. А то я первым разбойником, первым грабителем, первым вором, первым пьяницей окажусь. . .

Что это, как не первая страница нашей истории? «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. . . расташите нас, а то мы перегрызём друг другу горло. . . усмирите нас, — мы слишком жестоки при всём нашем прекраснодушии и малодушии. . . введите нас в оглобли сохи и принудьте нас пролагать борозды, ибо иначе наша богатейшая в мире земля зарастёт чертополохом, ибо мы зоологически ленивы при всей нашей зоологической трудоспособности. . . словом, придите и володейте нами: в нас всё зыбкость, всё чересполосица. . . мы и жадны — и нерадивы, способны и на прекрасное, на высокое — и на самое подлое, низменное, обладаем и дьявольской недоверчивостью — и можем быть опутаны нелепейшей, грубейшей ложью, заведены в какую угодно трясины с невероятной лёгкостью. . .». Вот наше начало, а дальше что? А дальше Васька Буслаев, горько на старости лет кающийся, что уж слишком было много смолodu «бито и граблено». . . А дальше «великие российские революции»: удельные вековые смуты, московские вековые смуты, лже-вожди, лже-цари из последних ярыг и бродяг, перед которыми при исступлённых криках радости и колокольных звонах окарачь ползали и над растерзанными трупами которых так исступлённо и гадко измывались потом. . . Дальше — несметные украинские побоища и зверства, кровавый хам Разин, которого буквально боготворили целые поколения русской интеллигенции,

страстно жаждавшей его второго пришествия, той заветной поры, «как проснётся народ...». Дальше, говорю, всё то же: шатание умов и сердец из стороны в сторону, саморазорение, самоистребление, разбои, пожарища, разливанное море разбитых кабаков, в зельи которых ошалевшие люди буквально тонули порой, «захлёбывались до смерти», а наутро — тяжкое похмелье и приступы лютой чувствительности, слёзы покаяния перед святынями, вчера поруганными, «поклонь» перед Красным Крыльцом отрубленными головами лже-царей и лже-атаманов, — помни, помни это, «самая революционная часть человечества», засевавшая в Кремль!

Вот невольно, только что пережив и ещё не изжив всё то, что творилось вчера и творится ещё и нынче на Украине, в колыбели славянской души, невольно вспоминаешь Хмельницкого и его сподвижников: что это было? А вот прочтите по складам: «Холопы собирались в шайки, дотла разрушали гнёзда и богатых и бедных, уничтожали целые селения, грабили, жгли, резали, надругались над убитыми и посаженными на кол, сдирали с живых кожу, распиливали их пополам, жарили на углях, обливали кипятком, самое же ужасное остервенение выказывали к иудеям: на свитках торы плясали и пили водку, вырывали у младенцев внутренности и, показывая кишки родителям, с хохотом спрашивали: "Жид, это трефное?" — Вот что было. Мы же сваливали все погромы только на царя, да на его «сатрапов и приспешников». А сам Хмельницкий? «Он то постился и молился, то без просыпу пил, то рыдал на колених перед образом, то пел думы собственного сочинения, то был очень слезлив, покорен, то вдруг делался дик и надмен...». А сколько раз менял он свои «ориентации», сколько раз нарушал клятвы и целования креста, с кем только не соединялся!

Вот Емелька и Стенька, мятежи которых, слава Богу, уже начали ставить в параллель с тем, что совершается, все ещё не осмеливаясь, однако, делать из этого должных выводов. Снова разверните и прочтите читанное в своё время, может быть, невнимательно: «Стенькин мятеж охватил всю Россию... поднялось всё язычество», — да, да, пусть не бахвалятся Троцкие и Горькие своей «красной» Башкирией, это «планетарное дело» уже было, было и до «третьего интернационала!» — «поднялись зыряне, мордва, чувашаи, черемисы, башкиры, которые резали и бунтовали, сами не зная, за что бунтуют они... По всему московскому государству, вплоть до Белого моря, шли "прелестные" письма Стеньки, в которых он заявлял, что "идёт истреблять бояр, дворян и приказных, всякое чиновничество и власть, учинить полное равенство"... Все взятые Стенькой города обращались в "казачество", всё имущество этих городов "дуванилось" между казаками Стеньки, а сам Стенька каждый день был пьян и обрекал на смерть всякого, кто имел несчастье не угодить "народу": "тех резали, тех топили, иным рубили руки и ноги, пуская потом ползти и истекать кровью, неистовствовали над девственницами, ели, подражая Стеньке, мясо в постные дни и силою принуждали к тому всех прочих..." А сам Стенька "был человек своенравный и непостоянный, то мрачный и суровый, то бешеный, некогда ходивший пешком на богомолье в далёкий Соловецкий монастырь, а потом отвергший посты, таинства, осквернявший церкви, убивавший собственноручно священников... Жестокий и кровожадный, он возненавидел законы, общество, религию, — всё, что стесняет личное побуждение... сострадание, честь, великодушие были незнакомы ему, мстью и завистью было проникнуто всё существо его..." А всё "воинство" Стеньки состояло из беглых, воров, лентяев, — всей той гольтыбы, которая называла себя казачеством, хотя природные казаки Дона не терпели их, называли их "казаками воровскими". И всей этой сволочи и черни, которую уловлял Стенька в свои сети посулами, он обещал во всём полнейшую волю и полное с собой равенство, а на деле забрал её всю в полную кабалу, в полное рабство: малейшееслушание наказывал смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним...». Бог мой, какое разительное сходство с теперешним разбоем, чинимым во имя будто бы «третьего интернационала», хотя, конечно, Стенькина власть была всё-таки в тысячу раз естественнее нынешней «рабоче-крестьянской власти», самой противоестественной и самой нелепой «нелепицы» русской истории, хотя, конечно, «правительство» Стеньки, — все эти Васька Ус, Фелька Шолудяк, Алешка Каторжный, — было всё-таки во сто раз лучше нынешнего «рабоче-крестьянского правительства», засевавшего в Кремль и в отель «Метрополь»!

Южное слово. 1919. 24 нояб. (7 дек.). № 82. С. 2.

Мы приводим и очерк Ивана Бунина, написанный за восемь месяцев до «Великого дурмана» — «Не могу говорить», опубликованный 2 апреля в газете «Наше слово». Через два дня Одессу заняли регулярные войска Красной армии.

ИВАН БУНИН НЕ МОГУ ГОВОРИТЬ

(«Наше слово», № 1, 2 апреля (20 марта) 1919 г.)

Нет слов, нет сил говорить.

Из великого старческого сердца, переполненного слезами перед жестокой необходимостью человеческого общежития, вырвался когда-то страстный крик, отозвавшийся в тысячах человеческих сердец: «Не могу молчать».

Да почит Оно в мире, рождённое старой Россией и не ведающее, что те, кого прочат в строители России новой, с хохотом, шёлкая подсолнухами, гадят на его священную могилу! Да почит, избавленное Богом от ужаса и ветхозаветной мерзости наших дней, когда, мнится, окаменели бы уста самого Исаяи,



самого Иова!

Теперь из этого сердца мог бы вырваться только стон:
– Не могу говорить!

Ибо воистину возвратился мир на стези древние, какими бы новыми именами не называли их, сколько бы ни бредило о них современное упомянутое, как о новой эре в истории человечества, – возвратился почти на три тысячи лет назад, когда йота на йоту было так – точно о нашем сегодняшнем дне:

*Возьмёт Господь у вас
Всю вашу мощь, – отнимет трость и посох,
Питьё и хлеб, пророка и судью,
Вельможу и советника, вождя
И воина, провидцев и мудрейших,
И брат зарежет брата, и народы
Восстанут друг на друга, дабы каждый
Был угнетаем ближним, и падёт
Сион во прах, зане язык его
И всякое деянье – срам и мерзость
Пред Господом, и выраженьё лиц
Свидетельствует против них, и смело,
Как некогда в Содоме, славят люди
Позор и грех.*

Ибо воистину страшная повесть Иова стала нашей повестью.

«Был некогда человек, сильный, богатый, счастливый, богобоязненный. Но истребил Сатана, с изволения Господня, всё его имущество и поразил его проказою от подошвы до темени. И взял человек черепицу, чтобы сколбить себя ею, и сел в пепел вне селения. И открыл уста свои, и проклял день свой: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано – зачался человек. Скажу Богу: «За что ты со мной борешься? За что гонишься, как лев, и нападаешь на меня и чудным являешься во сне? Но не ответит мне Бог!»»

– Да, так. Если продлится мой срок, может быть, душа моя, перегорев в этом злом огне, вновь взглянет с высоты на всё то земное, низкое и подлое, грязное и кровавое, чем так больно живу я теперь. Но пока я живу им, как страстно хочется порою проклясть день рождения своего.

Да – «вне селения», вне человеческого существования, на пепле пожарища, на гноище предградия, за пределом всего, чем дышал когда-то за стенами разрушенного и опоганенного Сиона. . . Какими словами и к кому взывать с этого гноища? К Небу, к Вечному? «Но не ответит мне Бог!» – К человеку, к ближнему? Но уж если что гибнет, исчезает с лица земли в наши дни, так это, прежде всего, вера в этого ближнего.

– Взывай к светлому будущему, – говорят своим пошлым и высокопарным языком те, у кого никогда нет настоящего, прошлое всегда «проклятое», а будущее – всегда «светлое».

Знаю, знаю: их легион теперь, устроителей Эдема на Земле, тунеедных и ледяных по отношению к живому человеку души, пламенно защищающих всех трудящихся и обременённых, бешено клянущих войны между народами и ещё бешенее призывающих к войнам между племенами и классами, вопиющих о лучезарной заре мира, когда этот мир так же далёк от свободы, братства и равенства, как Христос от гориллы. И они говорят давно готовое, привычное своим блудливым языком:

– Ты из-за деревьев не видишь леса. Будь жертвой за своего будущего потомка, верь в Сион грядущий.

Но зачем мне видеть лес, если я вижу на каждом суку этого леса удавленника. Кто уверит меня теперь, что этот будущий человечнее и лучше меня настоящего? Вот прошло тысячу, пятьсот лет, и было тысячу «великих революций» – разве не такой же зверь человек без узды, как прежде, разве не так же режет он носы и уши, сажает на кол, надругается над убиенными и замученными. Вот почти весь европейский мир вольно и невольно распалён этими новыми апостолами к лютости ненависти, к самым грубым вожделениям – ибо ведь дело-то идёт, в сущности, о самом грубом, самом материальном, не взирая на самые возвышенные лозунги! – и растёт человеческое племя среди хамства и варварства, голода и холода, мора и запустения, – кого, кроме кретина, выродка, может произвести на свет этот страшный или несчастный самец? А грядущий Сион? Бог мой, разве, повторяю, не к ветхозаветным дням возвратились мы, когда гибли величайшие царства земли, поражая народы мистическим ужасом, неотвратимостью рока, ненасытностью Иеговы? «И зарастали дворцы их колючими растениями, крапивою и репейником – твердьни их; и были они жилищем шакалов, пристанищем страусов; и звери пустыни встречались в них с дикими кошками, и демоны перекликались друг с другом. . .»

И наш Сион – что будет с ним? Может быть, уже навеки пал он, чтобы уже никогда не восстать из праха и унижения? «И пастухи со стадами приступят к нему, раскинут шатры вокруг него. . .». Где Китай, Византия, Рим, Турция, Персия?

Да, так. То, что творится в Европе и особенно в России, самой Россией и над нею, так чудовищно, так преступно, так гнусно и нагло, что слово совершенно бессильно выразить даже тысячную долю того,

что оно должно было бы выразить.

Это очень страшная потребность — крикнуть о невозможности молчать. Но во сто крат страшнее такое состояние, когда чувствуешь, что по-настоящему можно сказать только одно: «Не могу говорить!» — можешь только закрыть лицо, дабы не видели очи, и заткнуть уши, чтобы не слышали они.

... И всё же — как молчать! Жить всё равно надо, в подлинный камень всё равно не превратишься.

Всё же надо говорить — хоть через силу, хоть сквозь стиснутые от боли, отчаяния и негодования зубы, хоть что-нибудь, хотя бы вот об этой невозможности говорить, — если не об общем, не о мировом, то хоть о частном, о нашем, о России, о Москве, где бражничают Емельки и Гришки за своей кровавой пьяной трапезой.

Говорить для чужеземцев, слишком ещё мало знающих нас и волею судьбы призванных решать наши судьбы, — чтобы слышали они и мой голос, то, что я говорю, — я, Божией милостью не последний сын своей родины.

Говорить для будущего историка, чтобы смутить его и заставить нахмуриться, стать строже к своему труду, когда дойдут до него наши загробные голоса — славословия этим дням и моё проклятие им до скончания и по скончании их, равно как и тем, кто творит и кто приготавливал эти дни, а теперь тоже кланёт, забывая, что «не властен ударяющий в барабан удерживать грохот барабана».

Говорить для тех — да сохранит Господь их драгоценную жизнь! — что доброю волею идут умирать за нашу Москву, за нашу Россию.

В 1920 г. ученик Буннина по-революционному хлестко опишет историю создания этой статьи. Друг-художник, как сказано выше, — Петр Нилус, упоминается и охранная грамота. Спустя почти полвека Валентин Катаев найдет иные слова, другие краски для портрета своего учителя, и трагедия Буннина в «Траве забвения» не будет напоминать о злом старческом бессилии академика Шевелева.

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ ЗОЛОТОЕ ПЕРО из рассказа

[...] Одна за другой иностранные миссии покидали город.

Авторитета власти почти не существовало. Красные неуклонно смыкали кольцо вокруг города, и с каждым днём это кольцо всё больше и больше походило на петлю.

А золотое перо академика все так же экономно укладывало отшлифованные строки, в которых говорилось о кончине старого князя, и старческие локти всё так же твёрдо лежали на письменном столе. Ничто не нарушало тишины в этом большом светлом кабинете с ярко начищенным паркетом, портретами в овальных рамах и хризантемами.

Только однажды тишина была потрясена звоном шпор и скрипом лаковых сапог, когда генерал Трегубов, решительно настаивая на необходимости аудиенции, вошёл в кабинет. Разговор продолжался пять минут. В коротких, энергичных словах обрисовав истинное положение дел и ещё раз подтвердив честным словом боевого генерала, что пока опасений за судьбу города нет, он лаконически и откровенно, с прелестной грубоватой простотой солдата, не раз глядевшего в глаза смерти, объявил, что авторитета власти не существует, но что и это можно было бы поправить в случае, если господин академик не откажет в любезности написать газетную статью. Конечно, он понимает, что высокое мастерство академика не должно опускаться до газетных статей, но, принимая во внимание, что жертвы требует оборона города, он надеется получить согласие господина Шевелева. Статья по возможности должна быть написана в самый короткий срок.

Косая резкая черта расколола лоб академика. Лицо стало тёмным. Он коротко и резко спросил:

— Если статья будет готова к одиннадцати часам завтрашнего утра, вас это устроит, генерал?

О, генерал не находил слов! Они крепко пожали друг другу руки, и больше увидеться им было не суждено.

Академик отложил в сторону рассказ об умирающем князе, запер дверь на ключ и не выходил из кабинета до утра. Всю ночь слова, пропитанные желчью и злостью, разгонисто, одно за другим, укладывались в косые строки. Зеленоватый табачный дым плотно стоял в комнате, и всё кругом было усеяно пеплом и окурками. Утром статья была отослана в типографию и набрана, и академик мог вернуться к умирающему князю. Но вид белой бумаги и письменного стола, возбуждавший его раньше к работе, теперь был невыносим. Мысли, потерявшие ясность и систему, срывались, и ещё более пожелтевшее, пергаментное лицо выглядело совсем старым. В этот день он писать не мог, а на другой день утром, когда газету с его статьей расклеивали на стенах и тумбах, послышались пушечные выстрелы. В предместьях стучал пулемёт. В порту дымили уходящие суда. Смятенные толпы растерянно заполняли площади и перекрёстки. Ординарцы на мохнатых лошадях, с сумками подъезжали к штабам. Телефонисты с удочками мотали провода. Шторы магазинов с грохотом падали. Канонада приближалась. Жена академика, сверкая испуганными голубыми глазами, беспомощно бросалась из комнаты в комнату, не зная, что предпринять. Каждую минуту звонил телефон — это взволнованные барышни путали номера.

— Георгий, это ужасно! Нам нужно уезжать! Что делать? Они убьют тебя!

Академик сидел в глубине дивана и, вцепившись костлявыми пальцами в колено, закусив губы, осу-



нувшийся и совсем старьёй, зло и отрывисто повторял:

— Как знаешь, я никуда не поеду. Пусть меня застрелят в этой комнате.

Несколько знакомых, взволнованных и испуганных, забежали на минуту попрощаться, наговорили много непонятного и исчезли. Опять позвонил телефон. Жена подбежала и сорвала трубку.

— Да, да, слушаю. Дома.

И ещё что-то быстро говорила, чего нельзя было понять.

— Георгий, кажется, всё устраивается. Говорит Кениг. Он предлагает ехать с ним в Париж. Есть каюты на пароходе. Даст сколько угодно денег. Ради бога, поговори.

— Кениг? — Дворянское лицо академика стало брезгливым. Опять резкая косая черта разделила его тёмный лоб. Желчь кипела в нём, но наружно он был спокоен. Лёгкой походкой, поскрипывая начищенными башмаками, отражаясь в паркете, он подошёл к трубке. — У телефона Шевелев. Я слушаю.

В середине, в глубине трубки завопились какие-то микроскопические звуки, похожие на шорохи и звуки граммофонной мембраны, когда иголку трогают пальцем. Чей-то отдалённый голосок торопливо и долго сыпал словами. Академик слушал внимательно, склонившись перед аппаратом, с вежливой и сухой улыбкой.

— Благодарю вас... К сожалению, из-за отсутствия денег я должен остаться. Что делать... Во всяком случае, очень вам благодарен. Нет. Я не могу изменить своего решения... Прощайте... Мне тоже очень жаль... Извините, пожалуйста... Тронут...

Он повесил трубку. Больше никто не приходил и никто не звонил. В доме было очень тихо, и стёкла тонко стрекотали от канонады. К обеду тоже никто не пришёл.

Пушечные выстрелы не прекращались. Теперь казалось, что они гремят внутри города. Сыпали пулеметы. Ревели пароходные гудки. Небо вспыхивало. Дымные голубые радиусы прожекторов описывали в черноте сияющие дуги. Току не было, и особняк тонул в темноте. А наутро всё было кончено. Поверх театральных афиш и газет расклеивались приказы Революционного комитета. Разъезды чубатых оборванцев в картузах, украшенных красными лоскутками, с лентами, вплетёнными в гривы и уздечки добрых жеребцов, торопились по улицам, покрытым настом битого стекла, закрученными петлями трамвайных проводов. Голубоглазые москвичи в жёлтых полушубках и папахах, постукивая по вымерзшим тротуарам прикладами винтовок всех армий, окружали подозрительные дома, из которых ловкие матросы в кожаных куртках выводили наскоро переодетых контрразведчиков.

Мальчишки уже бегали с красными флажками и пели «Интернационал».

«Всё кончено», — думал академик, сжимая костяными пальцами колено. Ему не хотелось ни бежать, ни скрываться. Его жена с распухшими, покрасневшими глазами стояла, упираясь плечом в стену, и смотрела в окно. Но на глухой аристократической улице было совершенно безлюдно.

Друг академика, хозяин дома, взволнованный и красный, с утра мотался по городу, прилагая все усилия, нажимая все пружины, чтобы спасти Шевелева. В три часа он, возбуждённый, возвратился домой, размахивая бумагой, полученной в Революционном комитете. Это была охранный грамота на жизнь, свободу и личное имущество академика.

— Ну, дружище, ты спасён, — сказал он, входя в комнату.

Шевелев раздражительно махнул рукой. Ему было слишком ясно, что пощады не будет, хотя бы его жизнь для европейской литературы была дороже тысячи других. Он был слишком уверен в дикой жестокости красных, чью ненависть к аристократам мерил собственной к ним ненавистью.

Тем не менее охранный грамота была придавлена кнопками ко входной двери.

И вот в начале улицы появился отряд.

Академик подошёл к окну. Он ясно видел этих весёлых оборванных солдат с красными бантами и кожаные куртки матросов. Звуки грубых башмаков по замёрзшему асфальту гулко и твёрдо отдавались в тонких голубоватых стёклах особняка. Отряд приближался. Матросы деловито читали номера домов, придерживая кожаные шнуры револьверов.

Шевелев подошёл к двери. Он сжал кулаки и с поднятой головой и сверкающими глазами, готовый перегрызть горло каждому, кто переступит порог его комнаты, ждал конца. Жена лежала без чувств. Грубые удары прикладов потрясли входную дверь. Послышались крики:

— Эй, кто там, отворите, не то... Отворяйте дверь!

Горничная с меловым лицом простучала по лестнице высокими французскими каблучками. За ней спешил трясующийся хозяин, застёгивая и расстёгивая артистическую вельветовую куртку. Как сквозь сон, академик слышал стук отпираемой двери. В передней топтались чужие. Он слышал взволнованный, пискливый голос художника и даже различал отдельные слова: «Мандат. Революционный комитет. Академик. Писатель». И потом ещё услышал слова, сказанные чьим-то московским весёлым говором: «А, да ну его к чертям. Слышь, ребята, академик. Не велено трогать. Пойдём, братва».

Дверь захлопнулась, и академик видел проходивших под окнами солдат. Они курили. И опять в доме сделалось тихо. Шевелев подошёл и сел на диван рядом с женой. Вместе со страшной усталостью сердце его наполняла непонятная горечь, как будто он только что возвратился с похорон очень близкого человека.

«ОКОЁМ»

В рубрике «Окоём» от номера к номеру редакция журнала предполагает печатать произведения победителей международных литературных конкурсов и фестивалей, здесь же будут публиковаться лауреаты литературных премий. В первом «Окоёме» – победители Второго Международного литературного конкурса «Согласование Вре́мён – 2010». В этом году места распределились следующим образом: в номинации «Проза» на первом месте рассказ Валерия Бочкова (Латвия – Вашингтон) «Брайтон Блюз», на втором – Карине Артюновой (Киев – Тель-Авив), на третьем – Романа Михеенкова (Смоленск – Москва); в номинации «Поэзия» первое место завоевала Светлана Галкина (Латвия – Москва), второе – Евгения Бильченко (Киев), третье – Евгения Баранова (Ялта). В шорт-лист конкурса вошли и стихотворения одеситки – Владиславы Ильинской, которые мы также публикуем в рубрике.

Конкурс «Согласование времён – 2010» завершён. Можно подводить итоги и закрывать прожитую страницу жизни.

Постепенно конкурс стал частью моей жизни и, наверное, поэтому для меня так дорого его развитие. В этом году на конкурсе всё обошлось без особых сбоев и проблем. За два месяца сбора заявок (подчеркиваю, что в отличие от большинства конкурсов, период сбора заявок на «Согласование времён» очень короткий) было получено 135 заявлений от поэтов и 112 от прозаиков. Так как автор мог выступать только в одной номинации, то общее количество участников составило 247 человек.

Не могу сказать, был ли состав авторов сильнее или слабее прошлогоднего. Для меня все авторы – это дети родные, и я пристрастна в этом плане. Всех искренне люблю и уважаю за то, что решились прийти на конкурс и доверили нам свои произведения. Надеюсь, что и судьи понимают, что без авторов не может существовать ни один конкурс. Но и без судей тоже.

Что говорить – огромное спасибо судьям за бескорыстное и честное служение конкурсу и, наверное, русской литературе. Ведь прочесть и оценить – это огромный труд, забирающий время судьи у семьи или его любимых занятий. И, всё-таки, все судьи конкурса исполнили свой долг и обязанности перед ним без заминков и причитаний о трудностях судейства.

Да, конечно, не всем пришлось по душе присланные произведения, но на конкурсе есть одно правило: судья – это лицо, неподвластное никакому давлению извне.

Хотя мне, как стороннему наблюдателю, было интересно видеть, насколько разнятся мнения судей при оценке произведений. А ведь судьи – не люди от сохи и знают толк в литературе. Именно поэтому я всегда говорю, что оценка судьи больше говорит о нём, чем о самом произведении.

Судейство проходило в три этапа. На первый поступали произведения, которые прошли предварительный отбор и были просеяны через сито «читальщиков». В этой роли выступают добровольцы-волонтеры, которые приходят на конкурс только по душевному велению и совершенно бескорыстно отдают свои нервы и время для выбора списка допущенных на конкурс.

Каждый раз это новая группа читателей, как и группа судей, которая формируется на каждый конкурс в новом составе. В судьи конкурса приглашаются литераторы, не облечённые званиями официальных авгуров, но это и лучше. Честнее и правильнее.

В судьи конкурса могут попасть авторы предыдущих конкурсов, люди, завоевавшие доверие организаторов своей литературной деятельностью, просто хорошие поэты и прозаики, а также те, кого рекомендовали руководители дружественных литературных порталов.

Итак, на первом этапе первая группа судей оценивает произведения, и по этим оценкам формируется лонг-лист конкурса. На втором этапе новая группа судей также оценивает авторов лонг-листа и формирует шорт-лист. Затем последний поступает на голосование объединённой коллегии судей, в которую входят судьи первых двух этапов и группа судей, которые вливаются в команду лишь на третьем этапе. Каждый из судей должен выбрать трёх победителей и проголосовать за них. Оценки на этом этапе уже не ставятся.

Но каждое место имеет свою оценку, и автор, набравший наибольшее количество призовых мест и баллов становится победителем конкурса в номинациях «Поэзия» и «Проза». Судейство анонимное и судьям не раскрываются имена авторов.

Все результаты конкурса освещаются на сайте конкурса «Согласование времён», где есть разделы текущего конкурса «Согласование времён – 2010», прошлогоднего – «Согласование времён – 2009», раз-



дела «Золотые авторы» конкурса и т.д.

В этом году в номинации «Поэзия» разрыв между победителями был достаточно велик, а вот в номинации «Проза» авторы просто «дышали» в затылок друг другу.

Что ещё можно сказать в заключение моего маленького обзора результатов?

Наверное то, что авторы конкурса 2010 года будут приглашены к участию в новой Антологии поэзии из библиотеки «Русского Автобана – 2010». Конечно, будут изданы сборники конкурса 2010 года, аналогичные сборникам «Поэзия 2009» и «Проза 2009».

В заключение можно сказать – конкурс 2010 года завершён, да здравствует новый конкурс «Согласование времён – 2011»!

Елена Рышкова,

координатор конкурса «Согласование времён»

СВЕТЛАНА ГАЛКИНА

Легче не будет, ты что, ты что. Здесь не бывает легче.
Зрение лучше, зато потом, вот – фонари, как свечи,
снег в волосах, на ресницах снег, разве не счастье, боже.
Мы обойдёмся без клятв навек и не навеки тоже.
Может, когда-нибудь повторим, станем ещё раз ближе.
Чувствуешь – стало болеть внутри? Значит, ты снова выжил.
Значит, держи меня на руках. Знаешь, давно когда-то
жил далеко-далеко в веках сказочный император,
в светлом заоблачном терему, в царстве хмельного лета.
Двух дочерей принесли ему боги огня и света.

Время проходит, шумит волна, ветер несёт удачу.
Младшая любит гулять одна, старшая чаще плачет.
Птицы из сада почти всегда к младшей садятся ближе.
Старшая дочка ворчит: ну да, всё достаётся рожим.

Праздники с вечера до утра – девочки любят танцы,
Старшая – платья и веера, маски и иностранцев.
Младшая – слушать обрывки фраз или смотреть на свечи.
Звали и замуж с десяток раз кряду за этот вечер,
Но, когда падает кто-то ниц, рыжая лишь смеётся.
Старшей сестре достаётся принц, младшей – цветы и солнце.
Время проходит. Вода бежит. Старшая плачет чаще.

Город вокруг начинает жить, тихий и настоящий.
Выйдем на улицу, в синий свет с искрами снежной пыли.
Видишь, над городом неба нет, видно, не заслужили.
Вон под гитару за грош поёт ангел, наверно, падший.
Знаешь, бывает, что нам везёт, так же, как этой, младшей:
с неба на нас не течёт вода, августом пахнет ветер –
люди тогда говорят: ну да, всё достаётся этим.

Сколько ни жалуйся, как ни вой, так же всё будет дальше:
Нам не достанется ничего, здесь ничего не наше.
Да, пусть под нами не треснет лёд – нам не откроют двери.
Нас ничего, ничего не ждёт, в этом мне можно верить.

Если к нам даже спешит гонец – только послать на пламя,
Нам не достанутся ни дворец, ни паруса с гербами,
Ни дармовой королевский пир, ни золотая дверца.
Только больной и безумный мир, бьющийся вместо сердца.



Я ловлю тебя ртом и глазами, ветер, мой морозный, прокуренный и сквозной.
Заходи в мою душу, побудешь третьим, молчаливым судьёй между ним и мной.
Заходи в мою комнату чайных ложек, нерассказанных страхов, прекрасных книг.
Заходи в мои мысли, и боже, боже, унеси наконец-то меня от них.

Знаешь, что я могу, что осталось в силе? Это будет не снег – тополиный пух.
Я нашла выключатель зимы и пыли, раздражённых соседей и злых старух.
И огньне ничто – месяца и числа, я вольна, я меняю и я творю.
Всё, что я говорю, не имеет смысла, но важнее: я всё-таки говорю.

Вот смотри: я всё время учусь отваге в этом мире, похожем на вечный тир,
и теперь я могу под любой присягой утверждать: это очень нечестный мир.
Ибо ты научился быть безупречным, ты умешь любому сказать «держись»,
чтоб потом обнаружить – ничто не вечно, и твердить этот чёртов урок всю жизнь.

И куда б ты ни шёл, о тебе ведь вспомнят и швырнут в эту правду, как на асфальт.
Привыкаешь к теплу полусветлых комнат – просыпайся на улице мордой в сталь.
Не останется запаха, цвета, звука, и не ходят часы, и уходит год.
А когда ты кого-то берёшь за руку, то на что ты надеешься, идиот?

И поэтому – будь для меня не ставшим, это будет попроще и без потерь.
Слышишь, время? и что? ну и что же дальше? ну и что ты отнимешь у нас теперь?
Сердце бьётся на паузы и на такты. Не смотри на меня, не смейся, не зли
и останься ненайденным артефактом где-то в спутанных травах чужой земли.

Это всё остаётся со мной навеки, что бы там ни решили на небесах.
Это наши с тобой города и реки. Это утро в метро, города в снегах.
Это имя твоё на пустом конверте. Это рваные ключья гадальных карт.
Я нашла выключатель зимы и смерти.
Распахнула все двери.
И грянул март.

ФЛЕЙТИСТ

Ты смеёшься, как бес, приручил свечу, научился спускать курок. Эти шрамы идут твоему плечу, как отметины ста дорог. Ты бежишь, как собака, вперёд и прочь (был бы кто-то, кто мог позвать!), но тебя обожает любая дочь и боится любая мать.

И, куда б ни пошёл, узнают давно залихватский бездомный свист.
Это всё так заманчиво, так смешно, но бессмысленно – да, флейтист?

А в садах её вечно лежит роса, и в чертогах её – хрусталь, она ходит по травам и небесам и рисует водой печаль. Ровен голос её и спокойен сон, и не рвётся послушный стих. Она знает сто тысяч чужих имён, но, конечно, не помнит, чьих. Нерушим и прекрасен её покой, пуст и светел уютный дом, словно боги создали её такой и оставили под стеклом.

Так куда тебе, смертный, её хватать? На неё и смотреть нельзя, разве что – издохматив морскую гладь и пустыни избороздя, чтобы там, где шагнул, колосилась рожь, чтоб был жемчуг в твоей сети. Только шёл бы ты лучше куда идёшь, не пытаясь её найти. Ты её не приманишь своей свечой и дешёвым своим вином.

В горле сухо, колюче и горячо, а вокруг, как всегда, Содом. И ты шепчешь сквозь дым и хмельной туман: может, я не настолько глуп, может, ей тоже хочется дальних стран, так, как мне – её глаз и губ? И я даже, наверное, буду жив, если пламя пройду и лёд, но мне точно не выжить, о ней забыв...

Только кто ж её разберёт?

И вот, в пьяном угаре, в слепой тоске ты вдруг флейту берёшь, как меч, и она поначалу дрожит в руке, но себя ведь нельзя беречь. И сначала ты трелью пронзаешь дым, а потом отступает явь. Всё становится сразу таким простым, и ты знаешь, что точно – прав. Будут ветры меняться, срывать дни, все забудут их звук и вкус. Но останется небо, огни, дожди и твой хриплый бездомный блюз. И никто не узнает потом, кому посвящаешь ты этот бой.

И однажды, пробившись сквозь пыль и тьму, ты увидишь её живой. И тогда ты узнаешь, как ты крылат, и насколько ничтожен страх.

У неё вдруг окажется грустный взгляд и загар на худых плечах, лебединая шея и тонкий нос, удивлённый изгиб бровей. Будет запах костра у её волос.



Глупый мальчик, беги за ней.
 От тебя до неё – бесконечный круг, как от марта до ноября.
 Но пока твои пальцы рождают звук, это значит, что всё не зря.

ЕВГЕНИЯ БИЛЬЧЕНКО

СКАЗКА О БОЛЬНИЦЕ

*Светлой памяти врача от Бога
 Анатолия Степановича Матвиенко*

Санитарка – лицо из воска.
 Медсестрички с глазами кукол...
 Из палаты мне виден воздух
 И церквушки больничной купол.

Здесь слова – тяжелей и ёмче:
 Выговаривать их – искусство.
 Ходит мама, сует бульончик:
 Я глотаю – и мне не вкусно.

Что мне ваши меридианы
 От Полтавы до Каролины? –
 Вьётся капельница лианой
 По артерии длинной-длинной...

Недвижим, как сапёр на mine,
 Пульс лежачего рок-н-ролла –
 Заколдованный алюминиевый
 Королевского димедрола.

А за окнами – жрут печенье.
 Все – здоровые, мать их, черти!
 Полночь. Приступ. Кровотечение.
 Холодок плоскогрудой смерти.

В коридоре – обнять хирурга
 И слезами его обхаркать...
 Он прекраснее Микки Рурка
 И могущественней Сиддхартхи.

Он напрягся и ждёт момента,
 Наготове держа лекарства, –
 Безнадежного хэппи-энда
 Этой старой звериной сказки...

Что предписано, то случится.
 Он провидец и знает чётко:
 Я – живучая, как волчица,
 И воскресну – ради волчонка.

ВЕСНА

Сад – старый, осенний, сильный –
 Отходит светло и чисто...

Мы тоже гибнем красиво
 В бомбёжке лучистых
 Листьев.
 Сад солнцем на сердце каплет
 И слушает птиц вполуха...

В готической шейке цапли –
Извечная нежность духа.

В подгнившей скамейке – детскость.
В гусиной ораве – тихость.
Сад – гений, и со злодейством
Всё это не совместимо!

Сорви покрывало майи:
Мне душно в застенках спален!
Мы умерли, обнимаясь...
В саду нас и закопали.

А после пройдут девчонки
И скажут: «Смотри, могилки!»

Сад – юный, весенний, звонкий...
Мы выжили.
Мы погибли.

ПИСЬМО К БРАТУ

Игорю Павлюку

«Нас мало!» – нас, может, двое...
Мы – сами себе одни.
Сидим и по-волчьи воем
На лампочки и огни.

А мимо проходят люди
Из офиса – и в пивбар...
О том, что он «хрен на блюде»,
Тоскливо мычит Макар...

И мы научились хавать
Ошмётки чужой трухи
И смачно, подробно хаять
Их премии и стихи.

Устала от игр, от ига,
От иволги на пруду...
Я даже не знаю, Игорьь,
Куда я теперь иду.

За ветром, грудным и голым,
Как батюшка-алкоголь, –
Каким-то другим моголам
Славянскую голь – и боль

Споить... От Москвы – до Львова:
По шпалам – земля без ног...

И грешное наше Слово,
Которое было Бог...

В ОСТРОГЕ

В провинции воздух чище.
Лес дулом прижат к виску.
Как ножик за голенище,
Упрячу за грудь тоску.



Укроется мамка-церковь
 За маковку-капошон.
 В душе, как в сыром райцентре, –
 Бездумно и хорошо.

Снуют, аки пчёлки, люди
 За хлебушком, на базар. . .
 И нет никаких прелюдий,
 И нет никаких гитар.

Ни дам и ни их камелий.
 Ни шавок. Ни бодхисатв.
 Даст Бог, что и я сумею.
 Талантливо.
 Не писать.

ЕВГЕНИЯ БАРАНОВА

НА СЕВЕР ОТ

Совсем ничего не знать
 (не знать никаких желаний).
 Отправиться на Юкон, в лососе искать икру.
 Встречается человек – приходит октябрь ранний.
 Прощается человек – и кажется, что умру.

На поезд, на самолёт – по локти, по плечи снега.
 Настолько святее дух – куда до него литься!
 Встречается человек – рождается ломтик неба.
 Прощается человек – и больно его прощать.
 И лучше совсем не знать,
 и лучше снаружи мёрзнуть,
 чем снова глядеть и злить, и краскою в полщеки.
 Встречается человек – как будто из пены создан.
 Прощается человек – и губы его легки.

МОЙ МОНОЛОГ

Но,
 дорогой мой,
 если не о любви,
 о чем же тогда прикажете говорить?
 От литра вина остаётся сухое «ви»,
 поскольку мы «но» умудрились уже допить.

И мне хорошо с вами жить полтора часа.
 В среднем выходит
 где-то
 неделю в год.
 За эту неделю
 вырастут небеса,
 а гордость,
 как и положено,
 заживёт.

Вырастет новая палуба – кораблю
 И сдастся кому-нибудь в руки щенок-Потсдам.

И мне всё равно,
потому что я вас — люблю,
И мне всё равно,
потому что я вас — предам.

И мне б не хотелось вас предавать,
но фронт
слишком запутался в сеточках стен и вен.

На этом прощаюсь.
Не забывайте зонг!
Ваша
-подруга
-знакомая
-девушка

Джен.

МУЖЧИНЕ

Ты видел Испанию.
Это, конечно, звонко.
Расскажешь при случае, как там проводят вечер.
А я не вернулась в землю,
не родила ребёнка,
да и живу не то чтобы безупречно,

скорее интуитивно, что так же плохо.
А ветер у нас в июле такой же рыжий.
Ещё мне кажется,
я потихоньку глохну.
Не слышу вопросов.
Или меня не слышат.

Всё так же путаю слоги.
И бедный Либкнехт
за сложность фамилии был бы давно повешен.
И если мой мир от чего-нибудь и погибнет,
то явно не от избытка любви, my precious.

Вот и брожу в интернетах, как хоббит вольный.
Печатаю тексты, не проверяю «мыло».
Ты видел Испанию...
Это совсем не больно.
Было когда-то больно, но я забыла.

ВЛАДИСЛАВА ИЛЬИНСКАЯ

рисуй меня, рисуй
по капельке, по слою
под соло кастаньет
оттачивай туше
рисуй меня, рисуй
растрёпанной, босою
рисуй меня такой,
чтоб жалко было жечь.
рисуй меня, рисуй
под жаркие те amo
упрямой и смешной
останусь на холсте



рисуй меня, рисуй
пускай сегодня рамой
окажется для нас
привычная постель

нет никакой гарантии, это опыт.
это — уникальный эксперимент.
вам отпускается время, оно же — топиг
в мутных своих глубинах. в один момент
ты превращаешься в точку небесной сферы,
ты превращаешься в пыль на краю земли,
когда твой внутренний доктор откроет двери
и скажет: простите, мы сделали что смогли.

новое утро стягивает одеяло, как будто скаल्प.
плещет тебе, ещё сонному, в лицо ледяной водой.
нужно подняться на ноги, нужно идти искать,
то, что и так всю жизнь волочитя за тобой.
и пока ты вот так вот гоняешься за хвостом,
наступаешь себе на горло, расплющивая кадык,
твой хранитель кладёт на коленку двойной листок
и старательным почерком записывает ходы.
и когда ты уже совсем собьёшься и с ног, и с сил,
и поймёшь, что по всем подсчётам прошёл лишь треть,
подойди к нему спящему и тихонечко попроси,
чтоб он дал тебе на своё творение посмотреть.
а когда ты начнешь возмущаться и возражать,
мол, куда подевался его знаменитый слог —
хорошенько задумайся и рискни ему доказать,
что твоя история интереснее, чем колобок

что толкнуло к охоте — не помню. таков рецидив,
что гоняет по засранным стройкам, ночным подворотням.
оказалось, достаточно просто себя убедить,
что на всё наплевать, что существенно только «сегодня».

бестолковый романтик — я красил улыбкой рот,
ни секунды не дрогнув, плясал на краю преисподней. . .
всё останется прежним, никто никуда не уйдёт,
ведь на всё наплевать, ведь существенно только «сегодня».

и под низким дурманящим небом, на стыке ветров,
и в изгибах мостов, и в плену бесконечного полдня —
заворожено слушал стеной нарастающий рёв —
здесь на всё наплевать, здесь существенно только «сегодня».

я был жалким бойцом. я не знал, что такое война,
но когда в голове назревала кровавая бойня,
я сжимал кулаки и сквозь битые зубы стонал,
что на всё наплевать, что существенно только «сегодня».

и когда, по прошествии долгих сегодняшних дней,
не нашёл за спиной ни любви, ни восторга, ни правды,
я остатками памяти вывел на первой стене,
что существенно всё — и вчера, и сегодня, и завтра.

ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ

БРАЙТОН БЛЮЗ

Агнесса Васильевна, крупная, костистая старуха с готическим затылком и тугим пучком на макушке, сошла с ума. Шестьдесят четыре — неуклюжая цифра, никакой тебе гармонии. Не то что, к примеру, шестьдесят шесть или шестьдесят девять. Даже шестьдесят три на худой конец. Эти — благородно симметричные, похожи на билибинский орнамент, радуют глаз округлостью форм и изящной приветливостью тягучих линий — чисто узоры! Агнессе Васильевне стукнуло шестьдесят четыре всего месяц назад, в сентябре. Хотя, если честно, после того, как она сошла с ума, возраст (как и прочие условные нелепости) перестал иметь какое бы то ни было значение. В категорию нелепостей попало почти всё, что называют неясным словом «жизнь». Почти — потому что вчера ещё оставалась одна зацепка, один, последний повод для беспокойства и переживания, единственная нить от неё к реальности. Сегодня порвалась и эта нить, лопнула, как перетянутая струна. Агнесса Васильевна с неспешной педантичностью перетягивала бечёвкой коробку из-под ботинок, обмотала ещё раз вдоль, перекрестье в центре, после поперёк. Прижав сухим пальцем узел, ловко смастерила бантик, расправила петельки. Чикнула ножницами лишние концы, строго оценила взглядом — порядок. Вот и порядок, — именно так и подумала Агнесса Васильевна, — ну вот и всё.

Поёжилась, вздохнула. Погладила глянцевоый бок чёрной коробки, — удачный цвет, вот ведь совпало как — подумала с рассеянной умильностью, — да, действительно удачно. Мыслей особых не было, было ощущение безнаказанности и свободы. Она накинула шерстяной платок мрачных тонов с кистями, мимоходом показав остренький язык мутному зеркалу в прихожей, прихватила палку и, бережно прижав коробку, пошла вниз на улицу. Грохнула дверь, день брызнул ослепительным светом, засиял разноцветным мусором мостовой: битое стекло и смятые жестянки из-под пива, пёстрые фантики. Жмурясь и моргая, тут же оступившись сослепу, грубо, по-мужски, ругнувшись вполголоса, Агнесса Васильевна добралась и уверенно зашагала в сторону набережной. В сторону конца света. Это и вправду был конец света. Не в смысле Апокалипсиса, нет, в географическом смысле. Край земли, конец суши, материка. Дальше, если, конечно, верить картам, на целое полушарие простиралась вода — Атлантический океан. Потом, где-то там, в немыслимо туманной дали, океан якобы утыкался в Европу. Но это лишь в том случае, если карты не врут. У Агнессы Васильевны недавно появились серьёзные сомнения на их счёт, но это тоже, скорее всего, не так важно. А что же важно? Важно: ну для начала хотя бы сегодняшняя зыбкость горизонтальных поверхностей, просто-таки возмутительная неустойчивость! — для неё как бывшего преподавателя начертательной геометрии это было почти личным оскорблением. Эпюр лимона, ортогональная проекция облака, сечение коробки из-под ботинок — сплошная аксонометрия! Да, испорченная голова валяла дурака, играла с Агнессой Васильевной в прятки — кто не ш-шпрятался, я не виноват, — шепеляво гундело в затылочной части испорченной головы и нежно позвякивало бубенцами. В то же самое время деревянный настил набережной норовил коварно качнуться и втихаря улпыть вбок.

— Ну-ну, — усмехалась Агнесса Васильевна, — знаю я ваши уловки, ну-ну... — и уверенно шагала параллельно океану, отбивая ритм палкой и инквизиторскими каблуками своих допотопных ботинок. Ботинкам этим было невозможное количество лет — шутка ли — прошлое тысячелетие! — они прибыли вместе с Агнессой Васильевной двадцать лет назад из почти мифической страны, чуть ли не Атлантиды (этой страны, кстати, тоже теперь нет на карте) и были приобретены через каких-то покойных ныне знакомых, приобретены с забавными хитростями, подробности коих забыты и утрачены теперь уже окончательно. Хотя, это, впрочем, неважно совсем. Набережная широкая, прохожих — раз-два и обчёлся, да и те плетутся едва передвигая ноги. Низкое солнце бесцеремонно режет глаза — чего уж теперь — всё, лето отгуляли, на носу зима. Тощие, длинные тени черны как креп. — А что это — креп? — мерно тукают каблуки, тут же острой синкопой вылетается клюка, усложняя ритмический рисунок, — Агнесса Васильевна улыбаясь, перемещается по набережной параллельно океану — слева пустынный пляж — скука и мусор, дальше вода и мутный прибой, ещё дальше — стёртый горизонт, нет, Европы не видать. Справа и вовсе тоска — унылые рестораны в тени навесов, кокетливые скатерти невозможных цветов, стайка сонно курящих официанток — белый верх, чёрный низ. Красный рот. Неожиданно для самой себя Агнесса Васильевна круто свернула и уселась за крайний столик. Резкая тень пролегла точно по диагонали ядовито-лимонной скатерти. Агнесса Васильевна поставила коробку в тень, откинула голову и зажмурилась.

— Покушать? — экономно поинтересовалась официантка с профессиональным безразличием.

— М-да-а, — задумчиво прошептала Агнесса Васильевна не разжимая губ, — да. — А после громко:

— И водки!

«Чего это я?» — испугом дёрнулась в мозгу мелкая мысль, слабая, явно из прошлой жизни. Сегодняшняя Агнесса Васильевна строго добавила:

— Графин! — и на всякий случай стукнула палкой в пол. Официантка Чёрный-верх-белый-низ вздрогнула и, взяв старуху в фокус старательно отретушированных глаз, выдохнула интимным контральто:

— Грамм сто — сто пятьдесят?



— Сто? Да, сто пятьдесят. Для начала. Да. И сарделек! Сардельки есть?

Агнесса Васильевна шуряя прямо в нахальное солнце — ему тоже было нечего терять, опустила ладонь на скатерть и осторожно вползла рукой в тень, коснувшись пальцами коробки, провела ногтем по бечёвке сверху, тронула безукоризненный бантик узла. Усмехнулась уголком тонких губ:

— И как это вся твоя жизнь уместилась в картонку из-под ботинок, а? Те проворные мысли, те сладкие слёзы счастья? Мечты? Она выпила рюмку водки задумчиво, мелкими глотками, как микстуру.

— Как же это всё нелепо, вот ведь недоразумение, — прошептала она, — и как же это всё нелепо сложилось... И что я такое? Я — просто древний ископаемый ящер, господи...

Агнесса Васильевна, древняя как ископаемый ящер, сильно зажмурилась: неожиданно остро ощутив шершавость плотной бумаги в детской руке, восторг ажурной вязи слова «приглашение», красиво нарисованный Кремль с красной звездой в ночи, лед мороз и тисненные золотом цифры «1955». Прошлый век. Но как же живо ощущение этой шершавой бумаги, живо в пальцах, живо в душе! Я и говорю — словно вчера... И вот уже ползёт из утренней кухни и растекается по сонным комнатам дух запечённого гуся, наливающегося сочной антоновкой. Новый год... Какой? А ведь шутка ли, только представить — никто тогда не знал, кто такой Гагарин и где притаился некий населённый пункт Чернобыль — как забавно? Агнесса Васильевна даже улыbnулась. Из небытия долетел всхлип пионерской трубы и мерное уханье умирающего марша, дальше эхо донесло «...ить, учиться, бороться как завеща...», а после — всё, конец, и лишь бегущие пятна солнечных бликов и липкая горечь отчаянно зелёных тополей апрельского Лефортова, Немецкое кладбище над Яузой, да исцелованные до немоты губы... Нет, погоди, что-то ещё, что-то в зеркале, может, глаза, чуть раскосые — по-лисы, зеленоватые, когда злилась, тёплая шелковистость шеи и наглая вера в личное бессмертие. Как детский сон на летней веранде, пленительно томный и сладкий до муки.

— Как же ускользнуло всё? И куда...

Агнесса Васильевна с сердечной истомой выплыла оттуда, из небытия, вяло подалась вперёд, вытянув по скатерти руки пустыми ладонями к небу, вздохнула:

— Вот ведь недоразумение.

Сардельки оказались восхитительными, чуть подкопчённые — с дымком, сочно трескались, весело брызжа во все стороны под ножом и вилкой. Они тоже явно получали неслыханное удовольствие от участия в обеде. Агнессе Васильевне жутко хотелось оставить церемонии и выпиться в сардельки зубами, да так, чтоб горячий сок тёк по подбородку и кистям рук, щекотно забираясь под манжеты и дальше до самых локтей. Но она продолжала кромсать их тупым мельхиором, усердно макала в злющую, до слёз, горчицу, заедая тушёной капустой и чёрным хлебом. Захмелев с непривычки быстро и основательно, Агнесса Васильевна разомлела, блаженно подставив улыбающееся лицо тёплым лучам. От водки пузырьки в голове оживились и теперь позванивали задорно и переливчато — как те лефортовские трамваи, что резво скользили тогда вдоль Яузы — вот ведь весёлый транспорт — ухочечешься! Она вспомнила, как однажды перед окнами её кабинета (кабинет № 17 — «Черчение и начертательная геометрия», — но это неважно, особенно номер), новенький, яркий, как желток, трамвай переехал какого-то бедолагу, пьянчужку, «зарезал» — как уточнил усадый майор-артиллерист из толпы, разглядывая стоптанный ботинок рядом с рельсом. Именно зарезал — очень верно подмечено. Разумеется, студенты тут же загалдели и сорвались, высыпали на улицу. Вышла и она. Была ранняя весна, один из этих пронзительных мартовских дней с нервно летящими облаками, когда вокруг так беспокойно и светло от журчания и искристого сиянья остатков таящего снега. Плюс воздух — безошибочно весенний, насквозь прошит птичьим щебетом и стеклянными лучами, и было совершенно непостижимо, как это можно умереть в такой восхитительный день, да ещё таким нелепым манером. А вот сейчас в хмельной истоме Агнессе Васильевне вдруг подумалось, что умирать лучше всего именно вот в такой день — звонкий и весёлый. Как тот далёкий мартовский. Или как сегодняшний — октябрьский. По гипотенузе от неё под лавкой, в полосатой фиолетовой тени дремал пегий пёс, накрыв мохнатую морду лапой. Агнесса Васильевна умилилась — под старость она стала так сентиментальна, что запросто могла пустить слезу от любой чепухи. Вот и сейчас в этом собачьем жесте ей почувдилось что-то шемящее, стариковское, человеческое, столь созвучное её собственной душевной тоске, с этим проклятым бездонным одиночеством, от которого и жить-то уже не хочется. Она заморгала влажными, сразу же покрасневшими глазами, слепая и вялая, выщедила остатки водки в рюмку, вздохнула и плавно выпила. Пегий пёс на самом деле не спал, даже не дремал. Из-под лапы он с интересом наблюдал за странной старухой с чёрной коробкой из-под ботинок. Ещё у старухи была палка, трость с костяным набалдашником. А за палками, — пегий это знал по опыту, — за палками нужен глаз да глаз. Человек с палкой — это тебе не человек без палки, совсем уже другой зверь. Кстати, палка (Агнесса Васильевна презрительно называла её — клюка) на самом деле была изыщной тростью с гладким костяным набалдашником, пожелтевшим от времени, прохладным и приятным на ощупь. Куплена была за сущие гроши на каком-то развале. Агнесса Васильевна, как и большинство старух, обожала рыгаться в бесполезном антикварном хламе. А позже открылась главная тайна «клюки» — внутри трости прятался кинжал, острый, как жало, узкий стальной клинок. У основания ручки была едва заметная кнопка, замыкавшая трость. А так — палка и палка, ничего особенного. Хотя именно эта вот старуха, даже с палкой, угрозы не представляла ни малейшей — это он нутром чуял. Напротив, от неё тянуло тоскливым одиночеством, горем и смертью. Ещё — пёс был почти уверен — в коробке у старухи была кошка — уж этот запах ни с чем не спутаешь. Пегий был прав — Зигфрид или просто Зиги, как Агнесса Васильевна его

обычно называла, умер вчера под вечер. Умер, можно сказать от старости, — почти девятнадцать лет — возраст для котов нешуточный. Печень была ни к чёрту, да и камни в почках, а причиной смерти стал банальный инфаркт. На ветеринаров у неё денег не было, и она уже несколько месяцев готовила себя к этому проклятому дню, повторяя как мантру: «Это кот, всего-навсего кот, кот и ничего больше». Ей даже показалось, что удалось-таки себя убедить.

У Когана, лысоватого мелкого мужичка, — таких непременно дразнят в школе коротким и метким словом «шкет», — настроение было отменное. Шикарное. Прямо с утра ему удалось провернуть лотерейку, его собственное изобретение, ничего мудрёного, но работает безотказно. Старичё нелепо суетилось, выигрывая копеечные призы, ставки-приманки; они толкались, отчаянно ругались и спорили, на какой номер ставить — и откуда у пенсионеров такая страсть к азартным играм? А когда через час санитар позвал их на обед, и дуралии с пустыми карманами побрели в свой приют, Коган, пересчитывая потные от чужих ладоней купюры, уже сворачивал своё казино-шапито, другие посетители парка его не интересовали. Адрес дома престарелых и день выплаты пенсии — для толкового человека это почище, чем Эльдorado. Час работы на свежем воздухе и полтыщи в кармане, а вы говорите — Клондайк! Удивительно, но Коган был русским, чистокровным уральским русаком, ну, может, чуть с татарщиной, как же без этого, и поэтому, когда заявлял, что еврейство не национальность, а состояние мятежной души, определённо знал, о чём толкует. Выехав по подложным документам и помыкавшись сперва в Ганновере — тогда немцы с неожиданным, но кратким радушием принимали русских евреев — после, к собственному удивлению, очутился в Хайфе — тамошний климат уж очень хорош (тем более, по сравнению с родным Челябинском — лучше и не вспоминать — дрянь, а не погода), отпустил кучерявую рыжую бороду лопатой. Однако уже через несколько лет, разочаровавшись в идеях пан-сионизма и его влиянии на парламентаризм, а главное, из-за угрозы неотвратимо надвигающегося конфликта с местным уголовным кодексом, плюнув на всё и чисто выбрившись, перебрался через Атлантику. Здесь климат — это, конечно, не средиземноморье, но уж и не Челябинск, слава те господи. Короче, жить можно. Особенно, если знаешь как. А уж насчёт «как» Коган был безусловным экспертом. Ну вот, к примеру — работа. К работе, как средству добывания денег, Коган относился с презрительным превосходством поэта-романтика, хотя ни поэтом, ни тем более романтиком никогда не являлся. Он обладал удивительным свойством, почти сверхъестественным даром выжимать деньги из всевозможных организаций, фондов и комитетов содействия, помощи и спасения. Причём, как правило, из нескольких одновременно. Исполнял он это с безукоризненностью виртуоза и усердием медицинской пивявки. Ещё Коган был совершенно уверен, что как никто другой умеет наслаждаться жизнью; умение это, отточенное с годами и доведённое до абсолюта к зрелой поре тихой старости, заменило ему убеждения и принципы и стало его нерушимым кредо. Вот и сейчас, когда по тускнеющему небу уже начали показывать не бог весть какой закат, неброский, пыльный — всё больше в лимонных тонах, Коган туманно улыбался и шурился, причмокивая, ловил на небе приятную горечь только что выпитого пива, своего пятичасового, предвечернего, с жареным соленоватым миндалём вприкуску, точнее — впригрызку. Ленивой, чуть развинченной (ему казалось — изящной) походкой, он спустился с дощатого настила набережной на пляж и направился в сторону океана. Песок был как соль, мелкий, грязновато-белый и лез в ботинки. Когана это не беспокоило вовсе, он с интересом рассматривал мусор, вынесенный океаном. Остановился понаблюдать, как суетливая пара чаек, на редкость неприятных вблизи птиц, вмиг растерзала замешкавшегося в полосе прибоя краба.

— Чисто сработано! — усмехнулся Коган, запустив в нервных чаек смятой жестянкой, — не зевай, морепродукт!

Посмеиваясь, побрёл дальше. Выбеленные, словно обсосанные палки, похожие на доисторические инструменты неясного назначения, пластиковые бутылки разного калибра, вонючие спутанные водоросли, ещё влажные и тёмные, как косы утопленниц — эту гадость Коган брезгливо обходил. Зато со смачным хрустом припечатывал к мокрому тугому песку мидий и мелких улиток. Ещё попалась одинокая туфля, замечательно гладкий камень с голубиное яйцо, чёрный с белым пояском, потом фуляр от очков. Коган покрутил его в руках и выкинул в воду. Чуть дальше, метрах в двадцати по берегу, на самой кромке тёмного сырого песка стояла старуха. Её нелепо мордатые башмаки на квадратных каблуках время от времени захлёстывало мелкой волной, пена суетливо шипела, как газировка, и стремительно убегала обратно. Старуха не обращала на это внимания и пристально вглядывалась вдаль. Коган тоже посмотрел, но там не было ничего, кроме воды и чуть порозовевшего неба с обрывками вялых облаков. «Чеканутая, — решил Коган, разглядывая старуху, — как есть, мозг набекрень». Вспомнилось вдруг, как пацаном возили его к бабке, там была Катька-дурочка, у которой дочь умерла, так она её выкопала и в сарае за огородами спрятала, нарядила, в косы ленты вплела, венки из васильков. Всей деревней после смотреть ходили, когда психовозка из района прикатила. Коган поморщился, сплюнул: «И чего дрянь всякая в голову лезет, вот ведь гнусь, прости господи». Он остановился — замер на полушаге, улыбнувшись, театрально кашлянул и произнёс неожиданным фальцетом:

— Здравсسه!

Старуха вздрогнула, повернула белое лицо. «Точно — шиза! И глазница бешеные, — весело подумал Коган, — ох и везёт же мне сегодня на старичё — сами на крючок насаживаются. Щас и эту вмиг отутюжим», — а сам тут же зачастил ласковой скороговоркой:

— Прогуливаюсь, видите ли, вечерний, так сказать, моцион, врачи советуют, да я и сам как-никак э-э-э доктор. Да-с! Психотерапевт. Вот ведь как.



Запнувшись на миг от неудержимости собственного вранья, он снова откашлялся и, мотнув головой, сказал:

— Сперанский. Доктор... Иван э-э Моисеч, — и, кокетливо шаркнув по песку, добавил, — честь имею, так сказать. Если можно так выразиться.

Старуха молча глядела на него. «Может, буйная? Ещё укусит. Чего у неё там в коробке-то?» — быстрые мысли сновали в голове у Когана.

— Обувь приобрели, я вижу? — кивнул на коробку, — дело хорошее, тем более распродажа. Я и сам уважаю — это ж какая экономия! До пятидесяти процентов! — Коган взмахнул рукой.

Глупые чайки, рассчитывая на поживу, метнулись к нему, ужасно галдя и хлопая розовыми от заката крыльями. «Как слабая марганцовка, — подумала Агнесса Васильевна совсем не к месту. — Розовые». Она внезапно увидела всё происходящее отчётливей, резче — словно пыльное окно протёрли. Крикливые птицы, забавный коротышка, — он сказал, что доктор? — а сам птицам кричит «кыш!» — разве ж птицам кричат «кыш»? Серый песок пляжа, разноцветные пятна ресторанных зонтиков по набережной, залитый сиреневым мраком силуэт домов и хилых деревьев — а за всей этой нелепостью — небо. Глубокое и бескрайнее — вот куда надо. Красно-оранжевый выдох его, как округлая басовая нота — звук уже умер, а эхо бесконечно перекачивается ворча и жалуясь.

— А я ноги вконец промочила, — рассеянно улыбаясь, проговорила Агнесса Васильевна, — насквозь. Вот ведь незадача. А в коробке, — она погладила крышку, — там не обувь.

Ей, в общем-то, было наплевать на промокшие ноги, причём тут ноги — она с удивлением ощутила странное желание, почти непреодолимую страсть высказаться напоследок, рассказать этому нелепому доктору про свою бессмысленную жизнь, про Зиги, о том, как звенят весёлые трамваи над Яузой, разрезая пополам зазевавшихся прохожих. Что ещё?

— ... самой себе доказывать тысячу раз, я и ехать-то не хотела. Уговорил, уломал, уволок! Я ж никакая и не еврейка даже, смешно сказать — дед немец — Краузе фамилия, а тут сплошной шолом. А ведь я вузовский преподаватель — ну да, а вы как думали, — начертательная геометрия, а здесь сижу на пособии, как ницца — нелепость какая! Живу на Третьем Лучевом, дыра жуткая, и соседи шашлык на балконе жарят — вонь вся ко мне, просто Зугиди, честное слово, дикари, но зато с кухни кусочек океана видно — промеж домов, а так — кирпичные стенки, сплошной кирпич, и ведь это каждый день! Вот я и спрашиваю — какой в этом смысл? Кирпичные стенки изо дня в день. Тут же какое терпение-то нужно, а? Да и того не хватит... А он меня бросил, через год как приехали, сказал — надо на Западное побережье перебраться, климат, пальмы, на разведку, говорит, поеду. Разведчик... Да мне это трын-трава, от вас, мужиков, проку всё одно — ноль, с глаз долой — из сердца вон, вот так вот, уважаемый доктор.

«Доктор» ухмылялся, жмурясь, потирал руки, изредка от удовольствия привставал на цыпочки. Он сочувственно кивал, покусывая нижнюю губу, чтоб не рассмеяться; старуха вошла в раж и представление было хоть куда. «А вдруг в коробке драгоценности, сложила и в ломбард тащит? — Когана даже пот прошиб от этой догадки. — Точно! Ох ты, господи бога твою мать, вот ведь фарт какой!»

— Носил тут один пирожные, — она хохотнула коротко и хрипло, — любовничек, ну да, ну да, из Житомира, начинал «будьте так любезны, если вас не затруднит», а после оказался мазохист. Представляете? Я его линейкой по заднице лушцую, аж до синяков — а он только рад, всё пирожные носит. Миндальные. А я обожаю миндальные, знаете, с такой хрустящей корочкой, рассыпчатые, во рту так и тают. Я ему говорю — Семён, ты что ж носки-то не снимаешь — а он, дурак, улыбается, весь излущованный, как тигр полосатый, а в Житомире секретарём каким-то был, по профсоюзной линии что-ли. Ну да вам, докторам, и не про такое доводилось слышать, я думаю, да... Уморительные случаи бывают...

Агнесса Васильевна будто выдохлась — последняя фраза растянулась и повисла, словно наконец-то размотавшаяся пружина.

— Рак лёгких, — устало и тихо произнесла она, — просто сторел за три месяца Семён — я редела, редела... Вы думаете по нему, по Семёну? По себе!

С набережной донеслось нетрезвое пение. Коган покашлял в кулак и фальшивым баритоном бодро спросил, про себя прикидывая, как бы завладеть коробкой:

— Обрисуйте вашу сексуальную жизнь на текущий момент. Как доктор, я постараюсь оказать посильную... э-э-э, советом и так сказать рекомендацией. Тут стесняться нечего — это мой долг, клятва Гиппократа и всё такое.

Он покрутил головой, осмотрелся. Безлюдно, на набережной пара пьяниц, да и те далеко, не увидят: «А что, дать по рогам и вся недолга, чего тут канитель разводите?»

До Агнессы Васильевны вдруг дошло, внезапно — как озарение: какой к чёрту доктор! Просто издевается мерзавец, вот ведь какая сволочь! Но даже и не это было важно (важно? — страшно!), а то, что она видела это лицо, видела раньше, видела там — на рельсах, серое с розовой пеной у рта. Редкие зубы и жуткие белые глаза. Как сказал тот военный? Резали! Неожиданное открытие обрадовало её — согласитесь, было бы странно ожидать от этого мира чего-то ещё — даже на прощанье — по крайней мере, теперь всё встало на свои места. Теперь всё логично: вот и шута подослали напоследок, под занавес! Липовый доктор продолжал скалиться, шурясь глазами и щеря мелкие зубы, но тут по его лицу пробежала лёгкая рябь, как по воде; Агнесса Васильевна догадалась, ага — те же глупые шутки — и не надоест им, вот ведь навязались на мою бедную голову! Рябь прошла сильной волной и по небу, вздыбила и пляж, и плоский городской пейзаж за ним: трубы и антенны выгнулись, чёртово колесо в парке сплющилось в

эллипс (проекция окружности под углом) — верхние кабинки, раскачиваясь, беспечно ловили оранжевый луч почти закатившегося за тёмно-лиловые дома солнца.

Агнессу Васильевну тоже качнуло — чёртов песок словно кто-то выдернул из под ног — чтобы не свалиться, она ступила назад и опёрлась на палку. Трость сочно вошла в мокрый песок. Агнесса Васильевна хотела остановить это всеобщее кружение, пытаясь сосредоточить взгляд хоть на чём-то устойчивом, не выгибающемся и не колеблющемся. Тщетно. Мерзкий доктор, приблизившись, протянул руку к коробке и скорчил рожу, чайки, хохоча, выделяли жуткие сальто-мортале, небо подёрнулось тонким узором мутной пелены — словно пеной, живые прозрачные пятна быстро побежали по воде к упругой и гибкой, как хлыст, линии горизонта.

Она закрыла глаза — там было не лучше: пьяная круговерть пёстрых цветов — маки и нарциссы, изредка васильки. «А ведь василёк, — в непонятном сентиментальном восторге подумала она, — ведь это же самый русский цветок!» Агнесса Васильевна глубоко вдохнула, задержала дыхание и вдруг ощутила внезапный прилив невероятной энергии — словно чугунные цепи пали. Тоска сладко наполнила её гибкое страстное тело, такое молодое и сильное. Обтянутые тугим чёрным бархатом бёдра — разворот — это уже почти танго! — острый змеиный взгляд. Жуткие глаза, прозрачные, зелёные, обведены чёрными линиями — декаданс, эстетическое кощунство, — Агнесса Васильевна, крепко сжав рукоять трости, нащупала кнопку и, выгнув талию, вонзила клинок в горло Когана. Коган выпучил глаза и застыл. Неудобительно охнув, он сделал шаг назад, оступился, и, вяло взмахнув руками, упал. Агнесса Васильевна повернулась на каблучках, усилием воли собрала воедино рассыпающийся пейзаж — очень мешали чайки. Небо к этому времени уже погасло и потемнело, включили и пробную звезду.

«Так, — подумала она, — похоже, что этот день всё-таки подошёл к концу». Агнесса Васильевна прижала к груди коробку и шагнула в воду. Мелкая волна робко облизнула ботинки, следующая, посмелей, проникла внутрь. «Это лишь сперва очень холодно, — успокаивала она себя, — после уже всё равно». Дно пологое, чуть волнистое, как стиральная доска, плавно уходило под уклон. Траурная скука платья, наливаясь океанской тяжестью, сначала тянула вниз, а когда вода дошла до подбородка, эта тяжесть вдруг исчезла и сменилась неторопливой плавностью. Будто во сне, когда всё так тягуче медленно и неспешно. Ей почудилось, что она растворяется, сама становится частью океана. Она хотела обернуться напоследок, но ей стало лень — чего она там не видела? Зажмурясь, она с головой погрузилась в воду. А когда вновь открыла глаза, уже под водой, то не увидела уже ничего — очевидно, кто-то, наблюдавший сверху за всем происходящим, закусав, выключил свет.

— Оно и понятно — скука, — усмехнулась Агнесса Васильевна, — кустарная мелодрама, драмкружок.

Однако, приглядевшись к тёмно-сизой толще воды, в мутной туманной глубине она различила округлые серые холмы и впадные долины, бескрайние донные ландшафты, по большей части мрачных изумрудных тонов, по которым беззвучно скользили гигантские тени, вероятно, левиафаны. Самих исполинов не было видно, но движение их мощных тел безошибочно угадывалось кожей, Агнесса Васильевна ощущала нежную вибрацию. Ища, чем бы занять себя, она слегка оттолкнулась — едва-едва и плавно поплыла. Слово «парить» само пришло на ум — она улыбнулась, — видать, понапрасну тревожилась, всё оказалось не так уж безнадежно. Одной рукой прижимая отяжелевшую коробку, другой она распустила пучок — волосы ленивыми волнами потекли назад. После она вытянула свободную руку, разрезав неповоротливую воду энергичным жестом ладони и словно указывая на восток, потекла в сторону предполагаемого восхода. Да, всё и вправду не так уж безнадежно.

На берегу поспешно темнело. Коган лежал навзничь на мокром песке. Лежал в полосе прибоя, широко раскинув удивлённые руки и подставив бледные ладони слабым, едва различимым, новорожденным звёздам. Солнце, скорее всего, уже зашло: здесь, на восточном побережье оно садится, увы, не в океан, — это вам не знаменитые калифорнийские закаты с неукротимой феерией сумасшедших цветов — от золотисто-лимонного до пурпурно-красавого. Нет, тут закат проще и скромней: солнце незаметливо заваливается за щербатый силуэт города: посиневшие дома, уныло утыканные антеннами, чахлые верхушки тополей, фонарные столбы — всё сливается воедино. Пепельно-розовое небо перечекивается провисшими проводами и слепым шумом от метания то ли летучих мышей, то ли вечерних ласточек. Ещё минута, другая — воздух уже свеж и чуть сыроват, сумерки выползают из густых теней и оседают, как тяжёлый дым. Небо неумолимо тускнеет, темнеет и умирает. Вот, собственно, и весь здешний закат.

Пегий пёс, пропетляв по одному лишь ему ведомому маршруту, пересёк пляж от дощатой набережной до океана и остановился у Когана. Пугливо и недоверчиво, с осторожностью бездомной собаки (разве ж можно кому-нибудь сегодня доверять?) обнюхал тело. Убедившись в относительной своей безопасности, забавно фыркнув или чихнув, пегий упёр передние лапы Когану в грудь, присел и замер. Не очень громко, словно пробуя голос, он заскулил. Звук получился неважный, больше похожий на скрип. Пёс ступевался и замолчал. После зевнул со вкусом, помотав мохнатой мордой, принялся разглядывать лиловое небо. Нашёл в верхнем правом углу молодой месяц, сосредоточился, завыл снова. На сей раз звук удался — задумчиво-протяжный вой тоскливо поплыл над чёрной водой в сторону уже едва различимого в сумерках горизонта — воображаемой линии, отделяющей небо от океана.



МЕРЧЕ (КАРИНЕ АРТЮНОВА)

СКРИПКА ГОТЛИБА

В «классах» его встречает десять пар детских глаз — чёрных, блестящих, либо похожих на воробьиное яйцо, в желтоватых пятнышках и потёках — господа, — откашливается Готтлиб, — «господа» что-то нестройно галдят в ответ, растирая ладони, — в классах нетоплено, и нежные детские руки стекленеют, покрываются болячками, — кто-то уже кашляет сухо, нехорошо, — ну, конечно, эти неженки, привыкшие к мамкиным бульонам, все эти Мотеле и Йоселе, — будущие гении, — мосье Готтлиб, — птичья лапка тянет его за рукав, — у мальчика извиняющаяся улыбка на смуглом лице, — кажется, его фамилия Шварцман или Шварц, — ну, как же может быть иначе, когда ассирийские черты из-под жёсткой чёлки, — мальчик из «пансионеров», — он спит на застланном сундуке, поджав к груди острые колени, а за обедом несмело протягивает руку за картофелиной. Похожий на серый обмылок картофель в мундире и селёдочный хвост — чем не обед для будущего гения? — будущий гений держится за живот и бежит во двор, — толстогубый Маневич залиvisto хохочет, но тут же умолкает от веского подзатыльника, — у мосье Готтлиба тяжёлая рука, — костяшками желтоватых пальцев он раздаёт подзатыльники направо и налево, — мальчишки — народ вредный, — от них дурно пахнет, — лежалыми мамкиными кофтами и аденоидами, — самый трудный возраст достаётся ему, — ладно бы ещё восьмилетние, пахнущие молоком измождённых мамаш, — каждая мать носит в подоле вундеркинда, — у вундеркинда торчащий голодный живот, но цепкие пальцы — первым делом его облачают в бархатные штанишки, — одному богу известно, где они откапывают все эти кучье штанишки и кафтанчики, — пока младший тянется к пустой перевитой венами груди, старший достаёт из футляра скрипку, — он шумно сморкается в материнский подол и семенит короткими ножками, перепрыгивая лужи, подёрнутые коркой льда, — ему бы прыгать по этим лужам вслед за воробьями, размахивая острым прутиком, — эники-беники, но детство окончилось, — с утра до поздней ночи сидит он в душных классах, уворачиваясь от подзатыльников строгого маэстро.

— Что ви мне с Моцарта делаете сладкую вату? Ви понимаете, что это МО-ЦАРТ! Тоже мне, танцы-обжиманцы — ви что думаете, Моцарт был птичка? Рохля? Маменькин сынок? Он был мужчина, понимаете ви, глупый мальчик? — голос Готтлиба дрожит от гнева, — и, раз-два-три — раз-два три, — лысый череп Готтлиба обмотан шерстяной тряпкой, в этом наряде он похож на старую сварливую женщину, но никто не смеётся, только легкомысленный Маневич кусает вывернутую нижнюю губу, Маневичу всегда смешно, в темноте он тайком поедает мамины коржики, и губы его в масле, — вытрите руки, молодой человек, — Готтлиб брезгливо морщится, протягивая Маневичу тряпку, — и передайте вашей маме, что я имею к ней пару слов.

Пара слов от мосье Готтлиба — это серьёзно. У Готтлиба нет времени на церемонии. Он встаёт и прохаживается по классу, кутаясь в женский салоп. У него нет времени на бездельников, дармоедов и бездарей. Из десяти мальчишек останется пятеро. Один будет заниматься в долг. Другой будет недосыпать ночами, укачивая на руках истошно вопящего младенца. От младенца пахнет кислым, и мальчик пропихивает в жадный рот смоченную в молоке тряпку, пока жена маэстро прикручивает фитиль к керосиновой лампе. У жены маэстро впалые щёки и огромные чёрные глаза, похожие на перезрелые сливы. «Идите уже сюда, Шварц!», — шепчет она и ведёт его на кухню, и там зачерпывает половником тарелку супа, а потом садится напротив и смотрит, как мальчик ест, как двигается острый кадык на тощей шее. У жены Готтлиба обкусанные ногти на детских пальцах и внезапный румянец, заливающий выступающие скулы. «Кушайте, мальчик», — шепчет она и маленькой рукой ерошит жёсткие ассирийские волосы на его голове, — рука её движется плавно, и юный Шварц боится поднять глаза, он замирает под ладонью и торопливо проглатывает последнюю ложку супа. Из спальни доносится лающий кашель. Маэстро так и спит в своём лысем салопе, с вкрученными в седые уши ватными тампонами. Маэстро мёрзнет, и перед тем как улечься, он по-старушечьи суетится, взбивая огромные подушки, подтягивая к ногам старый плед, — все знают, что он давно не спит со своей молодой женой, и остаётся только гадать, откуда появляются на свет истошно вопящие младенцы, страдающие поносом и ветрянкой, — они появляются один за другим, похожие на лысых сморщенных старичков, — некоторые из них не дотягивают до полугода, и тогда отменяют занятия, потому что безумный крик разрывает душную темноту детской, — старик раскачивается на полу, словно его мучает зубная боль, — притихшие пансионеры молча лежат на своих сундучках, — они боятся пошевелиться и затыкают уши, чтобы не слышать голубиных стонов, то возобновляющихся, то затихающих внезапно, а потом вновь прорывающихся низким горловым бульканьем, — ой, держите меня люди, — будто забывшаяся в припадке ночная птица, повиснет маленькая Цейтл на руках старого Готтлиба.

Дети появляются и исчезают, но Моцарта никто не отменял. Проходит неделя, и старик, сидевший на полу со вздыбленными вокруг лысого черепа пегими волосками, вновь ходит по классу, заложив руки за спину, а потом останавливается внезапно и хватается обеими руками за сердце, — это же МОЦАРТ, — это же Мо-царт, молодой человек, — молниеносным движением он выхватывает смычок и обводит класс

торжествующим взглядом.

И тут происходит то, ради чего стоило тащиться по унылой дороге из захудалого местечка, мёрзнуть в коридоре на сундуке, есть похлёбку из картофельных очисток и исходить кровавым поносом в холодном нужнике, — те самые пальцы, которые только что безжалостно раздирали нежное куриное крылышко, исторгают нечто невообразимое, отчего наступает полная тишина, которую не смеют нарушить ошалевшие от первых холодов мухи и степенно прогуливающиеся за окном лиловые петухи, — протяжно, изнурительно-медленно смычок рассекает деку и взвивается острым фальцетом, — отсечённая петушиная голова отлетает в угол, а изумлённый птичий глаз заволакивается жёлтой плевой, — скособоченная фигурка в лисьем салопе раскачивается и замирает, — оборвав музыкальную фразу, старик обводит класс сощуренными цвета куриного помёта глазами и, цокая языком, наклоняет голову, — а?

Как один день пролетят летние деньки, — июльские ливни и августовский сухостой, и тощий Шварц вытянется ещё больше, верхняя губа и подбородок украсятся тёмным пухом, — маленькая Цейтл, прелестно нелепая с огромным животом и лихорадочно блестящими глазами, накроет стол для новеньких, ещё по-домашнему круглолицых, заплаканных, пахнущих коржиками и топлёным смальцем. Пятеро из десяти отправятся домой, а из пяти останутся только двое, — ещё одна беспросветно долгая зима уступит место распахнутым во двор ставням, чахлой траве и жужжанию шмеля за грязным стеклом.

Усаживая Шварца в бричку, Готтлиб торопливо протолкнёт в карман его пальто несколько истёртых надорванных бумажек, — будьте благоразумны, молодой человек, — будьте благоразумны, старик так ни разу не назовёт его по имени, — а затем, будто поперхнувшись, закашляется, обдав душным запахом камфары и старого тела, — они думают, что Моцарт был кисейной барышней и ходил на цыпочках, но мы-то с вами знаем, что такое Моцарт...

Бричка тронется, — старик взмахнёт рукой и долго ещё простоит на обочине, подслеповатыми глазами вглядываясь в петляющую по пыльной дороге точку.

РОМАН МИХЕЕНКОВ

КЛЁН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ...

Рэгтайм
Allegretto

Аэропорт Ванкувера в последние часы полёта представлялся мне одной большой курилкой. Винавата не зависимость от табака, а здоровое чувство относительно свободного человека, которому, по непонятной причине, не позволяют делать то, что он хочет. На проверку, аэропорт оказался похожим на гигантскую футуристическую пепельницу, к которой периодически подъезжала монорельсовая зажигалка. Таможенники были весьма подозрительны, в их глазах читалось недоверие, плавно переходящее в немой укор: «Почему вы без лыж?!». А с лыжами были все, кроме нас. Таможенники тщательно обследовали всю нашу ручную кладь, тщетно пытаясь обнаружить в ней хоть какие-нибудь, ну хоть детские лыжи. Не нашли, злобно пожелали «приятного пребывания» с ярко проступающим подтекстом: «Эти русские думают, что им всё позволено» и...

... Икая от вожделения, я помчался в Канаду. Курить!

Ни одна голливудская мелодрама не способна передать поэзии последних шагов к выходу из аэропорта. Такое стремление к объекту страсти не снилось даже Ромео и Джульетте. Всё как в замедленной съёмке (это не правильно с точки зрения профессиональной терминологии, пусть!). Сквозь тонированные стёкла здания аэропорта маняще светит солнце, похожее на свет в конце тоннеля, образованного некурящими лыжниками. Я прорываюсь, спотыкаясь о лыжи, палки и сноуборды, я без должного пиетета выражаюсь о зимних видах спорта и ванкуверской олимпиаде в целом. Дрожащая левая рука вырывает сигарету из пачки, большой палец правой руки до судороги нажимает на колесико зажигалки. До выхода десять шагов, девять, восемь, семь...

Неужели я попал в канадский рай? Моё имя написано по-английски на табличке, похожей на надгробную плиту, а над табличкой ангельский лик! Вожделенная сигарета падает к ногам ангела. Я вспомню о ней через три часа.

По договорённости нашей редакции с местным телеканалом, мою съёмочную группу встречала журналистка по имени Тиффани. Для того, чтобы осуществить мечту о сигарете, для начала надо было вспомнить, как люди дышат. Увидев Тиффани, я об этом благополучно забыл. Это было нечто надэротическое. Я услышал, как бьется её сердце, я поймал ритм её дыхания. Наступило состояние эйфории, когда знаешь ответы на все вопросы. В реальность меня ненадолго вернул удар штативом от камеры Vetecam по спине. Брутальный оператор, не знающий слов и кадров любви, так же, как и я, стремился к долгожданной сигарете и налетел на меня, когда я умер и воскрес перед Тиффани.

Пока мы грузили технику в её огромный серебристый «Крайслер», моё тело откликалось на каждое её движение. Я чувствовал сопротивление дверной ручки её пальчикам, я подробно проживал процеду-

ми матами. В психиатрических клиниках таким образом оборудуют комнаты-одиночки для буйных, дабы те в припадках чем-нибудь себе не навредили, только там всё серое, чтобы лишний раз не беспокоить психов. В пространстве между столиками под бравурную музыку бодро промаршировали трое маленьких людей. Вывески на североамериканских забегаловках не помешают нам выражаться политкорректно. Не липлипуты, не карлики, а именно маленькие люди. Так вот, карлики были встречены ещё одним взрывом рёва. В глазах короедов-переростков с местной лесопилки появилось выражение номер два — так смотрит дембель на стриптиз. Я однажды это наблюдал.

Отдав последние распоряжения по съёмке своему оператору, я помчался к Тиффани, которая отправилась занимать нам самые удобные места. Она ждала меня у барной стойки. Мой нежный ангел заказал мне разноцветный коктейль. Ненавижу эту гадость, никогда не пью, но в тот момент я был готов выпить все коктейли этого бара и целого мира. Я готов был прилипнуть к ней, как кленовый лист к . . . канадско-му флагу.

Карлики, экипированные, как гордость Канады — её хоккеисты, выстроились у черты в нескольких метрах от мягкого «красного уголка». Участникам — всем желающим — предлагалось взять карлика за любую, понравившуюся ему (участнику) часть тела, разбежаться и метнуть живой снаряд в тот самый «красный уголок», не переступив черты. Кто дальше кинул — тот и победил. Один бросок стоит двадцать канадских долларов, количество попыток ограничено только самочувствием карликов. Хозяин заведения, как я выяснил позднее, принимает ставки и деньги от участников и делит выручку пополам с маленькими людьми.

Под рёв публики у заветной черты появился первый участник — передовик лесопильного производства Матье. Он подошёл к «снарядам», приподнял каждого, выбирая оптимального по весу. Это напомнило мне выбор шара в боулинге. Сделав выбор, Матье посадил карлика себе на ладонь, отошёл в угол заведения и начал разбег. В монтаже у меня была возможность просмотреть этот эпизод в замедленном воспроизведении. Матье был прекрасен, как олимпийский бог. Добежав до черты, он метнул карлика в угол. «Снаряд», совершенно не думая о приземлении, вытянулся в струну, стараясь улететь как можно дальше. Зрители приветствовали попытку рёвом. Место приземления карлика отметили мелом.

Я смотрел чемпионат по метанию карликов только потому, что на это действие смотрела Тиффани. Моё внимание растворилось в её внимании. С тем же успехом я бы растворился в мексиканском сериале, телевизионном суде или ещё какой-нибудь теле-дряни. Я позволил себе взять её руку, и она её не отняла. Она сжала мою руку, а заодно сердце, душу и прочие органы.

Процедуру метания карликов повторили пять лесопильцов. Каждый демонстрировал свою неповторимую технику от процедуры выбора до способа метания. Ганье, больше похожий на американского кинодальнобойщика, раскрутил свой «снаряд» за ногу, но не попал в угол, сметя карликом несколько столиков. Попытка Матье оставалась лучшей. У хозяина, принимавшего ставки, скопилось несколько сотен канадских долларов.

К черте подошёл супертяжеловес Жак. В заведении воцарилась мертвая тишина. Жак сосредоточенно выбрал карлика, медленно отошел в угол и собрался начать разбег. В этот момент в зале началась суета, сопровождаемая криками и звоном бьющейся посуды. Создалось ощущение, что в канадский бар хлынула советская первомайская демонстрация. Препраждая путь Жаку, у черты выстроились пять хипповатых персонажей. Они выкрикивали лозунги, которые сложно было различить в шуме негодования участников и зрителей чемпионата.

Я на мгновение отпустил руку Тиффани, чтобы скорректировать оператору съёмочную задачу. Подбравшись поближе, я понял, что произошло. Это оказались местные правозащитники, которые пришли защищать права карликов. Увидев съёмочную группу, правозащитники забыли о цели визита и стали работать на камеру. Об их благородных целях напоминали только тексты кричалок. Хозяин вежливо предложил им отойти от черты и не мешать проводить чемпионат. Получив отказ, он обратился к публике в поисках решения проблемы. Публика на непонятном диалекте местных лесопильцов объяснила правозащитникам своё к ним отношение и предложила прекратить акцию протеста. В этот момент к борцам за права карликов подошёл Жак. Его остановили на взлёте, наверное, он шёл к лучшему броску своей жизни, только этим я могу объяснить произошедшее дальше. Жак хмуро посмотрел на одного из хиппи, размахнулся и ударил его карликом по голове.

Возникшая пауза, если её воспринимать, как оценку события персонажами литературного произведения, восхищает бездной трактовок: от «ой, я кажется оскорбил человеческое достоинство маленького человека» до «а вот теперь вы переступили черту, отделяющую добро от зла». От трактовок меня отвлек карлик, употреблённый в качестве бейсбольной биты. Он встал, поправил хоккейный шлем и изо всех сил двинул ближайшему из правозащитников кулаком в пах.

Впервые в жизни мне изменил телевизионный инстинкт. В начавшейся драке, мгновенно миновавшей грань жестокости, я даже не подумал спасти камеру, я бросился спасать Тиффани. Хрупкую, нежную, мою Тиффани. Она стояла у барной стойки, там же, где я её оставил. Справа от неё два карлика топтали ногами правозащитника с наполовину вырванными дредами, слева — Ганье тёр лицом о колонну самого крикливого из борцов за права карликов. В тонких фарфоровых ручках Тиффани была голова третьего правозащитника, которую она зачем-то регулярно с хрустом и брызгами крови опускала на барную стойку. Устав от этой странной процедуры, или потеряв интерес к предмету в своих ручках, Тиффани повернулась к залу в поисках следующей жертвы. Наши глаза встретились . . .



Ночью, когда Тиффани отпустили из полицейского участка, она пригласила меня к себе.

Наряд милиции, встречавший меня в аэропорту «Шереметьево», не понял, почему я не поехал к Тиффани и зачем я ободрал все листья с клёна у моей гостиницы, но содрал с меня всего триста долларов за курение в туалете самолёта.

« П Л А Х А »

ЛЕОНИД КОСТЮКОВ

ЛЮБИТЕЛЬ И ДРУГОЙ¹

Лет тридцать назад у современной литературы был свой читатель. Не будет большой ошибки, если обобщить: интеллигенция, преимущественно научно-техническая. Потом ситуация изменилась: свободного времени стало гораздо меньше, а занятий для досуга – гораздо больше. Возникла индустрия развлечений, очень, кстати, подходящая для сильно усталого к вечеру человека. Чтение – если говорить не о чтении глянцевого детектива – стало очень неочевидным занятием, специальной потребностью. Если судить по бумажным тиражам, счёт читателей современной поэзии идёт вообще на тысячи. Но не будем недооценивать интернет. Допустим, на сотни тысяч (что тоже менее полпроцента по отношению к горящему по-русски населению планеты). Примерно столько же – по оценкам экспертов – и поэтов-любителей. Очевидно, что это приблизительно один человеческий круг.

Здесь нет ничего удивительного: что ни возьми – музыку, живопись, футбол, баскетбол – заинтересованный ценитель, скорее всего, пробовал свои силы в любимом деле. Собственно, и слово «любитель» имеет как бы две стороны. В нашем случае – один и тот же человек любит и читать стихи, и пробовать их писать.

Опять же, какой вид деятельности ни возьми, собственное участие в ней позволяет лучше понять и оценить плоды чужого творчества. Достаточно попасть в ситуацию мучительного конфликта между рифмой и метром, с одной стороны, и желательным смыслом – с другой, чтобы по-новому оценить блистательную лёгкость с детства знакомых шедевров, почувствовать, как рифма бежит сама и открывает оттенки смысла, неожиданные для самого поэта.

Знаменитая метафора уподобляет искусство грандиозному храму, где одни возводят новый этаж, другие же осуществляют служение. Эта метафора оставляет нам с вами некоторую свободу интерпретации. Кто служит в храме? Возможно, это подвижники, культурные посредники – критики, редакторы, издатели, преподаватели литературы. Возможно, поэты-любители, не образующие новую традицию, но поддерживающие её. Вспомним высеченное на граните памятника Пушкину:

*И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.*

Любопытно, что в оригинале у Горация – пока жрец будет вводить чистую деву в Капитолийский

храм. Кого имеет в виду Пушкин – соразмерного себе великого поэта или поэта вообще, поэта по складу души, способного изнутри оценить живое стихотворение? Оставим вопрос открытым.

В любом случае, поэт-любитель – необходимый элемент в общей системе бытования поэзии и, возможно, самый верный читатель. Его любовь к поэзии, способность восторгаться – безусловно, востребованы. Его собственные стихи – частное дело, не подотчётное никому. Они могут занимать важное место в жизни его семьи, друзей, соседей. Могут быть изданы за собственный счёт и раздарены тем же друзьям. Исполняться под гитару в узком и не очень узком кругу.

Возможно, главное – любовь к поэзии не идёт по разряду губительных страстей. Она не мешает, а помогает жить, даёт человеку ещё одну отдушину, ещё одно прибежище в трудную минуту. Она не разрушает семьи, не ведёт к алкоголизму и суициду, как это иногда случается с известными поэтами. Она – любовь к поэзии как таковой – не связана с диким эгоцентризмом и самовлюблённостью, характерными для лирического поэта.

Внутренняя культура помогает поэту-любителю не перепутать свои упрямства с работой поэта-новатора (а поэтов-консерваторов не существует). Как правило, помогает – а иногда нет.

Может показаться, что я всячески одобряю и поощряю деятельность поэта-любителя, только если она идёт в точно очерченных границах. Если он не вторгается со своими стихами на территорию современной (актуальной) поэзии. Пожалуй, так оно и есть. Это вторжение идёт по хорошо известному сценарию, никому не доставляющему удовольствия.

Наверное, надо на внятном качественном уровне разграничить позиции поэта-любителя и *настоящего поэта*. Последний термин может показаться спорным, но мне хотелось бы оставить вакантным понятие профессионала – по причинам, которые будут изложены ниже.

Понятно, что тип поэта-любителя очень далёк от графомана в его стандартном понимании. Графоман неадекватен, неврасстичен, агрессивен, часто бескультурен. Вместо любви к литературе он наделён болезненной страстью к письму. Фигура это опасная и неприятная, особенно если графоман наделён честолюбием. Практически гремучая смесь.

Настоящий поэт отличается от любителя в первую очередь тем, что является графоманом. На первый взгляд, достаточно определить его как *талант*–



ливого графомана. Но опыт показывает, что талантливый графоман остаётся талантливым графоманом. Думаю, правильнее определить настоящего поэта как парадоксальное сочетание графомана и поэта-любителя — при наличии таланта, естественно.

То есть тип настоящего поэта содержит болезненную составляющую — страсть к письму, чересчур личное, заряженное отношение к продукту своего творчества, неврастеническое честолюбие.

Другое важное отличие любителя от настоящего поэта — арсенал выразительных средств в поэтическом творчестве. У любителя он богат — его устраивает весь опыт, накопленный отечественной поэзией. Настоящего поэта этот опыт решительно не устраивает — как и бытовая речь, как и дворовый жаргон и остальное. Арсенал настоящего поэта пуст — он начинает с нуля, с немоты, с жёсткого кризиса языка. И в мучительном процессе преодоления этого кризиса изредка находит действительно новые решения.

Язык поэта-любителя обычно гладок. Язык настоящего поэта иногда шершав, коряв или остр. Формула Георгия Адамовича, наверное, универсальна: для настоящего поэта поэзия невозможна. Для поэта-любителя его занятие (если говорить точно — стихописание) возможно. А там, где есть возможность, есть и поступательный рост, эскалация возможностей. То есть поэт-любитель вполне дорастает до чего-то ещё, но эта новая сущность — вовсе не настоящий поэт.

Вероятно, пора немного сказать о профессионализме.

Вот наши лучшие современные поэты, лауреаты престижнейшей премии «Поэт» (чтобы не спорить о вкусах): Кушнер, Николаева, Чухонцев, Кириков, Лисянская, Гандлевский. В узком понимании профессионализма все они непрофессионалы, то есть стихами на жизнь не зарабатывают. Профессионалы — Дементьев, Губерман, Резник, Рубальская, Орлуша, Максим Фадеев (автор текстов песен Глюкозы) и т.п. Менее известные профессионалы сидят в провинциальных конторах и пишут на заказ стихи по веским местным поводам. *Натурально, играют на свадьбах и похоронах.* На мой вкус, из профессионалов какое-то отношение к настоящей поэзии (за счёт нестандартных ритмических ходов) имеет Константин Меладзе. Не будь его, раздельное существование секторов стало бы предельно наглядным.

Илья Резник настолько открыт и щедр, что обнажает перед телезрителями свой творческий метод. Стоит посадить его в жюри каких-нибудь «Танцев на льду», он мгновенно искрит чем-то вроде:

*Подобно итальянской пище,
Горяч и свеж Сихарулидзе,*

или:

*Как будто за змеёй очковой,
Слежу за Настей Волочковой,*

или:

*Как телевизору подставка,
Так мне нужна Татьяна Навка.*

Всё. Боюсь увлечься.

Честолюбивый любитель, пишущий стихи, есте-

ственным образом дорастает до профессионала того или иного ранга. Дело в том, что на рынке — будь то ода к юбилею директора или текст песни для шоу-бизнеса — востребована не поэзия, а стихи. Которые можно писать на заказ, симпатично, всё лучше и лучше.

А поэзия — незавидное, сумеречное, болезненное дело горстки отщепенцев. И не надо стремиться туда без крайней необходимости.

¹ Статья была опубликована в журнале «Арион» (2010, № 4) и печатается с разрешения автора

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ ЛЕОНИДА КОСТЮКОВА «ЛЮБИТЕЛЬ И ДРУГОЙ»

(подготовлено редакцией эстетик-шок журнала «КЛЯП», и зав. отделом критики «Южного Сияния» Алексеем Торховым)

Сергей Нежинский (г. Одесса):

«Человек в своём тонком плане есть нечто иное, как луч внимания. То, чему он отдаёт себя, свою жизнь, является божеством, которому он служит. Божеств этих может быть неограниченное множество, и чем больше их, тем более расщеплён этот луч. Подобная рассеянность не позволяет человеку углубиться в суть вещей, оставляя его дрейфовать на поверхности смыслов. Эта поверхностность выражается в Ущербности, являясь антагонистом по отношению к Красоте, которая, в свою очередь, есть квинтэссенция качества. Таким образом, качество достигается и повышается через сосредоточенность, катализатором которой служит Интерес, концентрирующий, словно линза, луч рассеянного внимания. Он, как балласт, утягивает личность в глубь смысла интересующей её вещи. В процессе этого углубления человек проходит все стадии качественного развития — от посредственности до гениальности, которая тоже не является последней ступенью самосовершенствования. Ибо определённое — определено, а совершенное, то есть завершённое, не может иметь пределов, так как сама природа ограниченности (степени бессилия) противоречит природе совершенного (завершённого). Всё это применимо не только к литературному делу, но и к любому другому человеческому устремлению.

Что же касается непосредственно творчества, скажу, что *настоящее* в искусстве не выдумывается, а открывается, как гены или материки. При этом искусство представляется усовершенствованным инструментом передачи информации. Его методом выступает создание контекста, приводящего к общему знаменателю субъективные опыты автора и потребителя, что позволяет с наименьшими потерями донести Знание. Посему талантливым произведением может считаться только то произведение, которое вызывает в потребителе задуманный автором (и никак иначе) эмоционально-смысловой резонанс. При этом произведение должно сообщать действительно новую и действительно качественную информа-

цию. Все эти критерии, на мой взгляд, и есть решето, отсеивающее плевелы от зёрен и являющееся ключом к решению поставленной в данной статье проблеме.

Евгения Краснаярова (г. Одесса):

«Дело в том, что пора не разграничительные линии проводить внутри того слова-облака, на котором значится "поэт", а само слово это очистить от ложных определений. Поэт-любитель, поэт-рубитель, поэт-рубец, поэт-делец... Мы сами так загадили слово это, что тяжело ставить его рядом с другими, славными словами – Мандельштам, Цветаева, Тарковский... Надо бы, как в "Золотом телёнке", выработать "наконец конвенцию", по которой слово "поэт" раз и навсегда отделить от слов "любитель", "профессионал", "гол-кипер" etc. И от слов "великий" и "плохой" по возможности тоже. Хотя бы на время прекратить то трясти реторгу, то доливать в неё всего, что под рукой есть – пусть выпарится ненужное и ровным слоем осадок покроет дно. То и возьмём.

И тут вступает визгливым голосом Паниковский: "Но предупреждаю, если немцы плохо ко мне отнесутся, я конвенцию нарушу, я перейду границу". Конечно перейдёте, Михаил Самуэлевич, кто же в этом сомневается-то...»

Илья Рейдерман (г. Одесса):

«Статья Л. Костюкова отдает каким-то узко-цеховым, цеховым духом. Терпеть не могу Цех – даже и гумилёвский "цех поэтов". Сегодня, скажем, в спорте – есть любители, и есть "профи". Любители могут быть сколько угодно талантливы – но если они не готовы без конца тренироваться, участвовать в соревнованиях, вариться в узком кругу околоспортивной жизни, то есть принадлежать к группе, – их просто в упор не видят. Впрочем, они могут организовывать свои альтернативные соревнования, конкурсы. Сегодняшняя ситуация есть следствие далеко зашедшего разрыва между "любителями" и "профи". Принадлежность к тем, кто перечислен в списке "профи" – ещё не гарантирует того, что автор – настоящий поэт (композитор, художник). Это может быть и простым свидетельством того, что автор "пашет и пишет, как лошадь", участвует во всех "скачках", словом – раскручен. И на эту раскрутку – жизнь положил. Нужно жить не в провинции, а если уж в провинции – то ездить нужно, ездить, быть знакомым с теми, с кем следует, непрерывно крутиться, чтобы тебя заметили, "держать руку на пульсе" литературной жизни. У меня впечатление, что даже изначально весьма даровитые люди – при такой жизни много теряют в творческом смысле и пишут всё хуже. А главное – пишут, подчиняясь групповым, цеховым нормам. И тут, конечно, главное – за "новатора" прослыть! Вот молодые композиторы играют в пустом зале – для таких же музыкантов, вот художники приходят на выставку художников, вот поэты слушают поэтов. Хорошо ли это? Конечно, нет. Но ведь произошло неспроста. Потому что читателю, слушателю, зрителю – неинтересно, как ты искусно и тонко решаешь формальные задачи – о чём и судить-то

адекватно могут только такие же знатоки формы. При этом и масштаб личности того, кто пишет, и содержание написанного – всё больше утрачивает значение. Оправдывать эту "непитательность" современной культуры – по меньшей мере, неадекватно. Вот и получается, что "любители" – ближе к читателю. По опыту сужу, что почти в каждой книжечке можно найти одно-два приличных стихотворения, искренних и обращённых к душе человеческой. Но... поэты ли это пишут? Да и "профи" – непременно ли поэты? "Вот в чём вопрос". Анна Ахматова как-то сказала, что пишущих сравнительно неплохо – много, а вот поэтов – раз-два и обчёлся. Что значит быть поэтом? Об этом знает тот, кто способен жить, как поэт, дышать, как поэт, писать, как поэт, поддаваясь душевному порыву, а не в оглядке на то, как "принято" "писать».

Виктория Колтунова (г. Одесса):

«Мне кажется, что у любимого мною Леонида Костюкова появилось много свободного времени. Вот он сидел и думал, а чем бы взбудоражить поэтическую братию? Потому что такие рассуждения сами по себе хороши, но чтобы они что-то изменили в этом мире в лучшую, или даже худшую сторону? Сомневаюсь (Может я, как прозаик, слишком прагматична?). Итак, мы имеем три категории Людей Рифмующих: поэта настоящего, поэта-любителя и, наводящего страх на всех редакторов поэтических сборников и журналов, бесталанного, зато пробивного, графомана.

Поэт настоящий. Чтобы понять, что это такое, надо перечитать следующий абзац: *"Возможно, главное – любовь к поэзии не идёт по разряду губительных страстей. Она не мешает, а помогает жить, даёт человеку ещё одну отдушину, ещё одно прибежище в трудную минуту. Она не разрушает семьи, не ведёт к алкоголизму и суициду, как это иногда случается с известными поэтами. Она – любовь к поэзии как таковой – не связана с диким эгоцентризмом и самовлюблённостью, характерными для лирического поэта"*. Понятно, суть настоящего поэта вытекает из вышеприведённого утверждения. Не очень-то привлекательная суть. Прочитала я, и мне поэтов стало по-человечески жалко. И Костюков их как-то так плохо обозвал, и жизнь у них саморазрушительная.

Теперь о графоманах. Цитирую: *"Графоман неадекватен, неврастеничен, агрессивен, часто бескультурен. Вместо любви к литературе он наделён болезненной страстью к письму. Фигура это опасная и неприятная, особенно если графоман наделён честолюбием. Практически гремучая смесь"*. Ну, это ещё хуже. Но хоть для жизни не опасно. Ни своей, ни семейной. Значит, самый благополучный тип Человека Рифмующего – это любитель. Цитирую: *"В любом случае, поэт-любитель – необходимый элемент в общей системе бытования поэзии и, возможно, самый верный читатель. Его любовь к поэзии, способность восторгаться – безусловно, востребованы. Честолюбивый любитель, пишущий стихи, естественным образом дозревает до профессионала того или иного ранга..."* и т.д. Ну, слава Богу, хоть здесь всё замечательно. Остаётся призвать поэтов: товарищи,



идите в любители, там хорошо и спокойно.

Только что нового в этом коротеньком эссе Леонида Костюкова? Вроде как мы все это и так знали. Жалели поэтов, презирали графоманов и похлопывали по плечу любителей. Цитирую: *«А поэзия – не завидное, сумеречное, болезненное дело горстки отщепенцев. И не надо стремиться туда без крайней необходимости»*. Ой, Леонид, Леонид! Да будут туда стремиться, и "без" необходимости и "с". И ничего тут не поделаешь, как ни запрещай. Потому что в таком деле, как поэзия, запретить что-то ну абсолютно невозможно!»

Сергей Шаманов (г. Одесса):

«Я часто слышу, а ещё чаще прочитываю споры о том, что такое графомания, и считаю, что мы находимся заложниками слова, имеющего иностранное происхождение в русском языке. В буквальной трактовке доходит до утверждений в том, что графомания – это лишь страсть к писательству и без неё настоящим писателем не стать. Но для меня намного важнее – устойчивое восприятие этого понятия в массовом сознании, ведь слово, как ни крути, вторично, оно лишь отражает то, что мы видим, чувствуем и познаём. А в массовом восприятии графомания – это безнадежно плохое литературное произведение, не имеющее права на существование.

Графомания так же стара, как и сама литература, но в последнее десятилетие это явление обострилось благодаря передовым средствам коммуникации. Раньше на границе между графоманом и читателем стоял редактор и почтовый барьер. Пересылка по почте означала материальные расходы на конверты, марки, бумагу, машинистку или муки над печатной машинкой, и весь этот процесс предполагал затраты времени и ограничивал возможности пиитов, отсекая не самых настойчивых. Сейчас же, недолго порывшись в сети, можно достать адрес любого издательства или печатного издания, а то и целый список, и за кратчайший промежуток времени, не прилагая значительных усилий, донести своё творение до многочисленных адресатов. В просторечии это называется "бомбить", бомбить значит воевать, идёт война графоманов за читателя. Как и любая масштабная война, она идет на несколько фронтов, второй фронт – это сайты свободной публикации (теперь уже и социальные сети), в которых можно спокойно разместить тексты, минуя и редактора и цензуру. Война требует средств, и если они есть – можно нанять редактора, проплатить издательству, заказать рекламу, но всё же в случаях явной графомании это – локализованный всплеск, не имеющий возможностей интернета. Если в конце девяностых ещё рассматривалось такое культурное явление как "сетература", то в начале нулевых оно стало бессмысленным после того, как в сети появились произведения классиков, составлявших с одной стороны "золотой фонд" литературы, и куда более многочисленные произведения начинающих авторов, раньше скрытых от глаз обычного читателя. Графомания – это побочный продукт литературного производства, и её по закону арифметической прогрессии с каждым годом становится всё больше и больше, целое

море плохой литературы, которое со временем превратится не то что в океан, а примет масштабы космические. Тема графомании не была столь актуальной, когда она касалась ограниченного круга лиц, способных её распознать, оседала в письменных столах или, при более удачно сложившихся обстоятельствах, проходя свой естественный издательский путь, славалась в макулатуру. Сейчас же, когда любое самое бездарное произведение в любую секунду может дойти до читателя в любой точке земного шара, вышедшая из тени графомания – это естественный и нередко равноправный участник современного литературного процесса».

Евгения Чуприна (г. Киев):

«Такое ощущение, что автор этой статьи никогда настоящего поэта живём не видел, и в зеркале тоже. А то, что он видел – это условности, просто группа людей, пишущих стихи, выдвинула из своих рядов каких-то личностей, у которых получается более складно, чем у прочих, и для удобства провозгласила их поэтами... Немота... Ощущал ли немоту Пушкин? Не уверена. Однако он, безусловно, был по-этом. Почему эта немота возникает у Васи Пупкина? Потому что Вася Пупкин тужится написать что-то, неизвестно что. Но это тревожный симптом, ведь это значит, что он силится что-то написать, когда у него нет идеи. То есть он пишет, чтобы быть пишущим. А если так, то какова вероятность, что в результате получится нечто осмысленное? Нулевая. Получится "что вижу, то пою" с таким прицелом, чтобы кучка технических интеллигентов оценила, пользуясь чисто механическими критериями, тонкость твоего тусклого и необаятельного внутреннего мира... Я – за такие стихи, которые прошибут и доярку, и шахтёра, и профессора славистики. Я – за такие стихи, которые пэтэушники пишут на задних листах тетрадей. И такие стихи происходят не от немоты. Такие стихи происходят от полноты».

Алексей Лисовицкий (г. Самара):

«О спорах поэтов и настоящих грибах. Поэт, если говорить об определениях (которые Человек раздаёт до кровавых мозолей) – настолько же эфирное понятие, насколько сильны споры о его, поэта, истинности и профессионализме. Профессиональный душещипатель... Или специалист кафедры межстрочных прочтений? Споры "О Боге" порождают самих себя. Споры о поэзии порождают споры и дают умным людям приятное окружение, из которого мгновенно удаляются дураки. А вот уже кого называть дураками... Спорим?»

Евгения Бильченко (г. Киев):

«Вопреки обычному желанию спорить, перерастающему у Вашего покорного слуги в неврастение, я согласна с мнением, изложенным в данной статье. Как у человека, профессионально занимающегося наукой, возникло желание более чётко структурировать предложенную автором классификацию: поэт-любитель как мирный замороженный посредствен-

ный пишущий, поэт-графоман как агрессивный посредственный пишущий, эдакий неврастенический любитель, настоящий поэт (понимая всю условность и предвзятость прилагательного) талантливый неврастеник-альтруист-маргинал, поэт-профессионал – бывший любитель/графоман, поднаторевший зарабатывать деньги на стихах. На мой взгляд, удачен образ любителя. Это позволяет отделить от графомании группу милых людей, ни на что особо не претендующих. Спасибо за статью. Нечто подобное присутствует в работе Ролана Барта "Писатель и пишущий", особенно по отношению к языку».

Кирилл Ковальджи (г. Москва):

«Интересная статья, но однобокая. Вот её сердцевина: *"... тип настоящего поэта содержит болезненную составляющую – страсть к письму, чересчур личное, заряженное отношение к продукту своего творчества, неврастеническое честолюбие. Другое важное отличие любителя от настоящего поэта – арсенал выразительных средств в поэтическом творчестве. У любителя он богат – его устраивает весь опыт, накопленный отечественной поэзией. Настоящего поэта этот опыт решительно не устраивает – как и бытовая речь, как и дворовый жаргон и остальное. Арсенал настоящего поэта пуст – он начинает с нуля, с немоты, с жёсткого кризиса языка. И в мучительном процессе преодоления этого кризиса изредка находит действительно новые решения"*... Это так и не так. Иннокентий Анненский вовсе не страдал неврастеническим честолюбием, а Лермонтов вовсе не был пуст и т.д. Маяковский – другое дело, он подходит под определение Костюкова... На мой взгляд главное, что отличает настоящего поэта от прочих – это масштаб личности. Что с того, что Лермонтов начинает с освоения (присвоения?) пушкинского арсенала? Личность-то решительно другая и тоже великая!.. Сегодня обилие мастеровитых поэтов, а личностей мало, очень мало. Крупной личности прощаешь многое (сколько ненужного у Некрасова, плакатного у Маяковского, натужного у Цветаевой, скучного у Бродского!), а ведь люблю каждого "не за это", а за мощное притяжение и неповторимость».

Виталий Науменко (г. Москва):

«При огромном количестве точных определений отличного эссе, само разделение на поэта-профессионала, поэта-любителя и поэта-графомана настолько условно, что обсуждать почти и нечего. Хороший профессионал – может быть графоманом (ранний Блок или Гумилёв), плохой (почти весь срез Серебряного и Золотого века) – любителем. Это не критерий. Вот отделить настоящего поэта от графомана просто. А промежуточные варианты... – риск ошибки огромен».

Валерия Богуславская (г. Киев):

«По-моему, человеку пишущему, если он не заражён манией величия, трудно ответить на вопрос, настоящий ли он поэт. Обычно этот ответ (с которым он может в душе или во всеуслышание не соглашаться)

дают за него другие. Может быть, быть солидарным с автором в том, что, если стихи даются не самой большой кровью и не предельным напряжением сил, то ты явно не настоящий поэт? Но, говорят, Моцарт и Пушкин (я не сравниваю, а констатирую) писали достаточно легко. И каков же из этого вывод? Грань между поэзией и не-поэзией уловима на уровне вкуса, нюансов, чуть-чуть. Кто возьмёт на себя смелость считать себя законодателем? Лично я не берусь».

Юлия Подлубнова (г. Екатеринбург):

«1. Проблема, которую поднимает Леонид Костюков, актуальна. Развитие современного литературного процесса, хотим мы того или нет, так или иначе идёт от широкого творчества масс. Это творчество в целом составляет ту периферийную часть этого процесса, которая, как мы знаем из теории, всегда стремится передать свои конструктивные элементы центру. Если говорить языком ненаучным и конкретно о состоянии современной поэзии, то, действительно, мы сейчас имеем сотни тысяч пишущих стихи, десятки тысяч считающих себя при этом поэтами, тысячи судящих о поэзии и т.д. Что из этого останется в веках, какие фигуры будут представлять нашу эпоху, сказать сложно. Вот названные автором – Деметьев, Губерман, Резник, Рубальская, Орлуша, Максим Фадеев, которых знает и любит не читающий классики российский народ. Вот – Кушнер, Николаева, Чухонцев, Кибиров, Лиснянская, Гандлевский, модные среди продвинутой публики. А если признаться честно, что ни те, ни другие не интересны? Что гораздо интереснее стихи какого-нибудь неизвестного, но чертовски талантливого, на наш взгляд, автора со "Стихи.ру"? Проблема, да. И хочется верить, что останется всё-таки слово, а не слова, слова. Без этой веры не бывает ни настоящего поэта, ни настоящего читателя, в конце концов... 2. Костюков пытается всё расставить по полочкам: вот вам графоман, вот – любитель, вот – профессионал, и вот – настоящий поэт. А если некто долго был любителем, а потом вырос до поэта, как это случилось с Г. Ивановым? Или, наоборот, был некогда талант, да вышел, что тоже часто встречается? То есть не всегда работает чёткое разделение. Поэзия, если хотите, это высшая математика, а не бухучёт. Или другая проблема: написал некогда NN действительно гениальное стихотворение или два, а потом писал себе, писал, много. Теперь за эти два стихотворения и множественность текстов есть люди, которые считают его настоящим поэтом. Как быть? Не вставать же в позу критика, не говорить же о плохих стихах, всё равно никого не переубедишь. Ну и, конечно же, в столысячесотый раз хочется вспомнить о вкусовых предпочтениях. Сегодня читается чьё-либо стихотворение и кажется гениальным, совпало с настроением, завтра удивляешься: а что в нём такого-то? Набор слов. В общем, всё сложно с поэзией и упрощения здесь не работают... 3. Кстати, возник вопрос об очерченных для "любителя" границах: а зачем их очерчивать? Делать в поэзии касты? Вот, ты, товарищ Ваня Иванов, – любитель, и не бывать тебе настоящим поэтом никогда! Не смей, не смей вторгаться в поле актуальной по-



эзии, нет у тебя, дорогой гражданин, таланта! Ты лишь необходимый элемент в системе бытования поэзии! Читай, но не пиши! Тоталитарное мышление, оно всегда, скорее, деструктивно. Эпоха литературоцентризма, вроде бы, закончилась, пусть Ваня Иванов пишет и пишет хорошо. Пусть выступает. Пусть у него даже будут поклонники. Всё решит не актуальная тусовка, состоящая подчас из весьма сомнительных авторитетов, а время. Может быть, потом окажется, что Ваня-то был лучше и талантливее (пусть и не гений), чем самый важный и раскрученный "настоящий поэт" его эпохи. Вот и хочется спросить: а судьи кто? А поскольку сама часто выступаю в роли судьи, то я – за Ваню... 4. Миф о настоящем поэте. Это тоже большая проблема. Отказываться от него опасно. А как быть с классикой? "Нас мало. Нас, может быть, трое..." Но почему тогда Пастернак входит в пресловутую большую четвёрку (с Бродским – пятёрку), а Г. Иванов не входит? А я – за Г. Иванова, а Пастернака не люблю. И что? Дурновкусие? Миф о настоящем поэте опасен. Всякий, кто берётся писать стихи, хочет оказаться тем самым, настоящим. И здесь есть колоссальный риск поверить в этот миф и оказаться в итоге злостным графоманом. Мне кажется, что надо быть очень осторожным в обращении с этим мифом. Предельно. Пытаться не применять его в отношении к современности. Пусть настоящие поэты будут в прошлом. Мы их знаем, мы их любим. А на нашу эпоху мы ещё поглядим как-нибудь погодя или поглядят за нас потомки».

Серафима Орлова (г. Омск):

«Нужно заметить, что меня немного забавляет эта характерная шумиха, которая должна "ознаменовывать" начало нового века, в том числе и литературного. Всюду возникают какие-то объединения, какие-то кружки, какие-то манифесты, какие-то новые критерии и новые герои, но такое впечатление, что всё это появляется с оглядкой на то, "как должно быть". Будто литература тшится взобраться на ту ступеньку лестницы, которая ещё не построена, просто потому, что "должна быть ступенька". Какая-то тотальная растерянность. В условиях "поэтического бума", который, по мнению критиков, сейчас наблюдается, становится актуальным вопрос об истинной сущности поэзии, о том, как отделить графоманов от талантов, любителей от профессионалов и прочих агнцев от козлиц, но критерии отбора представляются чересчур расплывчатыми. Как судить, если невозможно опираться на то единственное, что помогает окончательному отсеву – на опыт времени? Как судить, если "у нас нет Белинского"? Кто возьмёт на себя право указать – вот тот любитель, вот тот талант, а вот этот уж точно гений, помяните моё слово лет через двадцать? И берутся ведь за такое, и указывают даже, но всё это, как совершенно верно подмечено в статье Леонида Костюкова, "круг заинтересованных". "Поэты-филологи, пишущие критику" (© Кирилл Решетников). Есть только один способ, действующий почти наверняка: подождать лет десять, когда время потряхнёт нас, и мы в очередной раз узрим истину. А пробовать сейчас отделить достигших высокого уровня "ремесленников" и настоящих поэтов

– представляется нереальным».

Александр Уланов (г. Самара):

«Поэзия – да, невозможна и ненадёжна. Именно поэтому представляется, что грани значительно тоньше. Например, Кушнер-Николаева-Чухонцев-Кибиров-Лиснянская-Гандлевский – всё-таки скорее профессионалы, так как живут на то, что репрезентируют себя как представители литературы. Они же – в терминологии Костюкова – "любители", поскольку их стихи вовсе не в области невозможного и ненадёжного, а – опережают среднее представление о поэзии ровно на миллиметр, чтобы выглядеть новыми, не теряя связи с привычным и очевидным. То, что действительно новая и неочевидная поэзия (а другое – не поэзия) никогда не будет востребована рынком (и премиями), ясно уже очень давно. Стоит ли вздыхать об этом очередной раз?.. Восприятие поэзии и языка как проблемы, а не данности – действительно необходимое условие (о чём тоже говорится давно – Костюков ограничивается словами Адамовича, а мог бы вспомнить Бланшо или Шкловского), но далеко не достаточное. У проблемы могут быть разные решения, может быть, позволяющие что-то увидеть, может быть, возвращающие в прежний круг. Во всяком случае, "чересчур личное, заряженное отношение к продукту своего творчества, неврастеническое честолюбие" представляется имеющим отношение только к биографии, а не к взгляду (не к поэзии)».

Антон Маргамов (г. Екатеринбург):

«Поэт любитель VS Настоящий поэт. "Я никогда особо не понимал своих стихов, давно догадываясь, что авторство – вещь сомнительная, и всё, что творится от того, кто взял в руки перо и склонился над листом бумаги, так это выстроить множество разбросанных по душе замочных скважин в одну линию, так, чтобы сквозь них на бумагу вдруг упал солнечный луч" (В.Пелевин "Чапаев и Пустота)". "Поэт – это философ конкретного и живописец абстрактного" (В. Гюго)... Ну что ж, классификация поэтически увлечённых индивидуумов (в дальнейшем, для краткости, предлагается именовать их, прости Господи, поэтами) у г-на Костюкова имеет место быть, а раз так, то рассмотрим это "быть" попристальнее. Что же мы имеем? А имеем мы следующее! Ту группу товарищей, которая подвержена влияниям извне, кои в народе принято именовать *вдохновение, муза*, а в некоторых наиболее продвинутых областях и *просветление* (рассматривать в данном контексте прочие вербальные восприятия, возникающие у "испытываемого" в результате различных т.н. "магнитных бурь" и прочей политкорректной и не очень сейсмической активности, спровоцированной хронической сексуальной неудовлетворённостью, заработной платой и иными материальными благами мира, гарантирующими более или менее сносное в этом мире существование, смысла не имеет), автор статьи классифицирует, подразделяя на категории, обозначенные им как "поэт-любитель" и "поэт настоящий". Коим в контексте его (автора статьи, то бишь) клас-

сификации соответствует ряд приличествующих и ярко выраженных признаков. Причём признаки развития, движения и прогресса наличествуют только у первой категории поэтических граждан, любителей. Потому как "настоящий" поэт являет собой некий симбиоз буддиста и просветлённого даоса, попутно начитавшегося Екклесиаста. "Всё суета сует...". А поэтому, достигнув определенного уровня просветления, настоящий поэт уходит в своеобразную нирвану (не путать с рваниной, состоянием, которое так, или иначе также сопутствует "настоящему поэту" на протяжении его жизненного цикла), отгораживается от внешнего мира и только и занимается тем, что ничем не занимается, этакое "умное неделание" мрачного лирического героя, в ореоле романтизма! Безусловно утрирую, но от классификации, которую нам предложили, папахивает чем-то в некотором роде дарвинистическим, этакая, а-ля поэтическая теория видов. Мой мозг категорически не приемлет такого положения вещей, порождая волны "пролетарско-праведного гнева...". Особенно сильными эти "волны" становятся при употреблении категории "профессионал", определяемой автором как "умеющий зарабатывать своим делом энное кол-во денежных единиц", и чем так сказать больше, тем и профессионализм ярко выраженной! Ей Богу, сии категорические подразделения, мягко говоря, смущают! Сугубо практически-материалистические взгляды на мир поэзии вообще и на поэта в частности неприемлемы... Да, в современном мире прокормиться своим талантом (если это только не таланты банкира, брокера и т.п.) практически невозможно, как, собственно, невозможно было сделать этого и ранее, на протяжении всей человеческой истории! С красивых строчек сыт не будешь, но подводить под категорию профессионализма этаких Ляписов-Трубечных, отрабатывающих гонорары "Гаврилой почтальоном, хлебопеком и т.п." – грубейшее нарушение действительности. В поэзии, как и в остальной классике жанра, именуемого как искусство, всё просто, есть талант, и есть бездарность, всё прочее вода!.. Рифмование и стихоплётство, иже графомания, ничего общего с настоящим искусством не имели и иметь не будут (в японской поэзии вообще рифма отсутствует и чего?), равно как и с профессионализмом. Так как профессионал, это не тот, кто больше зарабатывает, а тот, кто лучше делает!.. Итак, выводы я для себя сделал следующие: статья написана на "троечку", общее впечатление от основной фабулы автора можно охарактеризовать как его невысказанную мысль: "Ударил бы я вас, но страшно замараться...". Или нечто вроде того! И вообще, как мерило материальности может измерить такую нематериальную субстанцию как талант?».

Виталий Андрущенко (г. Полтава):

«Могу сказать пару слов – не о статье, а о том, о чём в ней написано. Т.е. об установлении ещё одних рамок и категорий в ещё одной сфере жизни. Человек, конечно, очень склонен к осмыслению всего подряд – реальность в виде неразделимой целостности ему не подходит, и он делит её на предметы, уровни, категории и т.д. В каких-то областях это

оправдано – но давайте хотя бы что-нибудь оставим таким, как оно есть, без всяких определений!.. Поэзия (и вообще, любая литература) хороша в своём диком, ничем не обусловленном виде. Возможно, кто-то, начиная стих, и думает: "Ну вот, ещё один мой графоманский (или любительский) шедевр", а кто-то тайно считает, что у него уж точно профессиональный уровень и высокий талант. Наверно, всё же многие как-то оценивают свою поэзию – и почти знают, как бы другие отнеслись к ней. Но хотелось бы, чтобы поэзия была только непрофессиональной, чтобы в ней не было никаких стандартов; и для этого надо сразу отказаться от установления особых областей – мол, вот будь любителем, и пускай тебе будет уютно в своей ячейке, а хочешь быть профессионалом, изволь соответствовать. Люди знают, что такое стихи, – и пускай каждый, кто хочет писать, пишет, как и о чём хочет. Автору должно быть важно написать – именно то, что он хотел; второе дело – показать это (может, отправить в редакцию или выложить на сайте), что совсем не обязательно, по желанию. Ну и если это нечто уже выставлено, доступно определённым людям, то и пусть они уже делают со стихом всё, что захотят). Кому-то понравится, кто-то скажет: "О, это совсем бездарно", кто-то разглядит не слог, а смысл. Любкой, кто критикует, так же ответствен за свои слова, как и автор за своё творение. Только в такой свободе возможно развитие литературы – и она, мне кажется, есть, и в интернете, и в меньшей мере, в печатных изданиях. Ещё существуют ниши – но они уже не так официальные, это скорее мнения отдельных людей. Что говорить – уже давно печатают романы восемнадцатилетних фантазёров, то, что раньше можно было только несколькими друзьям показать, прочесть. И что главное – есть читатель! Так что можно только наслаждаться этой свободой самовыражения или, по крайней мере, наблюдать за этим: за дерзостью и выдумкой одних, за тем, как другие упииваются этим, – и ждать, когда начнёт возвращаться более изысканная и "плотная", что ли, литература, где каждое слово имеет определённый вес и где какая-то изначальная суть более важна, чем некий развлекающий эффект.. Забудьте, я не говорю: "настоящая литература"!..».

Сергей Киروشка (г. Санкт-Петербург):

«Воспитание любителей? Любовное вразумление? Конечно, только адекватной части армии любителей. Что же делать?! Достали уже эти "любители". Создают хаос в литературном доме. Подавляют своей бестолковой массовостью. С ними не знаешь, что делать. И обижать нехорошо – *"любовь к поэзии не идёт по разряду губительных страстей. Она не мешает, а помогает жить, даёт человеку ещё одну отдушину, ещё одно прибежище в трудную минуту. Она не разрушает семьи, не ведёт к алкоголизму и суициду, как это иногда случается с известными поэтами"*. Но и мириться с бестолковыми любителями в собственном обустроенном доме невозможно. Это как "Жизнь с идиотом"... **Классификация "поэтов"** (как это понято из статьи Костюкова): 1). То, что пишут профессионалы – не поэзия, а стихи. 2). Поэт-любитель – вообще никто: ни поэзии, ни добывания денег. (Или



всё же и у них присутствует иногда поэзия? Хотя тут же — что это такое? Для одних это поэзия, для других — коврики с лебедями и слоники на комоды. 3). Графоман изводит бумагу и чернила. 4). Настоящий поэт — талантливый графоман: кроме макулатуры порождает ещё и стихотворные тексты, которые помимо того, что их можно отнести к поэзии, ещё и открывают что-то новое в этом деле. Настоящий поэт добывает не просто крупицы поэзии, он куда-то сдвигает литературу. Как есть выдающиеся спортсмены, которые на крохи секунд или сантиметров улучшают мировые рекорды. . . Можно, наверное, и так всё понимать, хотя от такой классификации тоскливо делается. И всё же по-любому стихийное стихопорождение будет продолжаться. И вряд ли кто-то способен упорядочить эти процессы. . . За рамками статьи остались гораздо более насыщенные и интересные вещи: как разбираться в хаосе постоянно порождаемых стихотворных текстов? А судьи кто? Что делать пишущему народонаселению в этом — возможно, соответствующем реальности — жёстком раскладе? А что вообще с поэзией? Она есть или её так нет? Что это вообще? Интересует она кого-нибудь? Имеет она самостоятельную ценность? И так далее. . . Какой-то морок — двигать куда-то искусство, литературу! От избытка литературоведческой образованности. Может быть, вообще бросить это дело или, по крайней мере, временно остановиться? Некоторые, к примеру, вообще считают, что литература, музыка и прочие искусства выполнили свою функцию и тихо умерли. . . "Но как же так! Таковую очередь отстояли, столько душевных сил затратили, сколько времени убили! И что? Магазин закрывают!? Всю эту литературную лавочку. К едрене фене!"»

Александр Очеретянский (г. Фэйр-Лоун):

«Нет поэтов с приставкой. Есть поэты и не-поэты. И неважно, делают поэты деньги на своих стихах или не делают. Как правило — не делают, но как везде и всюду, имеются свои исключения (По аналогии, Пикассо делал деньги при жизни, а Ван Гог стал зарабатывать только через сто с лишним лет после смерти). Поэты пишут стихи. И не-поэты стихи пишут. То, что пишут поэты — остаётся. Как долго — не знает НИКТО. Всевышний знает, конечно, но молчит. . . То, что пишут не-поэты, можно было бы и не писать, но нельзя было не написать, потому что это надо в первую очередь самим пишущим. И тем, и другим — не написать, всё что равно что не опохмелиться. В России скажешь так, поймут. Кто решает: кто есть КТО? При жизни — соотечественники-поэты. После жизни — Время. Время и ещё раз время. . .»

Олег Завязкин (г. Донецк):

«Реплика. Сыздетства имею дурную привычку читать с конца — " . . . поэзия — незавидное, сумеречное, болезненное дело горстки отщепенцев. И не надо стремиться туда без крайней необходимости". Эти короткие слова хочется взять эпиграфом ко "всерусскому компендиуму словесизышных", буде он родится. Иначе — и точнее! — сказать нельзя. "Арсенал настоящего поэта пуст — он начинает с нуля, с немоты,

с жёсткого кризиса языка» — ещё одна фраза, подлинный смысл которой ещё предстоит уяснить. Русская (и русскоязычная) поэзия наконец-то заняла положенное ей от природы место — примерно такое, как в англоговорящих странах: количество качества переросло в качество количества, и это ещё одна победа вечнозелёной марксистской диалектики. . . »

Владимир Тучков (г. Москва):

«Статья прекрасная! Как прекрасна и любая утопия. Однако мы движемся совсем в другую сторону. Поскольку нормальный поэт-любитель, произведённый заметным для невооруженного взгляда тиражом, может появиться лишь в результате определённых педагогических мероприятий. Как это было в старину в гимназиях или теперь в западных университетах, где существуют семинары по литературной практике. . . Он должен усвоить три вещи. Историю мировой поэзии. Практику версификации. Но главное — поверить обладающему непрерываемым авторитетом преподавателю, что он является поэтом-любителем, а не тем, кто рождён для вдохновения и т.д. Первый и второй компоненты можно освоить при помощи самообразования. Однако поверить в свою "заурядность" ему будет непросто, поскольку такие деликатности возможно принять лишь при установлении определённого душевного контакта с критиком-советчиком. . . Ситуация усугубляется ещё и тем, что при нынешней премиальной свистопляске, когда сбиты критерии качества, всякий потенциальный поэт-любитель может заявить: "а у меня не хуже!". И начнет "выбиваться" в настоящие поэты. . . Так что массовый призыв в данную околотитулярную категорию вряд ли возможен. И это хорошо. Поскольку, вняв советам автора статьи, новоиспеченный поэт-любитель будет сильно разочарован. А то и душевно травмирован. Поскольку сведения о рынке "стихов на случай и текстов для шоу-бизнеса", которые "пишут на заказ сидящие в провинциальных конторах" любители, ставшие профессионалами, чудовищно преувеличены. Что, впрочем, понятно и естественно для жанра утопии. . . Мне, конечно, понятны мотивы, которые подвинули автора к данному сочинению. Они гуманны — канализировать должным образом душ прекрасные, но несостоятельные порывы. То есть он попытался выступить таким психотерапевтом, который сделает счастливыми тысячи ощущающих себя несчастными сочинителей. И тут хотелось бы посмотреть, как господин Костюков взялся бы объяснить небезызвестной Верочке, что её призвание — сочинять рифмованные тосты для нефтяных корпораций. Да она ему глаза выцарапает! Как она уже обошлась с двумя прекраснотушными пропагандистами своего творчества — Житинским и Быковым».

Татьяна Доманова (г. Барнаул):

«Поэт или . . . полу-поэт? Не претендую на абсолютное понимание автора и адекватную оценку плодов его творчества, протестую против всякой возможности объективности в принципе, хотелось бы всё-таки возразить. Классификация поэтов на любителей

и профессионалов напомнила мне вечную тему "Модарга и Сальери" у "профессионала" А.С. Пушкина. Гений самодостаточен. Какие бы губительные страсти им не владели, он — избран, он боговдохновенный скриптор, которым лишь в редких случаях при всех стараниях и добродетелях может стать скромный трудяга-стихотворитель. Главное, чтобы этот трудяга не страдал комплексом непризнанного гения! Вряд ли "поэту по складу души" так необходимо восхищение толпы. . . Сама попытка рационального разграничения любительства от профессионализма сомнительна. Воспринимая чьи-то произведения, мы ориентируемся на свои представления (читай: стереотипы), вкус (который индивидуален), жизненный контекст (который также неповторим и определяет восприятие всей поступающей информации). В результате имеем дело лишь с отдельно взятым мнением. Фраза "это плохое стихотворение" заведомо неверна, можно лишь сказать "это стихотворение мне понравилось". Каждый раз "изнутри" оценивая "живое стихотворение" нужно иметь в виду, что его интерпретация безгранична. Да и что по существу отличает любителя от профессионала? Определённое количество написанных строк? Заработанных денег? Или речь всё-таки идёт об общественном признании, социальном статусе, ярлыке типа "член Союза писателей"?.. Система бытования поэзии — это не общественный институт. Поэзия — как сама жизнь, ни в какие системы не укладывается, её законы непостижимы разумом. Выбор счастливицы, ставшего баловнем толпы, иногда совершенно случаен: тот же Иннокентий Анненский — неизвестный поэт при жизни, признанный гением лишь сейчас, и многие другие — известные среди современников, но забытые потомками. . . Совсем непонятно, почему упоминается в статье Максим Фадеев и Константин Меладзе. Шоу-бизнес — это совершенно иное пространство. Тогда давайте запишем в поэты и авторов рекламных слоганов! Тем более — в поэтов-профессионалов. По этой логике бедный дворянин Пушкин — всего лишь поэт-любитель. Вряд ли гонорар можно считать мерой профессионализма. Огромные деньги и огромный талант — две линии, которые могут и не пересечься, но талант, повторяюсь, самодостаточен. . . Смотрю на классические произведения и никак не могу назвать их авторов "горсткой отщепенцев". Это с ноткой горечи определение — всего лишь сетование на аутсайдерство в обществе. Если таланта маловато, нужно честно себе в этом признаться, не загибая претензии и не уподобляясь "маленькому человеку", мечтающему о большой славе. Поэту нужен, конечно, читатель, адекватно его понимающий и способный к диалогу. Но, как правило, поэт в своём переживании одинок. Чаще его алкоголизм, суицид именно от этого. . . Гений единицы, их понять дано далеко не каждому, поэтому в своих оценках нужно быть очень деликатным. Непризнанный гений или бездарность? На этот вопрос может ответить только время, а никак не человек, пусть даже доктор филологических наук. "Народ, который не умеет читать своих поэтов, заслуживает... Да ничего он не заслуживает — пожалуй, просто ему не до них. Но какая разница между чистым незнанием народа и полужнанием невежественного щёголя! Готтентоты,

испытывая своих стариков, заставляют их карабкаться на дерево и потом трясут дерево: если старик настолько одряхлел, что свалится, значит, нужно его убить. Сноб копирует готтентота, его излюбленный критический приём напоминает только что описанный. Я думаю, что на это занятие нужно ответить презрением. Кому — поэзия, кому — готтентотская забава", — писал довольно точно, по моему мнению, Осип Манделштам».

Снежана Малышева (г. Киев):

«Леонид Костюков во многом прав, то есть это его суждение вполне можно было бы принять за некую отправную точку в рассуждениях. Вся проблема в том, что творческие процессы любого уровня, будь это опыты первой рифмовки или муки, как верно замечено, невыразимости у Поэта, имеют одно общее качество, это процессы текучие, не статичные. Отсюда классификация возможна, только с той точки зрения, когда эти процессы уже замерли, то есть или уже все умерли, или мы условно остановили процесс на каком-то этапе. . . В силу текучести творческого процесса, способного даже видоизменять саму творческую личность, поэт-любитель может дорасти до уровня Поэта-Творца, и Поэт-Творец в силу некоторых обстоятельств может превратиться в поэта-песенника, патриота или ещё кого-нибудь сходного с любителем или же профессионалом. . . Поэтому можно принять некоторые критерии, представленные Костюковым, как основополагающие в классификации, но с оговоркой, что они относятся не к человеку (занимающемуся стихосложением) вообще, а к моменту жизни человека, в котором творятся данные произведения. Если индивидуум, на момент создания произведения уже достаточно овладевший ремеслом стихосложения, ощущает некоторую неспособность выразить желаемое (так называемые муки творчества), то можно говорить о подлинном рождении нового, что соответствует Поэтическому творчеству с большой буквы. . . Но существует и следующий этап. Когда открытие Нового становится естественным как дыхание. . . Ну а в том, что любое творчество полезно для личности и в конечном счёте для общества, у меня сомнения нет. Поэты-любители разносят семена поэзии по миру. Конечно, не будь Поэтов-первооткрывателей, нечего было бы разносить поэту-любителю. Но не будь поэтов-любителей, достижения поэтов-первооткрывателей не сотворили бы должного резонанса в обществе. . . Моя формула большого Поэта заключается в сочетании трёх компонентов: мастерство стихосложения, высокий Духовный уровень личности, повышенная чувствительность к действительности».

Ольга Подлесная (г. Харьков):

«В целом согласна с автором статьи — жуткое количество воинствующих профессиональных графоманов требует какого-то определения "настоящего поэта". С другой стороны мастерство, т.е. та область, в которой можно "расти и развиваться" — необходимое условие наличия настоящей поэзии и вовсе не признак графоманства! Правда, именно оно — мас-



терство – приобретается только при условии "любви" к поэзии вообще – чужой, не своей, поэтому любитель – знающий, читающий, чувствующий – он, наверное, и есть – так ли я поняла автора статьи? – настоящий поэт?.. И ещё: "А поэзия незавидное, сумеречное, болезненное дело горстки опщепенцев". (А как же Бородино, Скифы, Онегин? – это я по поводу сумеречного и болезненного). "И не надо стремиться туда без крайней необходимости". – Вот с этим согласна на 101 процент – с 16 лет обучена на литстудии: можешь не писать – не пиши! В том и беда, что не могу! Пишется! Поэзия – редко, стихи куда чаще. Но ведь и у моих любимых классиков 10-15 стихотворений – любимые, а остальные – мимо? С уважением к автору статьи – любитель-графоман Ольга Подлесная».

Александр Приймак (г. Харьков):

«**Любитель и нелюбитель.** Опустим очевидные банальности... Признаем и то, что раньше кое-что было лучше. Равно как и существование пресловутого племени "физиков-лириков"... Перейдём к менее избитому. Действительно – практически каждый заинтересованный ценитель, скорее всего, пробовал свои силы в любимом деле. Но слово "любитель" имеет более, чем две стороны, или, может быть, что не менее важно, следствия. В нашем случае – один и тот же человек *любит* и читать стихи, и пробовать их писать... А вот другой человек может и не любить писать, но любит быть опубликованным, "тусоваться", считаться, и, если повезёт, получать премии и... гонорары. Причём, частенько таковое поведение и желание совпадает на его "счастье" со встречными желаниями окружения. Порой это бывает "коллективно подсознательным", или даже вполне осознанным желанием определённого круга читателей, критиков, издателей – "новежко-го... Я уж не говорю о "рейдерстве" в литературе. Когда действия названного круга или, если угодно, клана лиц определяются в первую очередь вопросами землячества, знакомств, более или менее сиоми-нутной или же достаточно долговременной выгоды. Литература в данном случае является лишь поводом, средством... Иногда – и целью. И иметь в виду вовсе не фантазийную цель, например, людей, относящих себя к заветному "золотому миллиарду". Для которых важен принцип "разделяй и властвуй". Для этого вполне подходит и литература, равно как и другое "массовое искусство"... Следующий небанальный вопрос. Кто служит в храме? Который, кстати, является таким актуальным для любого храма. Собственно теологического включительно... С чего начал И. Христос? Изгнал торговцев из *храма!* Этот вопрос остро актуален и для литературы... Разумеется, в литературе, кроме собственно литераторов, извините за выражение, – производителей литературы, это ещё и её подвижники-посредники – критики, редакторы, издатели, преподаватели. И поэты-любители, поддерживающие её традиции. И даже нелюбители, но которые ею так или иначе занимаются. Иногда даже – профессионально... Реминисценция из Пушкина: "*И славен будучи, доколь в подлунном мире, / Жив будет хоть один пиит*". Неслучайно в оригина-

ле Горация – пока жреп будет вводить чистую деву в Капитолийский храм. Ибо в древности вполне привычным было существование прихрамовых прститутков. Которые во всех разновидностях существуют и в литературе... "*Не от хорошей жизни / начинают писать стихи / Поэзия – дело капризное / Поэты – сыны стихий...*»

Гурген Баренц (г. Ереван):

«Леонид Костюков взялся на трёх страницах "объять необъятное", взялся препарировать, анатомизировать сущность "высокой болезни" "стихотворчества". Ещё одно сломанное копыё, которое метило "в яблочко", но, на мой взгляд, не попало, да и не могло попасть – хотя бы в силу зыбкости и расплывчатости цели и задач его заметки. Активное неприятие вызывает сентенциозность и претенциозность изложения дискуссионных мыслей, то, что Леонид Костюков выдает довольно спорные замечания за истину в последней инстанции. "...Любовь к поэзии... не связана с диким (!?Г.Б) эгоцентризмом и самовлюбленностью, характерными для лирического поэта", – считает автор заметок, не подозревая, что этот "наезд" на лириков вполне может быть адресован ему самому. Если "внутренняя культура помогает поэту-любителю не перепутать с работой поэта-новатора", значит, поэт-любитель не графоман, значит, он не "болен" "словотворчеством" и знает "свое место", но тогда просто непонятно, с какой целью он наводняет интернет-пространство своим любительским творчеством. Автор убеждён, что "надо на внятном качественном уровне разграничить позиции поэта-любителя и настоящего поэта". Час от часу не легче: автор призывает к внятности и при этом говорит совершенно невнятно. Где это разграничение, где водораздел, кто, наконец, определяет границы между любительской и профессиональной поэзией? Автор заметок даёт настоящему поэту определение "талантливового графомана", вероятно, считая, что такое определение ошеломит, оглушит читателя своей парадоксальностью и поэтому будет благополучно "проглочено". Но словосочетание "талантливый графоман" – это элементарный нонсенс, между этими словами происходит "короткое замыкание", они не могут "мирно сосуществовать" – хотя бы потому, что графоман изначально, по самой природе своей не может быть талантливым, а если он талантлив, то уже не графоман. Возможно, не "настоящий поэт", не профессиональный поэт, всё, что угодно, даже "поэт-любитель", но только не графоман. В нашем сознании графоман это бумагомаратель и борзописец, человек, пишущий легко и легковесно... Но даже если мы допустим, что есть такая категория талантливых графоманов, то совершенно непонятно утверждение Леонида Костюкова, что "талантливый графоман остаётся талантливым графоманом". А почему он не может эволюционировать в "настоящего поэта"? Ведь он же не простой графоман, а – "талантливый"... Эту полемику с автором можно было бы продолжить, благо, он даёт для этого большие возможности, нешадно эксплуатируя формальные парадоксы (всё те же нонсенсы) вроде "арсенал выразительных средств" у любителя "богат", а у настоящего по-

эта – "пуст". Интересно, а как быть с "талантливыми графоманами", ведь они, по трактовке и определению Леонида Костюкова, не попадают ни под одну из этих категорий?.. Совершенно непонятным и неприемлемым представляется мне и определение профессионализма в литературе. Не секрет, что наше время для профессионального писательства не просто нелётное, а самое что ни на есть мерзопакостное, литература, поэзия кормит только классиков и элиту. Но означает ли это, что человек, полностью посвятивший себя поэтическому творчеству и в силу этого бедствующий, прозябающий и невостребованный, во многом неадекватный и "не от мира сего", не зарабатывающий на жизнь и не способный быть кормильцем в семье, и вызывающий нарекания и насмешки в кругу преуспевающих знакомых банкиров, бизнесменов и олигархов, является "любителем"? Это не вина их, а беда. Это примета времени, конкретная и поганая (я смотрю из своего окошка, извините). Помните анекдот: "Обезьяна – самец, а мужчина – тот, кто деньги зарабатывает"? Ну не зарабатывают денег литературным трудом очень многие наши замечательные поэты, в том числе и перечисленные автором заметок, но нужно ли и можно ли называть их "самцами", извините, непрофессионалами? Бедствуют, не зарабатывают на жизнь многие известные актёры (не путать со звёздами шоу-биза), музыканты и художники, – и что же, всех их скопом назовём любителями? В своё время советских хоккеистов и футболистов также именовали "любителями", а на поверку вышло, что они "профессиональнее" официальных "империалистических" профессионалов... Завершая свои "заметки на полях" (вернее, прерывая их, поскольку проблемы востребованности, читаемости современной русской поэзии многогранны и неисчерпаемы, взять быка за рога автору полемической статьи не удалось, да и вряд ли кому-то удастся, а порхать бабочкой над этой болевой темой не считаю приемлемым), хочу поделиться одной своей заботой. То, что поэзия должна быть "глуповатой" (именно в пушкинском понимании), бесспорно и самоочевидно. Но многие редакторы серьёзных литературных изданий на дух не переносят традиционную поэзию. Всё чаще и чаще мне приходится получать вежливые советы – дескать, ваши стихи совершенны по форме, в них всё на месте и образы яркие, но нам нужно, чтобы был минимум смысла и максимум артистизма. Они с удовольствием публикуют поэтическое ёрничанье, словотворческую эквилибристику, жонглирование словами и метафорами... Это тоже высокая поэзия, и я никогда не позволю себе говорить о ней свысока или называть её словоблудием. Она, безусловно, интересна и самодостаточна, но при этом не должна заслонять собой стихи, написанные "без фокусов". Не хочу выглядеть ханжой, у меня никогда не было проблем с восприятием модернистов и новаторов, но если талантливые молодые поэты станут "наступать на горло своей песне", станут "прогибаться", подстраиваться под вкусы и требования издателей, то они со временем неизбежно потеряют свой стиль, своё лицо и свой голос. Модернистами и новаторами они не станут, а себя наверняка потеряют».

Юрий Угольников (г. Москва):

«Кто такой настоящий поэт? Человеческие представления о поэзии, искусстве, творческом даре вообще довольно сильно напоминают христианскую идею искупления грехов и спасения. Христианство дало две противоположных идеи спасения: первая состоит в том, что человек сам может его достичь, что своими делами он прокладывает себе дорогу в рай. Второй – спасутся только те, кого сам бог избрал для спасения (так полагают протестанты). Такие же два взгляда возможны и на поэзию: первый – что можно научиться писать настоящие стихи и второй – что стихи пишут только избранные (своеобразный поэтический или культурный протестантизм)... Леонид Костюков предлагает подход, близкий ко второму, но близкий лишь отчасти. Этика протестанта требует от него постоянного совершенствования в своём призвании – в своей профессии, потому что никаких гарантий того, что именно он избранный, у него нет, он должен самому себе постоянно доказывать избранность. Напротив, Леонид Костюков, ссылаясь на Георгия Адамовича, как бы даёт амнистию круту избранных – "настоящих" поэтов – раз "поэзия для настоящего поэта невозможна", то и доказать себе как бы то ни было свою к ней причастность так же нельзя, да, в сущности, и не нужно. Настоящий поэт обязан быть непрофессионалом. Более того, он, по-видимому, обязан писать всё хуже и хуже, потому что у настоящего поэта "арсенал пуст", и как только он наполняется, а он не может не наполняться, ведь существует же банальный опыт, который можно преодолеть только при полной амнезии. Однако, что подразумевается под "пустым арсеналом", и как он связан с "невозможностью поэзии"?.. Я не собираюсь оспаривать Георгия Адамовича – с моей стороны это было бы большой дерзостью, но всё же, что подразумевается под "невозможностью поэзии"? Это вовсе не отрицание традиции и не невозможность обратиться к ней и её продолжить, это не "пустой арсенал", скорее, это недостаточность арсенала. Попробуйте изъять из стихотворений, скажем, И. Бродского все отсылки и аллюзии, разорвать его связь именно с традицией – это невозможно: "арсенал" Бродского огромен, и больше чем у многих "профессиональных" и даже "настоящих" современных поэтов. Конечно, если мы оставим только традицию, то много в Бродском мы не поймём, но без неё Бродского не существовало бы. Недостаточность арсенала и его отсутствие – вещи разные. "Невозможность поэзии" – не отрицание традиции, мастерства и профессионализма, в конце концов. Скорее это максимальная сложность своего личного высказывания – невозможность говорить также, теми же словами, тем же языком, что и прежде. Ощущение невозможности может быть вызвано разными причинами: глубочайшим пиететом перед традицией или же пониманием её непригодности, но это не столь существенно. Кроме того, с ощущением невозможности личного высказывания борется и другое – то есть, невозможность отказать от него, от этого *высказаться* – внутреннее графоманство, которое, как пишет Леонид Костюков, наличествует в каждом настоящем писателе и поэте. И кто знает, в какой



пропорции они смешиваются: может и того же упомянутого Леонидом Костюковым Ильёв Резника, нет-нет да и посетит всё же ощущение невозможности личного высказывания — ну, вдруть?.. Арсенал поэта-любителя максимально богат, но разве этот так: разве кто-нибудь смог бы органично сочетать, скажем, поэтику Велимира Хлебникова, Павла Родимова, Всеволода Емелина, Агнии Барто, Михаила Кузмина и Владислава Ходасевича. Да это был бы настоящий творческий подвиг! Уникумы, которые, как Данила Давыдов, признают, что "ни одна блоха не плоха" (что все поэты и все стилистики равноправны) — единичны. Да и то, сам Данила Давыдов пишет во вполне узнаваемой манере. Даже профессиональные любители: критики и филологи сильно отличаются во взглядах на литературу, как, скажем, разойдутся взгляды профессионалов на такую фигуру, как Всеволод Емелин — один критик причислит его к лику поэтов, другой изгонит из литературного сообщества вообще, и оба критика останутся профессионалами... "Всего опыта, накопленного отечественной поэзией" — не существует как данности. У каждого автора будет свой опыт, и свои ориентиры, будь то "настоящий" поэт или "любитель поэзии". Разумеется — с высоты птичьего полёта кажется, что всё, что ниже баобабов — одинаково, но если спуститься ниже, кустик от кустика сильно отличается, и Максим Фадеев — это уж никак не Андрей Дементьев... Так что же, Илья Резник — настоящий поэт? Не знаю — не читал. Доверяя вкусу Леонид Костюкова, могу согласиться, что, скорее всего, нет — не поэт. Но при этом Владимир Маяковский, который создавал на заказ стихи не менее механические, чем у Ильи Резника, всё же и в последние годы жизни оставался поэтом, Александр Блок, который писал своим знакомым чудовищные, автоматические посвящения в альбом, оставался настоящим поэтом, а половина из лауреатов премии "Поэт", такие же настоящие поэты, как Илья Резник. Конечно, о Маяковском, о Блоке можно сказать, что когда они писали механические опусы, они переставали быть "настоящими поэтами" и становились простыми ремесленниками, но можно ли в них ремесло отделить от "настоящего" поэтического дара? Были бы Владимир Маяковский или Николай Гумилёв "настоящими поэтами", если бы не были при этом и ремесленниками? Более того, если вернуться к той же премии "Поэт", я уверен, что есть масса современных, настоящих поэтов, которые эту премию не получали и никогда не получат, но при этом останутся Поэтами. Каких премий (кроме школьного приза за хорошее стихотворение на латыни) при жизни был удостоен Артур Рембо? Но это, конечно, частность... Из тезиса о "пустом арсенале" следует, что для настоящего поэта творческий рост невозможен. Но есть масса примеров, опровергающих и этот тезис. Сейчас речь исключительно о моём вкусе и частном мнении, и всё же, мне представляется, что ни Иосиф Бродский, ни Владислав Ходасевич, ни Николай Гумилёв в начале своего творчества не были "настоящими поэтами", и то, что они стали такими — результат совершенствования в ремесле. Конечно, они могли бы так и остаться посредственными писателями: овладение техникой ничего не даёт, но и отказ от техники, от ремесла, от

профессионализма так же не даёт ничего. Условно говоря, и на указанном месте Илья Резник может внезапно оказаться поэтом. У избранности нет и не может быть никаких гарантий, никакая внутренняя мотивация её не оправдывает и ей не противоречит. Не существует объективного критерия, позволяющего отделить раз и навсегда любителя и профессионала от настоящего поэта, его нет. Пока росток только проклёвывается из зерна, определить, вырастет ли из него дерево, или только куст — сложно.

Аркадий Перенов (г. Улан-Удэ):

«Позиция автора правомочна. Но эти споры: графоман — не графоман! — увы, надоели. Согласен, что подобные вещи, которые пишет г-н Резник — не очень высокого полёта. Поэт-песенник. Поэт-каламбурист. Поэт шарад. У Олеси в романе "Зависть" один из героев — Иван, поэт-куплетист, сочиняющий на злобу дня. Страшно становится от писания подобных поэтов. Но я также не приемлю термина "поэт-профессионал". Дикость какая! Поэт — это как надоевшая аксиома — состояние души. Вообще я отсылаю всех на блог Антона Нечаева (Красноярск): я ему летом давал интервью о Поэзии и месте поэта в материальном мире. Автору статьи кланяюсь за равнодушные и цельность. Bravo, Леонид!»

Ирина Акс (г. Нью-Йорк):

«Ну, до конца первой страницы вроде и спорить не о чем: да, ценителей высокого искусства в мире немного, и потребителей шлягеров умца-умца и творений Асадова несравненно больше, чем ценителей Музыки и Поэзии. Наверное, среди сидящих в зале Филармонии большинство с детства приучены, в музыкальной школе учились, сами музицируют (а чтоб поспу в кабаке слушать — никакой подготовки не надо). Тут всё верно... Про любителей-ремесленников, сочиняющих мыльные "поздравлялки" и капустники — тоже всё верно. Про профессионалов (ремесленники из п.1, сумевшие "раскрутиться" и зарабатывать этим ремеслом) — тоже всё очевидно. Они зачастую пишут хуже любителей бескорыстных, просто оказались удачливей. На какой-нибудь Стихире девять из десяти — не хуже Асадова (и не лучше). Тут тоже спорить не о чем... Итак, "не-поэзия" определена вполне точно. А вот Поэзию, разумеется, определить оказалось несколько сложнее. Для стройности классификации пришлось "вычеркнуть из поэтов" Губермана (наверное, и Заходера, не говоря уж о каком-нибудь Юлии Киме) — всех тех безусловно талантливых сочинителей, которым не свойственны "страсть к письму, чересчур личное, заряженное отношение к продукту своего творчества, невзрачное честолюбие". Вспоминаю признание Юрия Левитанского (из его дневников): "стихи прибывают очень медленно". То есть — не было у него графоманской жадности "настоящего поэта"... Ну и как определить — кто "настоящий поэт", а кто — "раскрученный профессионал"? Только вот не надо про "престижнейшую" премию "Поэт" и другие формальные критерии! Званий этих престижных — больше, чем поэтов, и, как написал Заходер, "иногда не в силах

Комитета поэта отличить от непоэта". Там тоже люди, в жюри в эних. Окажутся среди судей те, кто полагает, что "поэзия – несправедливое, сумеречное, болезненное дело" – и одному "сукину сыну" с его всеёлой лирой, почитай, ничего не светит... А мало ли критиков солидных, которые именно названных в статье лауреатов (Кушнера того же) за поэтов не почитают?.. Я бы, пожалуй, иначе черту провела, раз уж есть охота классифицировать. По оси абсцисс – профессионализм (ремесло), по ординате – то, что зовём "искрой божьей". Ибо может быть "настоящий поэт", который всё-таки творит полную фигню. А может быть высочайший профессионал, у которого есть все, кроме того неумовимого, без чего нет поэзии. И есть великое множество промежуточных вариантов... Леонид Костюков настаивает на том, что множества эти – "поэтов" и "стихослагателей", творцов и ремесленников – не пересекаются, что это в принципе разные люди. И пока мы говорим о крайних точках (с одного края – Бах, с другого – автор песенки "Зайка моя, я твой козлик") – всё очевидно. А куда отнесём Штрауса? Кальмана? А Андрея Петрова? Ах, всё ещё к "творцам"? Тогда идём дальше: Берковского? Горюхиного? (я по-прежнему о музыке)... Велик соблазн одним росчерком пера разделить ритмические-рифмованные тексты на "поэзию" и "непоэзию", найдя и назвав точный критерий, только вот – увы, не выходит. Да и критерий этот остался у автора статьи за скобками где-то. Кроме "престижнейшей премии" и внешних примет вроде "неврастенического честолюбия", с которыми как-то трудно согласиться – никаких рецептов отделения чистых от нечистых... В общем, обманули, как водится. Пообещали, завлекли – да так ничего нового и не сказали...»

Марианна Сантос (г. Рио-де-Жанейро):

«В моём небольшом жизненном опыте есть встречи с поэтами-любителями. Они писали стихи, совершенно не зная про размер и ритм. У них складывалось всё то, что любой из нас может совершенно легко придумать. Знание же литературы, я думаю, у них было на школьном уровне. Это не исключает, что в таком "простонародном" поле не будет талантов. Будут. Но сейчас, к сожалению, любой, кто мало-мальски может срифмовать пиво-диво, могут стать поэтами, писать корпоративные гимны или рекламные слоганы. Даже песни, которые будут нравиться, но, к сожалению, в историю литературы и поэзии это вряд ли войдёт. Они дорастут до профессионалов, но если на их пути не появится тот, кто им поможет или скажет, что писать стихи – не их призвание, тогда такие любители смело могут превратиться в настоящих поэтов. Наше современное культурное поле не требует от поэтов чего-то талантливого, ведь вкусы у многих сейчас очень средние, как и запрось».

Наталья Манохина (г. Киев):

«Для меня настоящий поэт – это человек, произведения которого оставляют след в моём сердце, затрагивают душевные струны и дарят эмоции, заставляя задуматься, восхититься, а порой погрузиться или

даже поплакать. А что это за произведения, для меня не суть важно».

Марина Генчикмахер (г. Лос-Анжелес):

«Я не стану поддерживать автора в его исканиях по той, хотя бы, причине, что не вижу никакой пользы в делении пишущей братии на поэтов настоящих и искусственных. Можно, в принципе, спорить, насколько серьёзен вклад тех или иных авторов в поэзию, насколько они "новаторы", на худой конец, но опираться при этом на их произведения, а не на уровень их честолюбия или неудовлетворённости своими творениями. ИМХО».

Дмитрий Чернышев (г. Санкт-Петербург):

«Что касается самой концепции, то, увы, несмотря на внешнюю привлекательность, она не выдерживает критики. Беда в том, что ЛК не удалось провести заявленную операцию: "на внятном качественном уровне разграничить позиции поэта-любителя и настоящего поэта"... Для этого автору приходится вводить ещё одну сущность: "графоман", механически соединяющую в себе малую психиатрию и чистую эстетiku. Мне, честно говоря, просто лень искать у Аристотеля название этой логической ошибки... Дальше – больше, "настоящим поэтом" оказывается только тот, кто отверг существующую культурную конвенцию... В результате, оказывается, что и Фёдор Тютчев, у которого полностью отсутствовало "неврастеническое честолюбие", и графоман-традиционалист Уильям Блейк "настоящими поэтами", по определению, не являются... А уж любой постмодернист, может быть только и только дилетантом! Ах, извините, "любителем". Что тут ещё сказать, интереснее всего, пожалуй, было бы подробное описание того самого, якобы хорошо известного автору сценария, когда любитель "вторгается со своими стихами на территорию современной (актуальной) поэзии". Вот такие пассажи я всегда читаю с искренним наслаждением. Так что буду ждать продолжения банкета... На прощание, хочу сделать ещё одно замечание. Поэзия – проявление языка, акт агрессии. Именно современные актуальные поэты стали сейчас теми незаметными служителями храма, о которых пишет ЛК, келейными исследователями, алхимиками-экспериментаторами. Но именно их результатами пользуются "профессионалы", – чтобы убедиться в этом, достаточно послушать новый русский рок».

Мирослава Метляева (г. Кишинёв):

«Не скрою, статья "Любитель и другой" Леонида Костюкова вызвала во мне противоречивые чувства, прежде всего, вторичностью и замысленностью темы. Начну с того, что в авторе (не в обиду будет сказано) очень чётко заявляет о себе "технар". Удивительно его стремление к классификации, к составлению поэтической иерархии: графоман – поэт-любитель – поэт-профессионал – настоящий поэт... Причём он настоятельно ведёт к тому, что надо "на внятном качественном уровне разграничить позиции поэта-лю-



бителя и настоящего поэта". Есть, правда, и поэты-профессионалы, но это те, кто зарабатывает на хлеб насущный стихами и пишет на заказ по разным оплачиваемым поводам. Складывается впечатление, что перед нами очередная попытка помочь специалистам (кстати, кто они? — редакторы, издатели, настоящие поэты?) при помощи теста, предложенного поэтом Леонидом Костюковым, определить вот эту самую "настоящность". И весьма существенна в этом деле фигура графомана, ибо "графоман часто бескультурен, неадекватен и агрессивен". И он к тому же опасен, если ещё и честолюбив. А поэт-любитель, обладая внутренней культурой, очень даже хорош, если его упражнения проходят в чётко очерченных границах и если он не вторгается со своими стихами на территорию современной (актуальной) поэзии. Так вот — внимание! — настоящий поэт, по мнению поэта Костюкова — это парадоксальное сочетание графомана и поэта-любителя (при наличии таланта, естественно). Ох! Что-то такое до боли знакомое звучит во всём этом наведении порядка в поэтическом творчестве! *"Я счастлив был — я наслаждался мирно / Своим трудом, успехом, славой, так же / Трудом и успехами людей, / Товарищей моих в искусстве дивном"*, — звучат благостно-исповедально слова, которые я бы отнесла к поэту-любителю (по классификации Костюкова), но — увы! — они принадлежат другому герою, (другой эпохе и другой творческой породе), также мучимому проблемами настоящего творчества, а именно — небезызвестному Сальери. В его словах, как пишет М.О.Гершензон в своей работе "Моцарт и Сальери" в книге "Мудрость Пушкина", изданной в Москве в 1919 году, выражен нормальный прогресс искусства и заслуженный понятный успех его деятелей. И вдруг является Моцарт, как молния с неба. Сальери тревожит то, что Моцарт гений больше, чем он, и, прежде всего, гений, "НЕ ЗАРАБОТАВШИЙ СВОЕЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ". Для Сальери прочен только прогресс, достигаемый планомерностью человеческих усилий. Костюков тоже ратует за то, чтобы каждый сверчок знал свой шесток (повторимся: "Может показаться, что я всячески одобряю и поощряю деятельность поэта-любителя, только если она идёт в точно очерченных границах. Если он не вторгается со своими стихами на территорию современной (актуальной) поэзии. Пожалуй, так оно и есть")... Как пишет литературовед прошлого века, "Сальери чувствует себя служителем искусства, а Моцарт — "сыном гармонии". Так вот Сальери поверяет сию гармонию алгеброй. Что сказать? Да, есть судилище разума, однако гении не подлежат этому суду... Как намерен поэт Костюков определять настоящего поэта? Своим тестом? Товарищами своими в искусстве дивном? Стоит, наверное, напомнить и известные строки гениальной поэтессы о том, из какого сора, порой, слагаются стихи (это к сентенциям автора о разрядах поэтов и его размышлениях о выразительных средствах, применяемых ими). А то, что стихоплёт, зарабатывающий деньги сервильными стихами, тьма, так это старо, как мир. И упреждать, что не надо стремиться в поэзию без крайней необходимости (кстати, в чём она, эта крайняя необходимость, выражается?), по крайней мере, смешно. Хочу завершить сказанное цитатой из того же М.О. Гер-

шензона: "Так в Сальери воплощается человеческий идеализм, идеализм культуры. Богу отводится роль поставщика материалов и орудий, — строителем хочет быть сам человек. ... Но как же быть? Не создавать культуры самочинно и последовательно, а ждать посланцев свыше, ждать небесных даров? Если бы даже мы решили так, нам невозможно прозябать в бездействии, не в нашей власти заглушить наш разум — он нудит нас творить. Культура неизбежна, культура законна. Пушкин никогда не отвергал её по существу. Но он знал, что верховная власть принадлежит иррациональному началу, о чём на казнь себе и людям забыл Сальери».

Татьяна Мелихова (г. Кривой Рог):

«В истории грехопадения, описанной в Ветхом Завете, рассказывается как человек, который сначала был андрогином, т.е. не разделённым, попал из единства в полярность. С тех пор, для того чтобы сделать мир доступным своему пониманию, человек разделяет его на полярности. Но любые явления сами по себе не могут быть однозначно хорошими или однозначно плохими, всё зависит от их оценки, которая возникает в нашем сознании и всегда субъективна. Каждый, а особенно творческий человек, считает взгляды, не совпадающие с его собственными взглядами и суждениями, ошибочными и пытается убедить других в своей правоте, а это погружает нас в мир искусственных форм и приводит к несвободе. Язык — великолепное средство для исследования глубинных взаимосвязей, тоже является частью полярности мира, следовательно, все слова, явления и события, как минимум, двузачны и двусмысленны. Уже в названии обсуждаемой статьи "Любитель и другой" обозначен принцип дуальности. Слово "любитель" ассоциируется с понятием "любить". А слово "другой" можно разложить: друг — ой; друг, ой; друг мой. И тут же вспоминается — "Друг мой, друг мой, я очень и очень болен"... (Сергей Есенин, "Чёрный человек"). Потому что "... поэзия — незavidное, сумеречное, болезненное дело горстки отщепенцев". Даже визуально "любитель" стоит устойчиво и ровно, а слово "другой", написанное курсивом, слегка заваливается набок. Воспринимая психосоматическую двузачность языка, можно обнаружить, что формулировки, которыми выражается психическое состояние субъекта, связаны с телесным опытом, поэтому адекватное толкование явления можно соотносить с медицинским постулатом "не навреди". Бывают профессионалы, произведения которых стыдно читать. Бывают востребованные любители, которые издали книги за свой счёт или за счёт спонсора. Бывают настоящие поэты, которых никто не знает и поэты-открыватели новых направлений в поэзии. "Возможно, главное — любовь к поэзии... не мешает, а помогает жить, даёт человеку ещё одну отдушину, ещё одно прибежище в трудную минуту"... Я добавила бы ещё: поэзия — это средство и стимул к саморазвитию. Если рассматривать Поэзию как медаль, с одной стороны которой выгравировано "Настоящий поэт", а с другой — "Любитель", то медаль ведь одна и та же, и только от нас самих зависит, какую её сторону мы видим или хотим видеть. И не являются ли

эти полярности аспектами одного и того же реально существующего единства, ведь для осуществления равновесия реализация одного полюса способствует проявлению второго. Хотелось бы сказать о таком качестве как мудрость, которая спокойно наблюдает за иллюзиями и смотрит на явления дуального мира, не позволяя человеческому Эго вызывать чувства симпатии или антипатии к ним. Тогда можно было бы говорить не "или – или", а "не только, но и"... Так что спор о границе между нормальным и ненормальным, между любителем и настоящим поэтом может быть закончен только на уровне субъективных оценок – или совсем не может быть закончен. Как сказал Лао-цзы: "Смысл, который можно сформулировать словами, это не вечный смысл..."»

Андрей Бауман (г. Санкт-Петербург):

«Почти полностью согласен со статьёй Леонида. С одним, пожалуй, уточнением. Определение настоящего поэта в качестве "парадоксального сочетания графомана и поэта-любителя – при наличии таланта" представляется мне довольно точным, но нуждающимся в известном дополнении, которое сам Леонид отчасти и разворачивает ниже. "Пустота языкового арсенала" и "невозможность поэзии" – отличительные черты сознания настоящего поэта – не вписываются ни в любительство, ни в графоманию, ни в профессионализм, как бы последний ни понимался. Настоящий поэт – это тот, кто, помимо всего вышеприведённого, непосредственно имеет дело с сакральным. Лишь в присутствии сакрального, "первоначальной немоты", и возможны (более того, единственно действительны) "пустота языкового арсенала" и "невозможность поэзии". Конечно, социологически "поэзия – незавидное, сумеречное, болезненное дело горстки отщепенцев" (начиная примерно со второй половины XIX века это всё более и более так, хотя в предыдущие времена было в основном наоборот), и тем не менее непосредственная связь с сакральным остаётся, невзирая на отщепенчество ("язык настоящего поэта иногда шершав" не только в лингвистическом, но и в клиничко-диагностическом смысле), неврастению, гипертрофированный эгоцентризм и пр. В противном случае поэзия была бы не-

возможна, если позволительно так выразиться, просто физически».

Татьяна Аинова (г. Киев):

«Суждения Леонида Костоюкова мне симпатичны по той простой причине, что они преимущественно совпадают с моими собственными ощущениями. Особенно приятной неожиданностью оказалось наше с ним совпадение в отношении графоманов, которых, как правило, почему-то путают с бездарными или непрофессиональными стихотворцами. Однако сомневаюсь, что в такой области, как поэзия, в принципе возможна некая классификация, способная выдержать проверку практикой. Даже если рассмотреть любителей, которых на практике – в реале и в интернете – встречается немало. ЛК утверждает, что "арсенал выразительных средств "у любителя" богат – его устраивает весь опыт, накопленный отечественной поэзией" (кстати, а почему только отечественной?). Странно, но мне почему-то не попадались любители, которые бы в равной мере любили всю поэзию, хотя бы отечественную, и, тем более, использовали весь её опыт в своих упражнениях. Обычно они предпочитают какие-то отдельные её сегменты, временные и эстетические. И "арсенал выразительных средств" у них, как правило, откровенно скуден (те, у кого он побогаче, тусуются в первых рядах на сайте poezia.ru и любителями себя вряд ли признают). Поскольку "профессиональные поэты" вырастают из любителей, их "арсеналы" должны быть ещё богаче. Но сам же ЛК демонстрирует, насколько убога технология порождения стихов у профи типа Резника. Кстати, а почему вообще ЛК называет их "поэтами", если сам же резонно замечает, что на рынке "востребована не поэзия, а стихи"? Значит, и термин должен быть соответствующий – "профессиональные стихотворцы". "Профессиональные поэты" – это как раз те, кому дают премию "Поэт" (очень даже денежную). Те, кто в поэзии зарабатывает себе статус и репутацию... А для настоящего поэта, как уже было сказано, поэзия невозможна. Как невозможен и он сам вне поэзии. Так что не будем поминать это мифическое существо всуе, в прозаической дискуссии.

«ВЕСТИ С ПОЛЕЙ»

ОДЕССКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ

20.03.2011. Одесса, ДК Медицинского работника. Литературный вечер «И кроме нас...», посвящённый Всемирному дню поэзии.

На вечере прозвучали стихотворения классиков – Ибн аль-Фарида, Редьярда Киплинга, Юргиса Балтрушайтиса, Ивана Бунина, Марины Цветаевой, Николая Гумилева, Владислава Ходасевича, Арсения Тарковского, Ирины Одоевцевой, Натальи Крандиевской-Толстой, Иосифа Бродского, Роберта Рождественского и современников – Ефима Ярошевского, Владимира Гандельсмана, Надежды Агафоновой, Евгении Бильченко, Евгении Барановой и др. Гости вечера – директор Одесского мемориального музея К.Г. Паустовского Виктор Иванович Глушаков и председатель Николаевской областной организации Конгресса литераторов Украины поэт Алексей Торхов.

«По весьма оригинальной задумке организаторов праздничных чтений на вечере должны были прозвучать не только авторские произведения, и это отражает само название: "...И кроме нас". И это многообещающее "кроме нас" стало той самой изюминкой, без которой не обходится ни один вечер Южнорусского Союза Писателей. Поэты читали свои самые любимые стихи разных литературных эпох, на разных языках. Это был сюрприз, как для слушателей, вместить которых вчера удалось с трудом (многим пришлось слушать стоя), так и для выступающих. Звучали стихотворения на польском, итальянском, английском языках, на языке эсперанто... Но, пожалуй, не будет преувеличением с моей стороны, если я отмечу, что в течение всего вечера царствовал Он, возвышенный и утончённый, чистый и печальный Его Величество Век Серебряный...»

Людмила Шарга

17.04.2011. Одесса, ДК Медицинского работника. Литературный вечер «Между Невой и Нилом...», посвящённый 125-летию со дня рождения Н.С. Гумилёва.

Вечер прошёл в рамках Первого Международного Гумилевского фестиваля, открытого в Москве 3 апреля. На вечере прозвучали стихотворения поэта в исполнении двух мастеров художественного слова – Елены Кукловой и Валентины Ковач, а также одесских поэтов и музыканта А. Стефанчука. Воспоминания современников Н. Гумилёва о поэте озвучили ведущие вечера Людмила Шарга и Семён Абрамович. Авторские переводы стихотворений Н. Гумилёва на эсперанто прочёл Семён Вайнблат.

«Гумилёв был в нашем городе несколько раз, отсюда уезжал в Африку, и интереснейшие его строки об Одессе, которые я услышал впервые, вошли в его "Африканский дневник". Олег Полищук продемонстрировал ставшие уже библиографической редкостью издания, в которых впервые после долгого молчания напечатали стихи Гумилёва. В том числе и легендарный номер «Огонька» 1986 года, на обложке которого Ленин с телефонной трубкой, а на развороте – Гумилёв. Интересно, с кем это Ильич разговаривает, не с Горьким ли, просившим спасти Гумилёва, на что вождь ответил в духе революционной беспощадности к врагам? Хрестоматийный урок истории на тему "Поэт и власть"...»

Илья Рейдерман

19.04.2011. Киев, Национальный Союз Писателей Украины. Литературный вечер писателей Одессы «Бисер».

В рамках очередного заседания литературной студии «Писатель в интернет-пространстве» состоялась встреча киевских литераторов с одесситами. На вечере выступили Виктория Колтунова, Сергей Главацкий, Евгения Красноярова, Алёна Шербакова, Сергей Нежинский, Полина Тараненко, Анна Стреминская и Владислава Ильинская. Здесь же состоялась киевская презентация Одесской литературной антологии «Солнечное Сплетение», вышедшей в свет в декабре 2010 г.

«Послушать одесских писателей в этот день пришло немало известных киевских писателей – судьи фестиваля «Славянские Традиции» Андрей Грязов и Станислав Бондаренко (а если учесть самого Сергея Главацкого и вашу покорную слугу – то нас было четверо), Вячеслав Рассылаев,

Татьяна Гурьева, Катарина Синчилло, Оксана Боровец, Евгения Бильченко, Геннадий Семенченко, Сергей Смешко и многие другие... Были и просто слушатели, читатели, имена которых мы не знаем, но которые искренне радовались общению с творческими людьми Одессы, воспринимая это, как подарок, светлый лучик в нашей киевской, к сожалению, серой действительности».

Наталья Вареник

15.05.2011. Москва, Переделкино. Поэтический субботник в музее Корнея Чуковского.

На субботней встрече, посвящённой Литературному институту, прочли свои стихотворения преподаватели Литинститута, поэты Евгений Рейн и Владимир Костров, студенты и выпускники института И. Силецкая, А. Григоров, Н. Иванова, Г. Рудь. Гость вечера – поэт из Одессы Анна Стреминская, лауреат Второго международного литературного конкурса «Славянские традиции».

«Первые впечатления от Переделкино – огромные вековые сосны и такие же высоченные берёзы – создают ощущение чего-то торжественного, необычного, резко отличающегося от привычных одесских акаций и платанов. На фоне всего этого – великолепное чудо-дерево, всё сплошь увешанное ботинками, туфлями, босоножками. Рядом – деревянный дом, где жил Корней Иванович, а мы проходим в здание бывшего гаража, где Чуковский, прячась от действительности, часто сидел и что-либо мастерил. Этот переоборудованный гараж превратился в пресс-центр нашего времени – помещение с большим столом посредине, за которым умещаются от силы человек семнадцать-двадцать, но приходит, как правило, больше. Каждую субботу здесь собираются люди, желающие почитать свои стихи и послушать чужие...»

Анна Стреминская

01.06.2011. Москва, Международный фестиваль литературы и культуры «Славянские традиции-2011». Объявление списка финалистов конкурса.

В нынешнем году участие в конкурсе приняли 310 авторов (более 1500 произведений) из 14 стран – России, Украины, Беларуси, Казахстана, Израиля, Кипра, Армении, Швейцарии, Румынии, Бахрейна, США, Германии, Канады, Молдовы. Авторы соревновались в нескольких номинациях: Заявки на участие подали и пятнадцать одесситов. Двенадцать из них вошли в список финалистов: Ксения Александрова, Ирина Василенко, Владислава Ильинская, Александр Хинт, Виктория Колтунова, Сергей Нежинский, Илья Рейдерман, Александр Семькин, Анна Стреминская, Валерий Сухарев, Полина Тараненко и Людмила Шарга.

«Славянские Традиции – 2010», Крым, август 2010 г.

Поэтические чтения ежедневно проходили в Доме культуры города Шёлкино, который на время фестиваля оказался его центром, принял на себя всю тяжесть "официальной части", и вынес этот груз уже во второй раз. Особенно непринуждёнными и лёгкими и в человеческом, и в поэтическом плане нам показались участники из Белоруссии Александр Раткевич, Олег Зайцев, Анатолий Ивчик, Андрей Курейчик. Я смотрел на них, приехавших из социалистической Белоруссии, и вспоминал свою молодость, свою весёлость – под тяжёлыми тучами социализма. Интересно и основательно выступал на фестивале Председатель Конгресса литераторов Украины, поэт Александр Корж – один из членов жюри, где безраздельно царил своим авторитетом в этом году Владимир Костров, поэт действительно замечательный, проверенный своим, к сожалению, ушедшим временем, неоднократно переведённый на европейские языки. Я услышал от Владимира Кострова в вечерней беседе, что он считает – надо писать так, чтобы проникся и понял народ. И действительно, его стихи вызывали живейший отклик у слушателей-поэтов самого разного горения, самого разного стиля и характера. Было в нём что-то сердечно притягивающее – то, за что человека и поэта ценили тогда, когда ещё верили в "светлое будущее", а не увязали в мрачном настоящем».

Станислав Айдинян

05.06.2011. Одесса, арт-клуб «Шкаф». Литературный вечер «По следу Мастера...», посвящённый 120-ой годовщине со дня рождения М.А. Булгакова.

Под музыкальное сопровождение Ш. Гуно, П. И. Чайковского, И. Штрауса, Ф. Шопена отрывки из романов писателя, озвученные Людмилой Шарга, Анатолием Стефанчуком, Семёном Абрамовичем и Евгенией Краснояровой, проиллюстрированные ретро- и современными фотоматериалами, превратили вечер в виртуальную прогулку по памятным «булгаковским местам» Киева и Москвы, по страницам романов и повестей Михаила Булгакова.

«Рассказ о действительных и предполагаемых прототипах домов, зданий, различных мест и объектов, описанных в романе. Патриаршие пруды, Дом Грибоедова, психиатрическая клиника – место заточения бедняги Бездомного, дом 302-бис с его "нехорошей квартиркой" №50, театр Варьете, подвальчик Мастера и особняк Маргариты, дом Драмлита, и даже трамвай линии "А"»

(“Аннушка”) – вот неполный перечень всего, мной увиденного, услышанного и прочувствованного на этом вечере».

Александр Семькин

«Хочется отметить, что и внутренняя обстановка самого клуба “Шкаф” каким-то чудесным образом дополняла и усиливала атмосферу происходящего. Как-то очень кстати, что этот вечер прошёл именно в хтоническом месте, под землёй. И уже совсем почти в экспромте, но очень гармонично вечер завершился чтением отрывка “Крем Аззелло. Полёт” из романа “Мастер и Маргарита” в исполнении одесской актрисы Татьяны Цявкун. Ну что сказать? Вечер удался. Побольше бы подобных встреч и вечеров...»

Леонид Якубовский

19.06.2011. Одесса, Золотой зал Одесского литературного музея. Презентация литературного альманаха «ЛитЭра».

Вниманию одесского читателя поэтом, переводчиком и издателем Валерием Басыровым был представлен пятый номер шестисотстраничного литературного альманаха «ЛитЭра» (Москва), изданный по итогам Второго Международного фестиваля литературы и культуры «Славянские Традиции – 2010». Альманах включил в себя произведения членов жюри и лауреатов фестиваля. Свои стихотворения прочли одесситы, авторы альманаха Анна Стреминская, Сергей Нежинский, Виктория Колтунова, Илья Рейдерман, Валерий Сухарев. Также Валерий Басыров представил вниманию одесского читателя осуществлённый им «Перевод смыслов Корана» – единственный полный существующий перевод текста Корана на украинский язык.

На вечере председатель Одесской областной организации Конгресса литераторов Украины Сергей Главацкий вручил писательские удостоверения Одесской областной организации Конгресса литераторов Украины новым членам творческого союза, принятым в ряды в течение последнего года.

«Нужно сказать, что требования к произведениям новых авторов хоть и были прежде весьма высоки, но в этом году и они – ужесточились. В прошлом году в ООО ВТС КЛУ вступили 15 авторов. В этом году из более сотни поступивших за год заявок на вступление в творческий союз художественным советом были одобрены только пять. В ряды Всеукраинского творческого союза вступили поэты Александр Хинт, Ксения Александрова, Елена Миленти и Александр Семькин (г. Ильичёвск), прозаик Элла Леус. Очень важно и то, что нынешнее вручение впервые состоялось при участии сопредседателя КЛУ Валерия Басырова, во многом благодаря которому культурные связи между Крымом и Одессой продолжают уверенно укрепляться».

Евгения Красноярова

ББК 84 (4 Укр-4 Олє) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Обложка – Полина Тараненко.

На 3 стр. обложки:
фото №1, 3, 4 – И.А. Бунин,
фото №2 – дом по ул. Херсонской (ныне ул. Пастера, 44).

Підписано до друку 04.08.2011 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 21,36.
Зам.2475. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17